Антология Сатиры и Юмора России XX века

Владимир Маяковский

ДВОРЯНСКО

ЗЪ ЧЕТВЕРГЪ

ФУТУР

О Ж

ВАСИЛІЙ КАЛЕНСКІЙ

ДАВИДЪ БУРЛЮКЪ

ВЛАДИМІРЪ МАЯКОВСКІЙ

БУЛУТЪ

Начало въ 8

ВОСТОЧНАЯ

ПѢНЬЕ МѢСТАМЪ

ФУТУРИСТЫ ВЪ КАЗАНИ. ОДНА ГАСТРОЛЬ.

ОЕ СОБРАНIЕ.
20го ФЕВРАЛЯ
СТЫ
ЗНАМЕНИТЫЕ
МОЛОДЫЕ
УСТРАИВАЮТЪ ЛЕКЦIЮ
И ЛИТЕРАТУРѢ
1) Аэропланы и поэзiя футуристовъ
2) Кубизмъ и футуризмъ
3) Достиженiе футуризма
ЧИТАТЬ СВОИ СТИХИ
часовъ вечера.
АЯ ЛИРА

ДВОРЯНСКО

ЪЪ ЧЕТЕРЪ

ФУТУР

О

ВАСИЛІЙ КАЕНСКІЙ прочтетъ

ДАВИДЪ БУРЛЮКЪ прочтетъ

ВЛАДИМІРЪ МАЯКОВСКІЙ прочтетъ

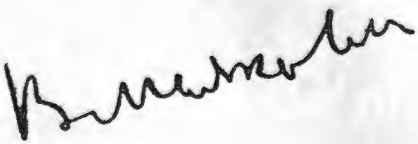
БУДУТ

Начало въ 8

ВОСТОЧНА

ДѢНЬ МѢСТАМЪ

ФУТУРИСТЫ ВЪ КАЗАНИ. ОДНА ГАСТРОЛЬ.



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Владимир Маяковский

Москва «Эксмо» 2005

УДК 82-7
ББК 84(2 Рос-Рус)6-7
М 39

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Владимир Маяковский

Серия основана в 2000 году

С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»

Редколлегия:
Аркадий Арканов, Никита Богословский, Владимир Войнович, Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,
Лев Новоженов, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко, академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак

Дизайн обложки *Ахмед Мусин*

Составитель, автор предисловия и комментариев Б.М. Сарнов

Составитель благодарит Л. Б. Либединскую за помощь в подборе иллюстраций к этому тому

Маяковский В.

М 39 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 43. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 608 с., ил.

УДК 82-7
ББК 84(2 Рос-Рус)6-7

ISBN 5-699-11890-X (т. 43)
ISBN 5-04-003950-6

© Б. М. Сарнов, предисловие, составление, комментарии, примечания, 2005
© Ю. Н. Кушак, составление, 2005
© ООО «Издательство «Эксмо», 2005

Содержание

Бенедикт Сарнов. БЫЛ И ОСТАЕТСЯ 13
Владимир Маяковский. Я сам 20

Я СРАЗУ СМАЗАЛ КАРТУ БУДНЯ

Порт 45
Валентин Катаев. ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ 45
Уличное 47
Из улицы в улицу 47
Кое-что про Петербург 49
За женщиной 49
Несколько слов обо мне самом 50
Корней Чуковский. МАЯКОВСКИЙ 51
От усталости 52
Любовь 52
Мы 53
Шумики, шумы и шумищи 53
Адище города 54
Нате! 54
Бенедикт Лившиц. ПОЛУТОРАГЛАЗЫЙ СТРЕЛЕЦ 55
Ничего не понимают 57
Послушайте! 58

А все-таки 59
Еще Петербург 59
Война объявлена 60
Мама и убитый немцами вечер 61
Скрипка и немножко нервно 62
Я и Наполеон 63
Вам 66
Виктор Шкловский. О МАЯКОВСКОМ 67
Военно-морская любовь 68
Кое-что по поводу дирижера 68
Чудовищные похороны 69
Мое к этому отношение 71
Эй! 72
Мрак 74
Последняя петербургская сказка 76
России 77
Игорь Северянин. МАЯКОВСКИЙ 79
Из поэмы «Облако в штанах» 79
Борис Пастернак. ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ 80
Сергей Спасский. МАЯКОВСКИЙ И ЕГО СПУТНИКИ 80
Потрясающие факты 82

О РАЗНЫХ МАЯКОВСКИХ

Два Чехова 87
Штатская шрапнель 95
Поэты на фугасах 98
Вравшим кистью 100

Не бабочки, а Александр Македонский 103
Поэзовечер Игоря Северянина 106
О разных Маяковских 107
Можно ли стать сатириком 112

МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ

Гимн здоровью 117
Гимн критику 117
Корней Чуковский. НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО МАЯКОВСКОГО 119
Гимн обеду 119
Теплое слово кое-каким порокам 122
Гимн судье 124
Гимн ученому 125
Гимн взятке 127
Внимательное отношение к взяточникам 127
Братья писатели 129
Подписи к плакатам издательства «Парус» 131
Сказка о красной шапочке 131
К ответу! 132
Нетрудно, ландышами дыша... 133
Интернациональная басня 134
Ешь ананасы... 135
О дряни 135
О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах 137
Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе 139
Приказ № 2 по армии искусств 141

Всем Титам и Власам РСФСР 144
Беспечность хуже всякого белогвардейца 146
Канцелярские привычки 146
Нашему юношеству 149
Говорят... 154

МАЯКОВСКИЙ УЛЫБАЕТСЯ

Пустяк у Оки 157
Лунная ночь 157
Весна 158
Мучкины штучки 158
Отношение к барышне 158
Гейнеобразное 159
Портсигар 159
Весенний вопрос 160
Испания 163
П. Лавут. МАЯКОВСКИЙ ЕДЕТ ПО СОЮЗУ 164
Севастополь – Ялта 165
Христофор Колумб 167
Из письма Маяковского Л. Брик 3 июля 1925 г. 175
От составителя 175
Н. Харджиев. КОЛОМБ ИЛИ КОЛУМБ? 175
От составителя 176
Чугунные штаны 176
Краснодар 179
Строго воспрещается 180
Евпатория 181

Весна 182
Ужасающая фамильярность 186
100% 187
Американские русские 190
Стихи о разнице вкусов 192
Схема смеха 193
Как я ее рассмешил 194
Я счастлив 199

МАЯКОВСКИЙ ИЗДЕВАЕТСЯ

В.Я. Брюсову на память 205
Марина Цветаева. ГЕРОЙ ТРУДА. ЗАПИСИ О ВАЛЕРИИ БРЮСОВЕ 205
Виктор Шкловский. О МАЯКОВСКОМ 206
Марксизм – оружие, огнестрельный метод 207
Четырехэтажная халтура 211
Дом Герцена 215
Пиво и социализм 218
Смена убеждений 220
Птичка божия 222
Маруся отравилась 225
Письмо к любимой Молчанова, брошенной им 232
Прозаседавшиеся 236
Владимир Ленин. О МЕЖДУНАРОДНОМ И ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 238
Борис Пастернак. НАДПИСЬ НА КНИГЕ «СЕСТРА МОЯ – ЖИЗНЬ», ПОДАРЕННОЙ МАЯКОВСКОМУ 238

Из поэмы «Владимир Ильич Ленин» 239
Венера Милосская и Вячеслав Полонский 240
Из поэмы «Хорошо» 245
Богомольное 251
Любовь 254
Без руля и без ветрил 259
Даешь тухлые яйца! 262
Кто он? 265
Слегка нахальные стихи товарищам из Эмкахи 266
Помпадур 269
Ответ на будущие сплетни 272
Эпиграммы 275
Валенин Катаев. ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ 277

ТОТ, КТО ПОСТОЯННО ЯСЕН, ТОТ, ПО-МОЕМУ, ПРОСТО ГЛУП

Из поэмы «Про это» 281
Тамара и Демон 288
Разговор на Одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия» 293
Еду 294
Город 296
Мелкая философия на глубоких местах 299
Роман Якобсон. ВОСПОМИНАНИЯ 301
Лиля Брик. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О СТИХАХ МАЯКОВСКОГО 302
Кемп «Нит гедайге» 302

Домой! 305
Галина Катанян. АЗОРСКИЕ ОСТРОВА 308
Из письма Маяковского Равичу 310
Марина Цветаева. ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ 310

Я ЗНАЮ СИЛУ СЛОВ...

Хорошее отношение к лошадям 313
Необычайное приключение... 315
Георгий Артоболевский. ВСТРЕЧА НА ЭСТРАДЕ 318
Юбилейное 323
Сергею Есенину 332
Из статьи «Как делать стихи» 337
Василий А. Катанян. РАСПЕЧАТАННАЯ БУТЫЛКА 341
Разговор с фининспектором... 341
Послание пролетарским поэтам 349
Письмо писателя В.В. Маяковского писателю А.М. Горькому 355
Лиля Брик. ГОРЬКИЙ 361
Верлен и Сезанн 362

У СОВЕТСКИХ СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ – НА БУРЖУЕВ СМОТРИМ СВЫСОКА

Мое открытие Америки 371
Мексика 416
Бродвей 424
Блэк энд уайт 426
Барышня и Вульворт 430
Небоскреб в разрезе 433

Парижанка 436
Notre-Dame 439
Версаль 442
Красавицы 446
Прощание (кафе) 447
Стихи о советском паспорте 451

ТЕАТР НЕ ОТРАЖАЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО, А — УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ СТЕКЛО

Клоп 457
Галина Катанян. АЗОРСКИЕ ОСТРОВА 517
Всеволод Мейерхольд. *НОВАЯ ПЬЕСА МАЯКОВСКОГО* 518
Баня 519
Валентин Катаев. ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ 594
Всеволод Мейерхольд. ВЫСТУПЛЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ГОСТИМА 595
Из книги А.К. Гладкова «Мейерхольд» 596
Валентин Катаев. ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ 597
Николай Горчаков. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ТЕАТРА 598
Юрий Анненков. ДНЕВНИК МОИХ ВСТРЕЧ 598
Лозунг для спектакля «Баня» 599
Николай Чуковский. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 599
Маяковский на эстраде 600
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 600
Лев Кассиль. НА КАПИТАНСКОМ МОСТИКЕ 600

Был и остается

Советская власть еще не рухнула, а только стала слегка шататься, когда началась массированная атака на Маяковского.

Переоценивать все ценности советской эпохи, сотрясая и низвергая ее кумиров, начали именно с него.

В этом была известная логика. Горький и Маяковский — это были два атланта, поддерживавшие фасад сталинской «империи зла». Но у Горького была большая и сложная судьба. Он стал классиком задолго до революции. Он ссорился с Лениным. Он даже одно время был эмигрантом. Маяковский же был в глазах многих не просто поэтом, безоговорочно признавшим советскую власть и ставшим ее преданным слугой. Многим казалось, что он — весь, от первой до последней строки «всех ста томов своих партийных книжек» — был порождением этой самой советской власти, любимым и самым преданным ее сыном.

Счет, предъявляемый Маяковскому, был велик. Ему ставили в вину и то, что Сталин назвал его лучшим, талантливейшим поэтом эпохи. И то, что он написал «Стихи о советском паспорте». И то, что он хотел, чтобы к штыку приравняли перо. Даже обращаясь к маленьким детям, призывал: «Возьмем винтовки новые, примкнем штыки», «Целься лучше!».

Его кляли за богохульство (как будто не богохульствовал Есенин!). И за то, что он мечтал о времени,

когда люди будут «без Россий, без Латвий, жить единым человечьим общежитьем» (как будто Пушкин не мечтал о временах, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся»). Среди множества предъявленных Маяковскому обвинений были серьезные и справедливые. Но были и пошлые, и дурацкие, и совсем идиотические. Один из хулителей попрекнул Маяковского даже тем, что застрелился он не где-нибудь, а на Лубянке. В этом виделся ему какой-то жуткий символ. Как и в том, что музей Маяковского и поныне находится там же, «плечом к плечу, — как было сказано в той статье, — с надбавившим себе этажей многокомнатным и многокоридорным домом, овеянным ужасной славой».

Все глупости и пошлости, сказанные о Маяковском в последние годы, не хочется даже повторять, не то что полемизировать с ними.

Но оголтелое стремление кинуть за борт («с парохода современности») всех официально утвержденных и признанных корифеев советской словесности сейчас, кажется, уже пошло на убыль. На смену этой тенденции явилась другая, как говорят в таких случаях ученые люди, парадигма. Суть ее сводится к тому, что пришла наконец пора составить некий единый список, в который войдут, так сказать, на равных, все выдающиеся писатели и поэты советской эпохи. Михаил Булгаков и Александр Фадеев, Борис Пастернак и Константин Симонов, Анна Ахматова и Маргарита Алигер.

Лживость самой идеи этого единого списка — очевидна. Об авторах подобных концепций трудно сказать лучше и точнее, чем это сделал однажды Борис Пастернак:

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим, —

Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статься,
В почете ли Пушкин иль нет
Без докторских их диссертаций,
На всё проливающих свет.

Но Блок, слава Богу, иная,
Иная, по счастью, статья.
Он к нам не пускался с Синая,
Нас не призывал в сыновья.

Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.

Маяковский, в отличие от Блока, прославлен был — по программе. Он был современникам вот именно навязан. И хорошо известно — кем.

После того как были произнесены знаменитые сталинские слова («Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи»), его, как выразился тот же Пастернак, «стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине». Это было — тут же добавил Борис Леонидович — «его второй смертью».

Да, конечно, убить поэта можно разными способами. И официальная канонизация — едва ли не самый действенный из всех. Но что бы делали мы, чем питались на протяжении веков, не будь у нас этой самой принудительно навязанной нам картошки!

Нет, кто бы что ни говорил, а Маяковский — это тоже «иная, иная, по счастью, статья».

Знаменитые слова Сталина к истинной оценке места Маяковского в истории русской литературы отношения не имеют. Да и не тем совсем он был озабочен, когда начертал эту свою резолюцию на пись-

ме Л.Ю. Брик. Наверняка были у него при этом какие-то свои мелкие, политические соображения и расчеты. И тем не менее Маяковский действительно БЫЛ И ОСТАЕТСЯ. Но не «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Потому что истинное место его не в том искусственно составляемом, а совсем в другом едином списке. Не в том, где Фадеев или Симонов, а где — Державин, Пушкин, Баратынский, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Блок, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Ахматова.

Чуть ли не со всеми своими соседями по бессмертию Маяковский при жизни ссорился. Пушкина сбрасывал «с парохода современности», Мандельштама называл «Мраморной мухой». Об Ахматовой и Цветаевой сострил, что они «одного поля ягодицы». Над Булгаковым откровенно глумился. Но сейчас им всем «стоять почти что рядом».

Мощью своего поэтического голоса Маяковский сравним разве что с одним Державиным. Он был гениальный лирик, великий реформатор русского стиха, блистательный драматург, перед которым на коленях стоял Мейерхольд, замечательный художник, рисунками которого восхищался Репин, наконец, король эстрады.

Но Маяковский юморист и сатирик — это особая статья. Все грани его творческой личности — даже лирика — изначально были пронизаны яростным пафосом сатиры или стихией юмора. (Недаром самые ранние его стихи печатались в журнале «Театр в карикатурах» и «Новом сатириконе».)

В самые интимные лирические стихи у него вдруг врываются резко сатирические, саркастические метафоры:

> Как красный фонарь у публичного дома,
> Кровав налившийся глаз.

Или:

Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы черный чулок...

И в такие же интимные, лирические, любовные стихи то и дело вторгается юмор:

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
темно,
никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
И действительно
я, наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв —
Будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
Будьте добры».

Или:

Все вы,
бабы,
Трясогузки и канальи...

Или:

Тем более
с песен
какой гонорар?
А стирка —
в семью копейка...

Или:

Любви я заждался,
Мне 30 лет.
Полюбим друг друга.
Попросту.

. . . . . .

Я кончил,
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак.
А мы...
Соглашайся, Тамара!

В трагических стихах, написанных на смерть Есенина, — юмористически-сатирическое:

Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?
Класс — он тоже
выпить не дурак.

И там же:

Чтобы разнеслась
бездарнейшая
пóгань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.

Сатирические и юмористические мотивы вторгались даже в такие его поэмы, как «Про это», «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо».

Конечно, можно искусственно разделить Маяковского — на Маяковского-трагика, Маяковского-лирика, Маяковского-публициста, Маяковского — сатирика и юмориста. И тогда в этот том вошли бы в основном его «Окна Роста», плакаты, лозунги, частушки и издевательские стихи, в которых он глумился над попами, кулаками, помещиками и буржуями, разоблачал Вудро Вильсона, Керзона, Пуанкаре, Пилсудского, Стиннеса, Вандервельде, Гомперса и прочих, ныне уже давно и прочно позабытых политических деятелей далекого прошлого.

Такой том в лучшем случае имел бы чисто исторический интерес, то есть был бы, в сущности, устаревшим, — как принято говорить в таких случаях, не выдержавшим «испытания временем».

Да и с чисто эстетической точки зрения это было бы неправильно, потому что сатира и юмор были не просто еще одной ипостасью многогранной творческой личности поэта Маяковского. Это было органическое свойство его художественного дара.

И вот именно ТАКОГО Маяковского мы и хотим представить вам в этом томе.

Бенедикт Сарнов

Тема

Я — поэт. Этим и интересен

Об этом и пишу. Об остальном — только если это отстоялось словом.

Память

Бурлюк говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве, — каждый галошу оставит. Но лица и даты не запоминаю. Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то «доряне». Подробностей этого дела не помню, но, должно быть, дело серьезное. Запоминать же — «Сие написано 2 мая. Павловск. Фонтаны» — дело вовсе мелкое. Поэтому свободно плаваю по своей хронологии.

Главное

Родился 7 июля 1894 года (или 93 — мнения мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае, не раньше). Родина — село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия.

Состав семьи

Отец: Владимир Константинович (багдадский лесничий), умер в 1906 году.

Мама: Александра Алексеевна.
Сестры:
а) Люда.
б) Оля.
Других Маяковских, по-видимому, не имеется.

1-е воспоминание

Понятия живописные. Место неизвестно. Зима. Отец выписал журнал «Родина». У «Родины» «юмористическое» приложение. О смешных говорят и ждут. Отец ходит и поет свое всегдашнее «алон занфан де ля по четыре». «Родина» пришла. Раскрываю и сразу (картинка) ору: «Как смешно! Дядя с тетей целуются». Смеялись. Позднее, когда пришло приложение и надо было действительно смеяться, выяснилось — раньше смеялись только надо мной. Так разошлись наши понятия о картинках и о юморе.

2-е воспоминание

Понятия поэтические. Лето. Приезжает масса. Красивый длинный студент — Б.П. Глушковский. Рисует. Кожаная тетрадища. Блестящая бумага. На бумаге длинный человек без штанов (а может, в обтяжку) перед зеркалом. Человека зовут «Евгенионегиным». И Боря был длинный, и нарисованный был длинный. Ясно. Борю я и считал этим самым «Евгенионегиным». Мнение держалось года три.

3-е воспоминание

Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот папы и мамы. О рояли. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом: «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось.

Дурные привычки

Лето. Потрясающие количества гостей. Накапливаются именины. Отец хвастается моей памятью. Ко всем именинам меня заставляют заучивать стихи. Помню — специально для папиных именин:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор...

«Соплеменные» и «скалы» меня раздражали. Кто они такие, я не знал, а в жизни они не желали мне попадаться. Позднее я узнал, что это поэтичность, и стал тихо ее ненавидеть.

Корни романтизма

Первый дом, воспоминаемый отчетливо. Два этажа. Верхний — наш. Нижний — винный заводик. Раз в году — арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Все это территория стариннейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость очетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов — накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось — это Россия. Тянуло туда невероятнейше.

Необычайное

Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами — ярче

неба. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь.

Учение

Учила мама и всякоюродные сестры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне ж всегда давали, и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием.

Первая книга

Какая-то «Птичница Агафья». Если б мне в то время попалось несколько таких книг — бросил бы читать совсем. К счастью, вторая — «Дон-Кихот». Вот это книга! Сделал деревянный меч и латы, разил окружающее.

Экзамен

Переехали. Из Багдад в Кутаис. Экзамен в гимназию. Выдержал. Спросили про якорь (на моем рукаве) — знал хорошо. Но священник спросил — что такое «око». Я ответил: «Три фунта» (так по-грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что «око» — это «глаз» по-древнему, церковнославянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу — все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм.

Гимназия

Приготовительный, 1-й и 2-й. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жюля Верна. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром.

Японская война

Увеличилось количество газет и журналов дома. «Русские ведомости», «Русское слово», «Русское богатство» и прочее. Читаю все. Безотчетно взвинчен. Восхищают открытки крейсеров. Увеличиваю и перерисовываю. Появилось слово «прокламация». Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков.

Нелегальщина

Приехала сестра из Москвы. Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас. Первая:

> Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
> скорей брось винтовку на землю.

И еще какое-то, с окончанием:

> ...а не то путь иной —
> к немцам с сыном, с женой и с мамашей...

(о царе).

Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове.

905-й год

Не до учения. Пошли двойки. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался), — на переэкзаменовках по-

жалели. Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника — Исидор, от радости босой вскочил на плиту — убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю живописно: в черном анархисты, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты.

Социализм

Речи, газеты. Из всего — незнакомые понятия и слова. Требую у себя объяснений. В окнах белые книжицы. «Буревестник». Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Первая: «Долой социал-демократов». Вторая: «Экономические беседы». На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир. «Что читать?» — кажется, Рубакина. Перечел советуемое. Многое не понимаю. Спрашиваю. Меня ввели в марксистский кружок. Попал на «Эрфуртскую». Середина. О «лумпенпролетариате». Стал считать себя социал-демократом: стащил отцовские берданки в эсдечий комитет.

Фигурой нравился Лассаль. Должно быть, оттого, что без бороды. Моложавей. Лассаль у меня перепутался с Демосфеном. Хожу на Рион. Говорю речи, набрав камни в рот.

Реакция

По-моему, началось со следующего: при панике (может, разгоне) в демонстрацию памяти Баумана мне (упавшему) попало большущим барабанищем по голове. Я испугался, думал — сам треснул.

906-й год

Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца — у нас 3 рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было.

Дорога

Лучше всего — Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи — нефть, а дальше степь. Пустыня даже.

Москва

Остановились в Разумовском. Знакомые сестры — Плотниковы. Утром паровиком в Москву. Сняли квартиренку на Бронной.

Московское

С едами плохо. Пенсия — 10 рублей в месяц. Я и две сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные. Студенты жили бедные. Социалисты. Помню — первый передо мной «большевик» Вася Канделаки.

Приятное

Послан за керосином. 5 рублей. В колониальной дали сдачи 14 рублей 50 копеек; 10 рублей — чистый заработок. Совестился. Обошел два раза магазин («Эрфуртская» заела). — Кто обсчитался, хозяин или служащий, — тихо расспрашиваю приказчика. — Хозяин! — Купил и съел четыре цукатных хлеба. На остальные гонял в лодке по Патриаршим прудам. Видеть с тех пор цукатных хлебов не могу.

Работа

Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10—15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и кустарщину.

Гимназия

Перевелся в 4-й класс пятой гимназии. Единицы, слабо разноображиваемые двойками. Под партой «Анти-Дюринг».

Чтение

Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем «Предисловием» Маркса. Из комнат студентов шла нелегальщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики». Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии.

Первое полустихотворение

Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик «Порыв». Обиделся. Другие пишут, а я не могу?! Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Вроде теперешнего Кириллова. Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим «социалистическим достоинством», бросил вовсе.

Партия

1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и наконец к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК. Были Ломов, Поволжец, Смидович и другие. Звался «товарищем Константином». Здесь работать не пришлось — взяли.

Арест

29 марта 1908 г. нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот. С адресами и в переплете. Пресненская часть. Охранка. Сущевская часть. Следователь Вольтановский (очевидно, считал себя хитрым) заставил писать под диктовку: меня обвиняли в писании прокламации. Я безнадежно перевирал диктант. Писал: «социяльдимокритическая». Возможно, провел. Выпустили на поруки. В части с недоумением прочел «Санина». Он почему-то в каждой части имелся. Очевидно, душеспасителен.

Вышел. С год — партийная работа. И опять кратковременная сидка. Взяли револьвер. Махмудбеков, друг отца, тогда помощник начальника Крестов, арестованный случайно у меня в засаде, заявил, что револьвер его, и меня выпустили.

Третий арест

Живущие у нас (Коридзе (нелегальн. Морчадзе), Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин-каторжан. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел.

Скандалил. Переводили из части в часть — Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д. — и наконец — Бутырки. Одиночка № 103.

11 бутырских месяцев

Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики — бросился на беллетристику.

Перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось, *так же про другое* — нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

> В золото, в пурпур леса одевались,
> Солнце играло на главах церквей.
> Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
> Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!

Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга — «Анна Каренина». Не дочитал. Ночью вызвали «с вещами по городу». Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась.

Меня выпустили. Должен был (охранка постановила) идти на три года в Туруханск. Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова.

Во время сидки судили по первому делу — виновен, но летами не вышел. Отдать под надзор полиции и под родительскую ответственность.

Так называемая дилемма

Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел, — так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше их. У меня уже и сейчас правильное от-

ношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии — надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива — всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело — «в небеса запустил ананасом», а я про свое ною — «сотни томительных дней». Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. (А высшую школу — я еще не знал, что это такое — я тогда уважал!)

Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии — Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка.

Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки.

Я прервал партийную работу. Я сел учиться.

Начало мастерства

Думалось — стихов писать не могу. Опыты плачевные. Взялся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками писал серебренькие сервизики.

Через год догадался — учусь рукоделию. Пошел к Келину. Реалист. Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твердый. Меняющийся.

Требование — мастерство, Гольбейн. Терпеть не могущий красивенькое.

Поэт почитаемый — Саша Черный. Радовал его антиэстетизм.

Последнее училище

Сидел на «голове» год. Поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества: единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности. Работал хорошо.

Удивило: подражателей лелеют — самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревинстинктом стал за выгоняемых.

Давид Бурлюк

В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались.

В курилке

Благородное собрание. Концерт. Рахманинов. Остров мертвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались друг в друга. Вышли шляться вместе.

Памятнейшая ночь

Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную, от училищной — на всю классическую скуку. У Давида — гнев обогнавшего современников мастера, у меня — пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм.

Следующая

Днем у меня вышло стихотворение. Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом.

Бурлючье чудачество

Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: «Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский». Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение».

Так ежедневно

Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) — «Багровый и белый» и другие.

Прекрасный Бурлюк

Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая.

На Рождество завез к себе в Новую Маячку. Привез «Порт» и другое.

«Пощечина»

Из Маячки вернулись. Если с неотчетливыми взглядами, то с отточенными темпераментами. В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же вился футуристический иезуит слова — Крученых.

После нескольких ночей лирики родили совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоем дали имя и выпустили «Пощечину общественному вкусу»

Пошевеливаются

Выставки «Бубновый валет». Диспуты. Разъяренные речи мои и Давида. Газеты стали заполняться футуризмом. Тон был не очень вежливый. Так, например, меня просто называли «сукиным сыном».

Желтая кофта

Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы — гнуснейшего вида. Испытанный способ — украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке — галстук. Очевидно — увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук.

Впечатление неотразимое.

Разумеется

Генералитет искусства ощерился. Князь Львов. Директор училища. Предложил прекратить критику и агитацию. Отказались.

Совет «художников» изгнал нас из училища.

Веселый год

Ездили Россией. Вечера. Лекции. Губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полуслове доклада. К ватаге присоединился Вася Каменский. Старейший футурист.

Для меня эти годы — формальная работа, овладение словом.

Издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки.

Возвращаясь в Москву — чаще всего жил на бульварах.

Это время завершилось трагедией «Владимир Маяковский». Поставлена в Петербурге. Луна-парк. Просвистели ее до дырок.

Начало 14-го года

Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах».

Война

Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем стих. «Война объявлена».

Август

Первое сражение. Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна. Тыл еще отвратительней. Чтобы сказать о войне — надо ее видеть. Пошел

записываться добровольцем. Не позволили. Нет благонадежности.

И у полковника Модля оказалась одна хорошая идея.

Зима

Отвращение и ненависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другие.

Интерес к искусству пропал вовсе.

Май

Выиграл 65 рублей. Уехал в Финляндию. Куоккала.

Куоккала

Семизнакомая система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник — Евреинова и т. д. В четверг было хуже — ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень — это не дело.

Вечера шатаюсь пляжем. Пишу «Облако».

Выкрепло сознание близкой революции.

Поехал в Мустамяки. М. Горький. Читал ему части «Облака». Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете.

Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея.

«Новый сатирикон»

65 рублей прошли легко и без боли. «В рассуждении чего б покушать» стал писать в «Новом сатириконе».

Радостнейшая дата

Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л.Ю. и О.М. Бриками.

Призыв

Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. С печатанием еще хуже. Солдатам запрещают. Один Брик радует. Покупает все мои стихи по 50 копеек строку. Напечатал «Флейту позвоночника» и «Облако». Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек.

С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже.

Солдатчина

Паршивейшее время. Рисую (изворачиваюсь) начальниковы портреты. В голове разворачивается «Война и мир», в сердце — «Человек».

16-й год

Окончена «Война и мир». Немного позднее — «Человек». Куски печатаю в «Летописи». На военщину нагло не показываюсь.

26 февраля, 17-й год

Пошел с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается. Через час надоели. Ушел. Принял на несколько дней команду Автошколой. Гучковеет. Старое офицерье по-старому

расхаживает в Думе. Для меня ясно — за этим неизбежно сейчас же социалисты. Большевики. Пишу в первые же дни революции Поэтохронику «Революция». Читаю лекции — «Большевики искусства».

Август

Россия понемногу откеренщивается. Потеряли уважение. Ухожу из «Новой жизни». Задумываю «Мистерию-Буфф».

Октябрь

Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось. Начинают заседать.

Январь

Заехал в Москву. Выступаю. Ночью «Кафе поэтов» в Настасьинском. Революционная бабушка теперешних кафе-поэтных салончиков. Пишу киносценарии. Играю сам. Рисую для кино плакаты. Июнь. Опять Петербург.

18-й год

РСФСР — не до искусства. А мне именно до него. Заходил в Пролеткульт к Кшесинской.

Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань.

25 октября, 18-й год

Окончил мистерию. Читал. Говорят много. Поставил Мейерхольд с К. Малевичем. Ревели вокруг

страшно. Особенно коммунистичествующая интеллигенция. Андреева чего-чего не делала. Чтоб мешать. Три раза поставили — потом расколотили. И пошли «Макбеты».

19-й год

Езжу с мистерией и другими вещами моими и товарищей по заводам. Радостный прием. В Выборгском районе организуется комфут, издаем «Искусство коммуны». Академии трещат. Весной переезжаю в Москву.

Голову охватила «150 000 000». Пошел в агитацию Роста.

20-й год

Кончил «Сто пятьдесят миллионов». Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и лучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все. Все равно. Печатаю здесь под фамилией.

Дни и ночи Роста. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей.

21-й год

Пробиваясь сквозь все волокиты, ненависти, канцелярщины и тупости — ставлю второй вариант мистерии. Идет в I РСФСР — в режиссуре Мейерхольда с художниками Лавинским, Храковским, Киселевым и в цирке на немецком языке для III конгресса Коминтерна. Ставит Грановский с Альтманом и Равделем. Прошло около ста раз.

Стал писать в «Известиях».

22-й год

Организую издательство МАФ. Собираю футуристов — коммуны. Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам. Начал записывать работанный третий год «Пятый интернационал». Утопия. Будет показано искусство через 500 лет.

23-й год

Организуем «Леф». «Леф» — это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Этим определением, конечно, вопрос не исчерпывается, — интересующихся отсылаю к №№. Сплотились тесно: Брик, Асеев, Кушнер, Арватов, Третьяков, Родченко, Лавинский.

Написал: «Про это». По личным мотивам об общем быте. Начал обдумывать поэму «Ленин». Один из лозунгов, одно из больших завоеваний «Лефа» — деэстетизация производственных искусств, конструктивизм. Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйственная — реклама. Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде, кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации.

24-й год

«Памятник рабочим Курска». Многочисленные лекции по СССР о «Лефе». «Юбилейное» — Пушкину. И стихи этого типа — цикл. Путешествия: Тифлис, Ялта — Севастополь. «Тамара и Демон» и т. д. Закончил поэму «Ленин». Читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы. Много езжу за

границу. Европейская техника, индустриализм, всякая попытка соединить их с еще непролазной бывшей Россией — всегдашняя идея футуриста-лефовца.

Несмотря на неутешительные тиражные данные о журнале, «Леф» ширится в работе.

Мы знаем эти «данные» — просто частая канцелярская незаинтересованность в отдельных журналах большого и хладнокровного механизма Гиза.

25-й год

Написал агитпоэму «Летающий пролетарий» и сборник агитстихов «Сам пройдись по небесам».

Еду вокруг земли. Начало этой поездки — последняя поэма (из отдельных стихов) на тему «Париж». Хочу и перейду со стиха на прозу. В этот год должен закончить первый роман.

«Вокруг» не вышло. Во-первых, обокрали в Париже, во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско (звали с лекцией) не поехал. Изъездил Мексику, С.-А. С. Ш. и куски Франции и Испании. Результат — книги: публицистика-проза — «Мое открытие Америки» и стихи — «Испания», «Атлантический океан», «Гаванна», «Мексика», «Америка».

Роман дописал в уме, а на бумагу не перевел, потому что: пока дописывалось, проникался ненавистью к выдуманному и стал от себя требовать, чтобы на фамилии, чтоб на факте. Впрочем, это и на 26-й — 27-й годы.

1926-й год

В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают — однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лири-

ческий вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому, кроме супруги, не интересно.

Пишу в «Известиях», «Труде», «Рабочей Москве», «Заре Востока», «Бакинском рабочем» и других.

Вторая работа — продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и т. д., и т. д., и т. д.

1927-й год

Восстанавливаю (была проба «сократить») «Леф», уже «Новый». Основная позиция: против выдумки, эстетизации и психоложества искусством — за агит, за квалифицированную публицистику и хронику. Основная работа в «Комсомольской правде», и сверхурочно работаю «Хорошо».

«Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала.

Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее («сыры не засижены — лампы сияют, цены снижены»), введение, для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»).

Буду разрабатывать намеченное.

Еще: написаны — сценарии и детские книги.

Еще продолжал менестрелить. Собрал около 20 000 записок, думаю о книге «Универсальный ответ» (записочникам). Я знаю, о чем думает читающая масса.

1928-й год

Пишу поэму «Плохо». Пьесу и мою литературную биографию. Многие говорили: «Ваша автобиография не очень серьезна». Правильно. Я еще не заакадемичился и не привык нянчиться со своей персоной, да и дело мое меня интересует, только если это весело. Подъем и опадание многих литератур, символисты, реалисты и т. д., наша борьба с ними — все это, шедшее на моих глазах: это часть нашей весьма серьезной истории. Это требует, чтобы об нем написать. И напишу.

[1922. 1928]

Я сразу смазал карту будня...

Порт

Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы — как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

[1912]

* * *

Наконец и до Одессы дошли эти самые «первые начатки футуризма»: странные книжки, напечатанные на толстой, чуть ли не оберточной бумаге со щепочками, непривычным шрифтом, со странными названиями: «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», даже «Засахаренная кры...», непонятными стихами и чудовищными фамилиями поэтов-футуристов, как будто нарочно придуманными для того, чтобы дразнить читателей...

Среди совершенно непонятных для меня стихов, напечатанных вкривь и вкось, даже, кажется, кое-где вверх ногами, которые воспринимались как дерзкая мистификация или даже какой-то страшный протест: «Дыр бул щыл — убещур», мне попался на глаза футуристический сборник «Садок судей» — твердая квадратная книжка в обложке из цветных обоев, напечатанная на толстой синей бумаге, почти карто-

не, где я нашел строчки: «В ушах оглохших пароходов горели серьги якорей».

И вдруг я, воспитанный на классиках, уже слегка прикоснувшийся к волшебному реализму Бунина, прочитав эти футуристические строчки, увидел поразительно яркое изображение порта и услышал так хорошо мне знакомый пароходный гудок столь низкого, басового тона и столь пронзительно свистящей силы, что едва он начинал гудеть, как из брандспойта выпуская струю прозрачно-раскаленного пара, которая лишь через некоторое время превращалась над головой в плотное облако, моросящее теплым дождиком на головы и лица пассажиров, которые в ужасе затыкали пальцами уши и разевали рты для того, чтобы спасти свои барабанные перепонки, как в мире воцарялась тишина. Поэтому пароходный гудок всегда ассоциировался с внезапно наступившим на рейде безмолвием, с всеобщей подавляющей глухотой.

Я понял, что оглохшие пароходы были вовсе не футуристическим изыском, а поразительно верным реалистическим изображением, инверсией — по тому времени совершенно новым приемом, поэтическим открытием, заключавшимся в том, что ощущение глухоты переносилось с человека на вещь. Пароходы превращались в живые существа, в железных женщин с серьгами якорей в оглохших ушах.

Что же касается любви и похоти (в последующей редакции), которые они со страшным воем лили из своих якобы медных труб, то это было совершенно гениальное наблюдение поэта, проникшего в самые глубины подсознательного: пароходный гудок ревел, и впрямь вызывая нечто похожее на половое чувство, от которого как бы содрогался рейд со всеми своими таможенными катерами, буксирами, баржами, тузиками, флагами, белым маяком, чье отраже-

ние рвалось на мелкие клочья, как разорванное письмо в голубом зеркале акватория, как бы разорванными в клочья чайками, предчувствием зной-ной приморской ночи.

Я даже не запомнил фамилии футуриста, написавшего эти строчки, но картина порта, созданная его могучим воображением, навсегда врезалась в память.

Валентин Катаев. «Трава забвенья»

УЛИЧНОЕ

В шатрах, истертых ликов цвель где,
из ран лотков сочилась клюква,
а сквозь меня на лунном сельде
скакала крашеная буква.

Вбиваю гулко шага сваи,
бросаю в бубны улиц дробь я.
Ходьбой усталые трамваи
скрестили блещущие копья.

Подняв рукой единый глаз,
кривая площадь кралась близко.
Смотрело небо в белый газ
лицом безглазым василиска.

[1913]

ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.

Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!
Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клок.
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.

[1913]

КОЕ-ЧТО ПРО ПЕТЕРБУРГ

Слезают слезы с крыши в трубы,
к руке реки чертя полоски;
а в неба свисшиеся губы
воткнули каменные соски.

И небу — стихши — ясно стало:
туда, где моря блещет блюдо,
сырой погонщик гнал устало
Невы двугорбого верблюда.

[1913]

ЗА ЖЕНЩИНОЙ

Раздвинув локтем тумана дрожжи,
цедил белила из черной фляжки
и, бросив в небо косые вожжи,
качался в тучах, седой и тяжкий.

В расплаве меди домов полуда,
дрожанья улиц едва хранимы,
дразнимы красным покровом блуда,
рогами в небо вонзались дымы.

Вулканы-бедра за льдами платий,
колосья грудей для жатвы спелы.
От тротуаров с ужимкой татьей
ревниво взвились тупые стрелы.

Вспугнув копытом молитвы высей,
арканом в небе поймали бога
и, ощипавши с улыбкой крысьей,
глумясь, тащили сквозь щель порога.

Восток заметил их в переулке,
гримасу неба отбросил выше
и, выдрав солнце из черной сумки,
ударил с злобой по ребрам крыши.

[1913]

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБО МНЕ САМОМ

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гро́ба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою
дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

[1913]

* * *

В немногих стихах, которые он опубликовал к тому времени, он представлялся мне совершенно иным, чем вся группа его сотоварищей: сквозь эксцентрику футуристических образов мне чудилась подлинная человеческая тоска, несовместимая с шумной бравадой его эстрадных высказываний. Должно быть, я слишком субъективно воспринимал некоторые из его тогдашних стихов, но они казались мне раньше всего выражением боли:

Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
. . . . . .
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!

Этими стихами в ту пору был окрашен для меня весь Маяковский...

...Когда в дачном куоккальском театрике, принадлежавшем Альберту Пуни, отцу художника Ивана Альбертовича Пуни, с которым дружил Маяковский, я прочитал о поэзии Маяковского краткую лекцию, перед тем как он выступил со своими стихами, я не вполне понимал свои собственные утверждения о нем.

Я говорил о нем: «Он поэт катастроф и конвульсий», а каких катастроф — не догадывался. Я цитировал его неистовые строки:

Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть, —

и видел в этих стихах лишь «пронзительный крик о неблагополучии мира». Их внутренняя тревога

была мне непонятна. Этот крик о неблагополучии мира так взбудоражил меня, что я в маленьком дачном театрике пытался истолковать Маяковского как поэта мировых потрясений, все еще не понимая, каких.

Корней Чуковский. Маяковский

ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!
Дай исцелую твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.
Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.
Ты! Нас — двое,
ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.
Сестра моя!
В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.
Квакая, скачет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.

[1913]

ЛЮБОВЬ

Девушка пугливо куталась в болото,
ширились зловеще лягушечьи мотивы,
в рельсах колебался рыжеватый кто-то,
и укорно в буклях проходили локомотивы.

В облачные пáры сквозь солнечный угар
врезалось бешенство ветрянóй мазурки,
и вот я — озноенный июльский тротуар,
а женщина поцелуи бросает — окурки!

Бросьте города, глупые люди!
Идите голые лить на солнцепеке
пьяные вина в меха-груди,
дождь-поцелуи в угли-щеки.

[1913]

МЫ

Лезем земле под ресницами вылезших пальм
выколоть бельма пустынь,
на ссохшихся губах каналов —
дредноутов улыбки поймать.
Стынь, злоба!
На костер разожженных созвездий
взвесть не позволю мою одичавшую дряхлую мать.
Дорога — рог ада — пьяни грузовозов храпы!
Дымящиеся ноздри вулканов хмелем — расширь!
Перья линяющих ангелов бросим любимым
на шляпы,
будем хвосты на боа обрубать у комет,
ковыляющих в ширь.

[1913]

ШУМИКИ, ШУМЫ И ШУМИЩИ

По эхам города проносят шумы
на шепоте подошв и на громах колес,
а люди и лошади — это только грумы,
следящие линии убегающих кос.

Проносят девоньки крохотные шумики.
Ящики гула пронесет грузовоз.

Рысак прошуршит в сетчатой тунике.
Трамвай расплещет перекаты гроз.

Все на площадь сквозь туннели пассажей
плывут каналами перекрещенных дум,
где мордой перекошенный, размалеванный сажей
на царство базаров коронован шум.

[1913]

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

[1913]

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и
без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

[1913]

* * *

Одетый не по сезону легко в черную морскую пелерину со львиной застежкой на груди, в широкополой черной шляпе, надвинутой на самые брови, он казался членом сицилианской мафии, игрою случая заброшенным на Петербургскую сторону.

Его размашистые, аффектированно резкие движения, традиционные для всех оперных злодеев, басовый регистр и прогнатическая нижняя челюсть, волевого выражения которой не ослабляло даже отсутствие передних зубов, сообщающее вялость всякому рту, — еще усугубляли сходство двадцатилетнего Маяковского с участником разбойничьей шайки или с анархистом-бомбометателем, каким он рисовался в ту пору напуганным богровским выстрелом салопницам. Однако достаточно было заглянуть в умные, насмешливые глаза, отслаивавшие нарочито выпячиваемый образ от подлинной сущ-

ности его носителя, чтобы увидеть, что всё это — уже надоевший «театр для себя», которому он, Маяковский, хорошо знает цену и от которого сразу откажется, как только найдет более подходящие формы своего утверждения в мире.

Это был, конечно, юношески наивный протест против условных общественных приличий, индивидуалистический протест, шедший по линии наименьшего сопротивления. И все-таки, несмотря на невольную улыбку, которую вызывал у меня этот ходячий grand guignol (общее впечатление его очень удачно передано шаржем тогдашней приятельницы Маяковского, Веры Шехтель), я был готов согласиться с Давидом: незаурядная внутренняя сила угадывалась в моем новом знакомце.

Он рассказывал о московских делах, почти исключительно о художественных кругах, в которых он вращался (выбор судьбы еще не был как будто сделан), о скандалах, назревавших в Училище живописи, ваяния и зодчества, где он с Бурлюком были белыми воронами, и его самоуверенное «мы», окрашенное оттенком pluralis majestatis, вот-вот грозило прорваться уже набухавшим в нем, отвергающим всякую групповую дисциплину, анархическим «я».

Ему нужно было переговорить, о чем-то условиться с устроительницей модных выставок и «салонов» Д., и он предложил всей компанией отправиться к ней. Мы пошли втроем: он, Коля Бурлюк, в качестве неизменного блюстителя гилейского правоверия, и я.

У Д., занимавшей квартиру на Мойке, ставшую впоследствии настоящим музеем левой живописи, мы застали несколько бесцветных молодых людей и нарядных девиц, с которыми, неизвестно по какому праву, Володя Маяковский, видевший их впервые, обращался как со своими одалисками.

За столом он осыпал колкостями хозяйку, издевался над ее мужем, молчаливым человеком, безропотно сносившим его оскорбления, красными от холода руками вызывающе отламывал себе кекс, а когда Д., выведенная из терпения, отпустила какое-то замечание по поводу его грязных ногтей, он ответил ей чудовищной дерзостью, за которую, я думал, нас всех попросят немедленно удалиться.

Ничуть не бывало: очевидно, и Д., привыкшей относиться к художественному олимпу обеих столиц как к собственному, домашнему зверинцу, импонировал этот развязный, пока еще ничем не проявивший себя юноша.

Мы ушли поздно (Коля скрылся вскоре после чая), трамваев уже не было, и Маяковский предложил пойти пешком на Петербургскую сторону. Мне хотелось поближе присмотреться к нашему новому соратнику, он тоже проявлял известный интерес ко мне, и между нами завязалась непринужденная, довольно откровенная беседа, в которой я впервые столкнулся с Маяковским без маски.

Вдумчиво, стыдливо сдержанный, осторожно — из предельной честности — выбиравший каждое выражение, он не имел ничего общего с человеком, которого я только что видел за чайным столом.

Бенедикт Лившиц. «Полутораглазый стрелец»

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» —
запрыгали слова.

Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

[1913]

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевóчки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полýденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

[1914]

А ВСЕ-ТАКИ

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.
Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

[1914]

ЕЩЕ ПЕТЕРБУРГ

В ушах обрывки теплого бала,
а с севера — снега седей —
туман, с кровожадным лицом каннибала,
жевал невкусных людей.

Часы нависали, как грубая брань,
за пятым навис шестой.
А с неба смотрела какая-то дрянь
величественно, как Лев Толстой.

[1914]

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилáсь струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громáми ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мукá в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу урóдился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человечьего мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилáсь и лилáсь струя.

20 июля 1914 г.

МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

ПИСЬМО

Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?
Видите —
весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма-а-а-ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг, —
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,

безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —
выбряцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русый ус!»

ЗВОНОК

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

[1914]

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»

«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

[1914]

Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.

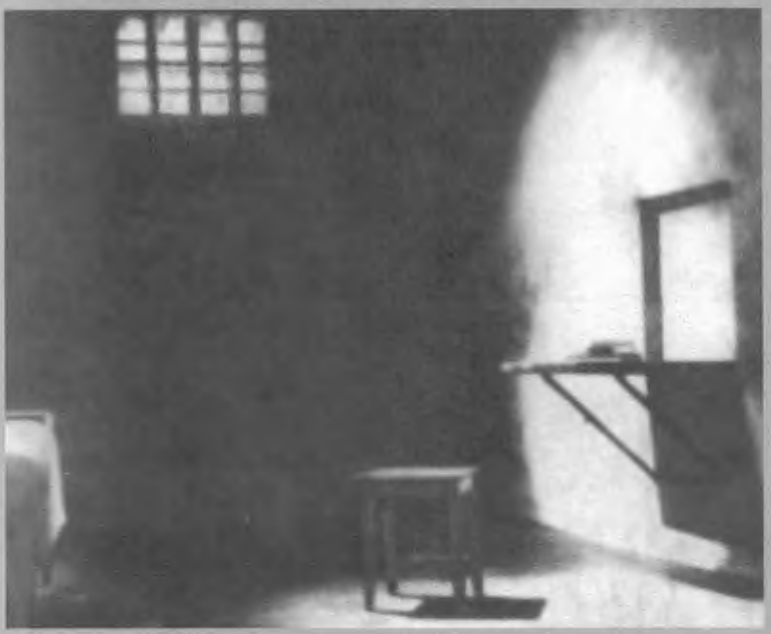
Ну?
Кажется — какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?
Ночь пришла.
Хорошая.
Вкрадчивая.
И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка к бульварному изголовью
припала, — набитый слезами куль, —
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!
Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Семья Маяковских. Сидят (*слева направо*): Ольга, Владимир, Александра Алексеевна. Стоят: Людмила, Владимир Константинович. Кутаиси, 1905

Ученик 1-го класса гимназии. Кутаиси, 1903

Маяковский студент Училища живописи, ваяния и зодчества. Москва, 1911

Три фотографии на учетной карточке Московского охранного отделения. 1908



Камера 103 в Центральной пересыльной тюрьме (Бутырки), в которой сидел Маяковский

Александра Алексеевна Маяковская. Фотография 1950

Маяковский. 1910

Маяковский с сыном К. И. Чуковского Борисом.
Куоккала, 1915

Маяковский. Киев, 1913

Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных
карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я — Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и — он!

Он раз чуме приблизился троном,
смелостью смерть поправ, —
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, —
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!

Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней, —
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

1915

ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

[1915]

* * *

Маяковский писал в это время «Флейту-позвоночник».

Ходил в «Бродячую собаку». В «Собаке» в то время официально вина не было. Пили, скажем, кофе. Народу было много, все больше приходило людей посторонних, которых в «Собаке» звали «фармацевтами». Даже устраивали вечера специально для «фармацевтов».

Люди, на которых работала война, закупали старые коллекции вместе с домами и с женами коллекционеров. Это ихняя любовь.

Для одной танцовщицы раз был закуплен подвал «Бродячей собаки». Весь подвал был заставлен цветами, женщина танцевала на зеркале вместе с маленькой девочкой, одетой амуром...

Появились люди в форме земгусаров.

«Бродячая собака» была настроена патриотически. Когда Маяковский прочел в ней свои стихи:

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре б... буду
подавать ананасную воду —

то какой был визг.

Это был бар. Вино запретили, и вода была ананасная.

Женщины очень плакали...

А в это время Хлебников был в чесоточной команде на Волге.

Виктор Шкловский. «О Маяковском»

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодушью миноносьему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

[1915]

КОЕ-ЧТО ПО ПОВОДУ ДИРИЖЕРА

В ресторане было от электричества рыжó.
Кресла облиты в дамскую мякоть.
Когда обиженный выбежал дирижер,
приказал музыкантам плакать.

И сразу тому, который в бороду
толстую семгу вкусно нес,

труба — изловчившись — в сытую морду
ударила горстью медных слез.

Еще не успел он, между икотами,
выпихнуть крик в золотую челюсть,
его избитые тромбонами и фаготами
смяли и скакали через.

Когда последний не дополз до двери,
умер щекою в соусе,
приказав музыкантам выть по-зверьи —
дирижер обезумел вовсе!

В самые зубы туше опóенной
втиснул трубу, как медный калач,
дул и слушал — раздутым удвоенный,
мечется в брюхе плач.

Когда наутро, от злобы не евший,
хозяин принес расчет,
дирижер на люстре уже посиневший
висел и синел еще.

[1915]

ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашенное, —
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,

вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная о́жила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —

крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудого меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, —
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас — вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало — кашица,
смятая морщинками на выхмуренном лбу,
а если кто смеется — кажется,
что ему разодрали губу.

[1915]

МОЕ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ
(гимн еще почтее)

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик, —
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,
нищий у тумбы виден,
а у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин.

Вкусной слюны разли́лись волны,
во рту громадном плещутся, как в бухте,
А полный! Боже, до чего он полный!
Сравнить если с ним, то худ и Апухтин.

Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,
шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд
ему,
а ему все кажется: «Цаца! Цаца!» —
кричат ему, и все ему нравится, проклятому.

Растет улыбка, жирна и нагла,
рот до ушей разросся,

будто у него на роже спектакль-гала́
затеяла труппа малороссов.

Солнце взойдет, и сейчас же луч его
ему щекочет пятки хо́леные,
и луна ничего не находит лучшего.
Объявляю всенародно: очень недоволен я.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
характер — как из кости слоновой то́чен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень.

[1915]

ЭЙ!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.

Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ощетинясь, как еж,
с похмельем придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под
панцырь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю саму
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

[1916]

МРАК

Склоняются долу солнцеподобные лики их.
И просто мрут,
и давятся,
и тонут.
Один за другим уходят великие,
за мастодонтом мастодонт...

Сегодня на Верхарна обиделись небеса.
Думает небо —
дай
зашибу его!
Господи,
кому теперь писать?
Неужели Шебуеву?

Впрочем —
пусть их пишут.
Не мне в них рыться.
Я с характером.
Вол сам.
От чтенья их
в сердце заводится мокрица
и мозг зарастает густейшим волосом.

И писать не буду.
Лучше
проверю,
не широка ль в «Селекте» средняя луза.
С Фадеем Абрамовичем сяду играть в окó.

Есть
у союзников французов
хорошая пословица:
«Довольно дураков».

Пусть писатели начинают.
Подожду.
Посмотрю,
какою дрянью заначиняют
чемоданы душ.

Вспомнит толпа о половом вопросе.
Дальше больше оскудеет ум ее.
Пойдут на лекцию Поссе:
«Финики и безумие».

Иззахолустничается.
Станет — Чита.
Футуризмом покажется театр Мосоловой.
Дома запрется —
по складам
будет читать
«Задушевное слово».

Мысль иссушится в мелкий порошок.
И когда
останется смерть одна лишь ей,
тогда...
Я знаю хорошо —
вот что будет дальше.

Ко мне,
уже разукрашенному в проседь,
придет она,
повиснет на шею плакучей ивою:
«Владимир Владимирович,
милый» —

попросит —
я сяду
и напишу что-нибудь
замечательно красивое.

[1916]

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.

Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвáлась, криком сломана:
— Жует!
Не знает, зачем они.
Деревня!

Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.
И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

[1916]

РОССИИ

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!

И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.

Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яйца?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.

[1916]

* * *

Сажённым — в нем посаженным — стихам
Сбыт находя в бродяжьем околотке,
Где делает бездáрь из них колодки,
В господском смысле он, конечно, хам.

Поет он гимны всем семи грехам,
Непревзойденный в митинговой глотке.
Историков о нем тоскуют плетки
Пройтись по всем стихозопотрохам...

В иных условиях и сам, пожалуй,
Он стал иным, детина этот шалый,
Кощунник, шут и пресненский апаш:

В нем слишком много удали и мощи,
Какой полны издревле наши рощи,
Уж слишком он весь русский, слишком наш!

Игорь Северянин. «Маяковский»

ИЗ ПОЭМЫ «ОБЛАКО В ШТАНАХ»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...
А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

* * *

У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин...

Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха.

Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией создали особый, странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию.

Борис Пастернак.
«Люди и положения»

* * *

Известный организатор поэтических вечеров Долидзе решил устроить публичное «состязание певцов». Вечер назывался «выборы короля поэтов». Происходил он все в том же Политехническом. Публике были розданы бумажки, чтобы после чтения она подавала голоса. Выступать разрешалось всем. Специально приглашены были футуристы.

На эстраде сидел президиум. Председательствовал известный клоун Владимир Дуров.

Зал был набит до отказа. Поэты проходили длинной очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае. Теснились выступающие, стояла не поместившаяся в проходе молодежь. Читающим смотрели прямо в рот. Маяковский выдавался над толпой. Он читал «Революцию», едва находя возможность взмахнуть руками. Он заставил себя слушать, перекрыв разговоры и шум. Чем больше было народа, тем читал он свободней. Тем полнее был сам захвачен и увлечен. Он швырял слова до верхних рядов, торопясь уложиться в отпущенный ему срок.

Но «королем» оказался не он. Северянин приехал к концу программы. Здесь был он в своем обычном сюртуке. Стоял в артистической, негнущийся и «отдельный».

— Я написал сегодня рондо, — процедил он сквозь зубы вертевшейся около поклоннице.

Прошел на эстраду, спел старые стихи из «Кубка». Выполнив договор, уехал. Начался подсчет записок. Маяковский выбегал на эстраду и возвращался в артистическую, посверкивая глазами. Не придавая особого значения результату, он все же увлекся игрой. Сказывался его всегдашний азарт, страсть ко всякого рода состязаниям.

— Только мне кладут и Северянину. Мне налево, ему направо.

Северянин собрал записок все же больше, чем Маяковский.

«Король шутов», как назвал себя Дуров, объявил имя «короля поэтов».

Третьим был Василий Каменский.

Часть публики устроила скандал. Футуристы объявили выборы недействительными. Северянин

выпустил сборник, на обложке которого стоял его новый титул. А футуристы устроили вечер под лозунгом: «Долой всяких королей!».

Сергей Спасский.
«Маяковский и его спутники»

ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ

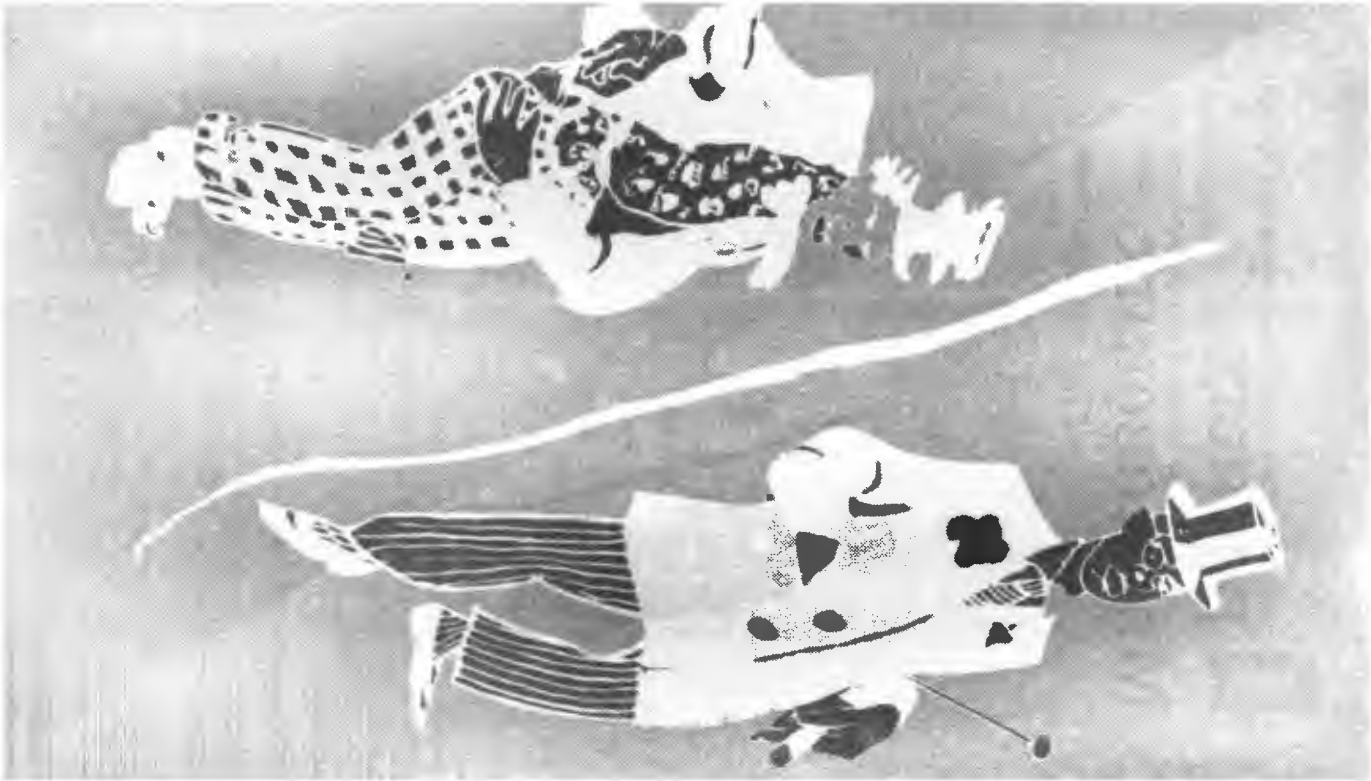
Небывалей не было у истории в аннале
факта:
вчера,
сквозь иней,
звеня в «Интернационале»,
Смольный
ринулся
к рабочим в Берлине.
И вдруг
увидели
деятели сыска,
все эти завсегдатаи баров и опер,
триэтажный
призрак
со стороны российской.
Поднялся.
Шагает по Европе.
Обедающие не успели окончить обед —
в место это
грохнулся,
и над Аллеей Побед —
знамя
«Власть Советов».
Напрасно пухлые руки взмóлены, —
не остановить в его неслышном карьере.
Раздавил
и дальше ринулся Смольный,
республик и царств беря барьеры.
И уже
из лоска

тротуарного глянца
Брюсселя,
натягивая нерв,
росла легенда
про Летучего голландца —
голландца революционеров.
А он —
по полям Бельгии,
по рыжим от крови полям,
туда,
где гудит союзное ржанье,
метнулся.
Красный встал над Парижем.
Смолкли парижане.
Стоишь и сладостным маршем манишь.
И вот,
восстанию в лапы отдана,
рухнула республика,
а он — за Ламанш.
На площадь выводит подвалы Лондона.
А после
пароходы
низко-низко
над океаном Атлантическим видели —
пронесся.
К шахтерам калифорнийским.
Говорят —
огонь из зева выделил.
Сих фактов оценки различна мерка.
Не верили многие.
Ловчились в спорах.
А в пятницу
утром
вспыхнула Америка,
землей казавшаяся, оказалась порох.
И если
скулит
обывательская моль нам:

— не увлекайтесь Россией, восторженные дети, —
Я
указываю
на эту историю со Смольным.
А этому
я,
Маяковский,
свидетель.

[1919]

О разных Маяковских



Два Чехова

Конечно, обидитесь, если я скажу:

— Вы не знаете Чехова!

— Чехова?

И вы сейчас же вытащите из запыленной газетной и журнальной бумаги крепко сколоченные фразы.

«Чехов, — глубоко протянет поэтоволосый лирик-репортер, — это певец сумерек». «Защитник униженных и оскорбленных», — авторитетно подтвердит многосемейный титулярный советник. И еще и еще:

«Обличитель-сатирик».

«Юморист»...

А бард в косоворотке срифмует:

Он любил людей такой любовью нежной,
Как любит женщина, как любит только мать.

Послушайте! Вы, должно быть, знаете не того Чехова. Знаки вашего уважения, ваши лестные эпитеты хороши для какого-нибудь городского головы, для члена общества ревнителей народного здравия, для думского депутата, наконец, а я говорю о другом Чехове.

Антон Павлович Чехов, о котором говорю я, — писатель.

«Подумаешь, какую новость открыл!.. — расхохочетесь вы. — Это детям известно».

Да, я знаю, вы тонко разобрались в характере каждой из трех сестер, вы замечательно изучили жизнь,

отраженную в каждом чеховском рассказе, не запутаетесь в тропинках вишневого сада.

Вы знали его большое сердце, доброту, нежность и вот... надели на него чепчик и сделали нянькой, кормилицей всех этих забытых Фирсов, человеков в футлярах, ноющих: «в Москву-у-у».

Мне же хочется приветствовать его достойно, как одного из династии «Королей Слова».

Должно быть, слишком режущи стоны горбящихся над нивами хлеба, слишком остра картина нужды, наматывающей жилы на фабричные станки только из необходимости есть, если каждого человека искусства впрягают в лямку тащащих труд на базары пользы. Скольким писателям сбили дорогу! Некрасов, как вкусные сдобные баранки, нанизывал строчки на нитку гражданских идей, Толстой от «Войны и мира» лаптем замесил пашню, Горький от Марко ушел к программам-минимум и максимум.

Всех писателей сделали глашатаями правды, афишами добродетели и справедливости.

И всем кажется, что писатель корпит только над одной мыслью, которою он хочет защитить, исправить вас, и что ценить его будут только если он, объяснив жизнь, научит бороться с нею. Из писателей выуживают чиновников просвещения, историков, блюстителей нравственности. Подбирают диктанты из Гоголя, изучают быт помещичьей Руси по Толстому, разбирают характеры Ленского и Онегина.

Разменяют писателей по хрестоматиям и этимологиям и не настоящих, живших, а этих, выдуманных, лишенных крови и тела, украсят лаврами. Возьмите!

Памятник поставили не тому Пушкину, который был веселым хозяином на великом празднике бракосочетания слов и пел:

И блеск, и шум, и говор балов,
И в час пирушки холостой

Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Нет, на памятнике пометили: за то, что:

Чувства добрые он лирой пробуждал.

Практический результат один: как только острота политических взглядов какого-нибудь писателя сглаживается, авторитет его поддерживают не изучением его произведений, а силой. Так, в одном из южных городов ко мне перед лекцией явился «чин», заявивший: «Имейте в виду, я не позволю вам говорить неодобрительно о деятельности начальства, ну, там Пушкина и вообще!»

Вот с этим очиновничаньем, с этим канонизированием писателей-просветителей, тяжелою медью памятников наступающих на горло нового освобождающегося искусства слова, борются молодые.

В чем же истинная ценность каждого писателя?

Как гражданина отличить от художника?

Как увидеть настоящее лицо певца за портфелем присяжного поверенного?

Возьмите какой-нибудь факт, такой же, как сумерки, защита униженных и т. д., ну, напр., дворник бьет проститутку.

Попросите этот факт художника зарисовать, писателя описать, скульптора вылепить. Идея всех этих произведений будет, очевидно, одна: дворник — мерзавец. Скорее всего эту идею зафиксирует какой-нибудь общественный деятель. Чем же будут отличаться от него мысли людей искусства?

Единственно, конечно, образом выражения.

Художник: линия, цвет, плоскость.

Скульптор: форма.

Писатель: слово.

Теперь дайте этот факт двум различным писателям.

Разница, очевидно, будет только в одном: в методе выражения.

Таким образом, задача писателя — найти формально тому или другому циклу идей наиболее яркое словесное выражение. Содержание безразлично, но так как потребность нового выражения несется каждым этапом времени особо, то и примеры, называемые сюжетом произведения, иллюстрирующие словесные комбинации, должны быть современны.

Яснее.

Возьмите задачник Евтушевского и прочтите на первой же странице: одному мальчику дали пять груш, а другому две груши, и т. д. Конечно, вы ни на секунду не подумаете, что седого математика интересовала страшная несправедливость, учиненная над вторым мальчиком. Нет, он взял их только как материал, чтобы привести свою арифметическую идею.

Точно так же для писателя нет цели вне определенных законов слова.

Говоря так, я вовсе не стою за бесцельную диалектику. Я только объясняю процесс творчества и разбираюсь в причинах влияния писателя на жизнь.

Влияние это, в отличие от такового же социологов и политиков, объясняется не преподнесением готовых комплектов идей, а связыванием словесных корзин, в которых вы можете по желанию передать любую идею другому.

Таким образом, слова — цель писателя. Каковы же изменения, происходящие в законах слов?

1. Изменение отношения слова к предмету, от слова, как цифры, как точного обозначения предмета, к слову — символу и к слову — самоцели.

2. Изменение взаимоотношения слова к слову. Быстреющий темп жизни провел дорогу от главного периода до растрепанного синтаксиса.

3. Изменение отношения к слову. Увеличение словаря новыми словами.

Вот общие положения, единственно позволяющие подойти критически к писателю.

Так каждый писатель должен внести новое слово, потому что он прежде всего седой судья, вписывающий свои приказания в свод законов человеческой мысли.

Каков же Чехов как творящий слово?

Странно. Начнут говорить о Чехове как о писателе и, сейчас же забывая про «слово», начинают тянуть:

«Посмотрите, как он ловко почувствовал «психологию» дьячков с «больными зубами».

«О, Чехов — это целая литература».

Но никто не хотел говорить о нем, как об эстете.

Эстет! И глазу рисуется изящный юноша, породистыми пальцами небрежно оставляющий на бумаге сонеты изысканной любви.

А Чехов? «Пшла, чтобы ты издохла! — крикнул он. — Прокля-та-я!»

Поэт! И сейчас же перед вами вырисовывается выпятившая грудь фигура с благородным профилем Надсона, каждой складкой черного глухого сюртука кричащая, что разбит и поруган святой идеал.

А здесь: «После блинов осетровую уху ели, а после ухи куропаток с подливкой. Сметана, свежая икра, семга, тертый сыр. Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговки на животе».

Воспитанному уху, привыкшему принимать аристократические имена Онегиных, Ленских, Болконских, конечно, как больно заколачиваемый гвоздь, все эти Курицыны, Козулины, Кошкодавленки.

Литература до Чехова, это — оранжерея при роскошном особняке «дворянина».

Тургенев ли, всё, кроме роз, бравший руками в перчатках, Толстой ли, зажавши нос, ушедший в на-

род, — все за слово брались только как за средство перетащить за ограду особняка зрелище новых пейзажей, забавляющую интригу или развлекающую филантропов идею.

Чуть ли не на протяжении ста лет писатели, связанные одинаковою жизнью, говорили одинаковым словом. Понятие о красоте остановилось в росте, оторвалось от жизни и объявило себя вечным и бессмертным.

И вот слово — потертая фотография богатой и тихой усадьбы.

Знает обязательные правила приличия и хорошего тона, течет рассудительно и плавно, как дормез.

А за оградой маленькая лавочка выросла в пестрый и крикливый базар. В спокойную жизнь усадеб ворвалась разноголосая чеховская толпа адвокатов, акцизных, приказчиков, дам с собачками.

Коммивояжеры — хозяева жизни.

Старая красота затрещала, как корсет на десятипудовой поповне.

Под стук топоров по вишневым садам распродали с аукциона вместе с гобеленами, с красной мебелью в стиле полуторы дюжины людовиков и гардероб изношенных слов.

Сколько их!

«Любовь», «дружба», «правда», «порядочность» болтались, истрепанные, на вешалках. Кто же решится опять напялить на себя эти кринолины вымирающих бабушек?

И вот Чехов внес в литературу грубые имена грубых вещей, дав возможность словесному выражению жизни «торгующей России».

Чехов — автор разночинцев.

Первый, потребовавший для каждого шага жизни свое словесное выражение.

Безвозвратно осмеял «аккорды», «серебристые дали» поэтов, высасывающих искусство из пальца.

Как грек тело перед гибелью Эллады, лелеял слова вежливый Тургенев.

«Как хороши, как свежи были розы».

Но, боже, уже не вызовешь любовь магической фразой!

— Отчего не любит? Отчего?

Насмешлив спокойный голос Антона Павловича:

« — А вы его судаком по-польски кормили? А, не кормили! Надо кормить. Вот и ушел!»

Эстет разночинцев.

Позвольте, но ведь это позорно. Быть эстетом белых девушек, мечтающих у изгороди в косых лучах заходящего солнца, быть эстетом юношей, у которых душа рвется «на бой, на бой, в борьбу со тьмой», это так, но, помилуйте, ведь эстет лабазников — это довольно некрасиво.

Все равно.

Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои — безразлично.

Идей, сюжетов — нет.

Каждый безымянный факт можно опутать изумительной словесной сетью.

После Чехова писатель не имеет права сказать: тем нет.

«Запоминайте, — говорил Чехов, — только какое-нибудь поражающее слово, какое-нибудь меткое имя, а «сюжет» сам придет».

Вот почему, если книга его рассказов истреплется у вас, вы, как целый рассказ, можете читать каждую его строчку.

Не идея рождает слово, а слово рождает идею. И у Чехова вы не найдете ни одного легкомысленного

рассказа, появление которого оправдывается только «нужной» идеей.

Все произведения Чехова — это решение только словесных задач.

Утверждения его — это не вытащенная из жизни правда, а заключение, требуемое логикой слов. Возьмите его бескровные драмы. Жизнь только необходимо намечается за цветными стеклами слов. И там, где другому понадобилось бы самоубийством оправдывать чье-нибудь фланирование по сцене, Чехов высшую драму дает простыми «серыми» словами:

Астров: «А, должно быть, теперь в этой самой Африке жарища — страшное дело».

Как ни странно, но писатель, казалось бы больше всех связанный с жизнью, на самом деле один из боровшихся за освобождение слова, сдвинул его с мертвой точки описывания.

Возьмите (пожалуйста, не подумайте, что я смеюсь) одну из самых характерных вещей Чехова: «Зайцы, басня для детей».

Шли однажды через мостик
Жирные китайцы.
Впередн их, задрав хвостик,
Поспешали зайцы.
Вдруг китайцы закричали:
«Стой, лови! Ах! Ах!»
Зайцы выше хвост задрали
И попрятались в кустах.
Мораль сей басни так ясна:
Кто хочет зайцев кушать,
Тот ежедневно, встав от сна,
Папашу должен слушать.

Конечно, это авто-шарж. Карикатура на собственное творчество; но, как всегда в карикатуре, сходство подмечено угловатее, разительнее, ярче.

Конечно, из погони жирных китайцев за зайцами меньше всего можно вывести мораль: «Папашу должен слушать». Появление фразы можно оправдать только внутренней «поэтической» необходимостью. Далее.

Растрепанная жизнь вырастающих городов, выбросившая новых юрких людей, требовала применить к быстроте и ритм, воскрешающий слова. И вот вместо периодов в десятки предложений — фразы в несколько слов.

Рядом со щелчками чеховских фраз витиеватая речь стариков, например, Гоголя, уже кажется неповоротливым бурсацким косноязычием.

Язык Чехова определенен, как «здравствуйте», прост, как «дайте стакан чаю».

В способе же выражения мысли сжатого, маленького рассказа уже пробивается спешащий крик грядущего: «Экономия!»

Вот эти-то новые формы выражения мысли, этот-то верный подход к настоящим задачам искусства дают право говорить о Чехове, как о мастере слова.

Из-за привычной обывателю фигуры ничем не довольного нытика, ходатая перед обществом за «смешных» людей, Чехова — «певца сумерек», выступают линии другого Чехова — сильного, веселого художника слова.

[1914]

ШТАТСКАЯ ШРАПНЕЛЬ

Искусство умерло...
Да здравствует искусство!

Художники, поэты, артисты!

Искусство умерло.

Два месяца плакали газеты о новых и новых ранах, наносимых телу красоты.

Поломана последняя тонкая рука, вознесенная к небу Реймским собором, жирные, налитые пивом пальцы прусских улан украшены кольцами хранилищ Лувена, и сдобные булочницы юбки брюссельских кружев треплют по улицам Берлина...

Не знаю, плакала ли бедная красота; не слышно слабого дамского голоса за убедительными нотами крупповского баса.

А на могильном камне — уверенно округленная немецким писателем фраза: «Самый маленький холмик, защищающий тело немецкого солдата, дороже всех сокровищ искусства».

Умерло искусство.

Хорошо быть лавочником!

Сейчас так дешево скупить награбленное и спустить жадной до каждого сегодняшнего слуха толпе.

Можно издеваться над героическими, обреченными смерти народами, инсценируя танцы воюющих держав.

Художники могут сбыть залежавшиеся картинки на бинты для раненых.

Ах, как легко прослыть национальным бардом, выкрикивая самолюбие героев!

Искусство сделали лазаретом, питательным пунктом, маркитанткой для театра войны.

Вандалы-враги ограбили искусство чужого народа.

Вандалы-друзья обокрали Россию.

А мне не жалко искусства!..

Жалеть эту добрую заграничную кухарку?

Ведь в то время, как мы, строители жизни, вознесли дома из железо-бетона и к жестокосердию и силе приучили себя в обмане и борьбе городов, она, раздобревшая от кухонного угара, сентиментально любила парикмахера соседнего переулка. В то время как мы, гордые и самолюбивые, приучились любить

себя и свое лицо, грубое и скуластое, она заграничено жеманилась, готовя блюда гурманам.

Умерло искусство потому, что оказалось в хвосте жизни: дебелое не могло защищаться.

Жизнь идет вперед, осмыслив новую красоту. Как венчаться с любимой девушкой никто не пойдет под печаль похоронного марша, так и на смерть войны не пойдет под звуки танго и пупсика.

Сегодня нужны гимны, а гимны писать трудно. Вот почему деятели всероссийской вампуки так славословят смерть.

Бросают поэты стихи, уходят они, убежденные, что

Когда в лицо вам дерзость ветра
Бросают вражьи знамена,
Сломай свой циркуль геометра,
Взложи доспех на рамена.

Хорошо, если их дряхлые рамена выдержат доспехи. Может быть, кому-нибудь из них посчастливится узнать, что мертвые сраму не имут.

Если ж нет, тогда зачем позорить войну?

Война — профессия. Мне легче взять верное перо, чем верный прицел гаубицы.

Мне близки слова:

Надменный воин к войне тревожен,
поэт тревожен к своим стихам.

Я не знаю, для грабежей ли, для убийств ли затеяли немцы войну? Может быть, сознательно только эта мысль руководит ими. Но каждое насилие в истории — шаг к совершенству, шаг к идеальному государству. Горе тому, кто после войны не будет уметь ничего, кроме резания человечьего мяса. Чтоб вовсе не было таких, уже сегодня хочется звать к обыкновенному «штатскому» геройству.

Как русскому, мне свято каждое усилие солдата вырвать кусок вражьей земли, но, как человек искусства, я должен думать, что, может быть, вся война выдумана только для того, чтоб кто-нибудь написал одно хорошее стихотворение.

[1914]

ПОЭТЫ НА ФУГАСАХ

Ах, как я рад!

Мы пять лет орали вам, что у искусства есть задачи выше, чем облегчение выбора ликеров по прейскурантам Северянина или щекотание отходящего ко сну буржуа романами Вербицкой.

Извиняюсь — я вам мешал!

Конечно, каждому приятно в розовенькой квартирке пудрой Бальмонта надушить дочку, заучить пару стихов Брюсова для гражданского разговора после обеда, иметь жену с подведенными глазами, светящимися грустью Ахматовой, но кому нужен я, неуклюжий, как дредноут, орущий, как ободранный шрапнелью!

А теперь, когда каждое тихое семейство братом, мужем или разграбленным домом впутано в какофонию войны, можно над заревом горящих книгохранилищ зажечь проповедь новой красоты.

Конечно, война — это только предлог. Наше искусство должно будет жить и тогда, когда по полям, изрытым траншеями, опять прорежется плуг. Каждый цикл идей рожден и крепится своим укладом жизни. Ведь вчерашняя красота держалась за зеленую юбку деревни, а для кого же секрет, что Крезо, Армстронг, Крупп так радостно ломают готические арки только для того, чтоб встало на развалинах тысячеэтажие небоскребов!

Какая же разница между тем, что делали, и тем, что должны делать?

Ведь о войне писал каждый.

Пример:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.

Свистел булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Отбросьте крошечную разницу ритма, и оба четверостишия одинаковы. Покойный размер. Равнодушный подход. Неужели ж между племянничьим чувством и бьющим ощущением сражений нет разницы. Прямо хочется крикнуть: «Бросьте, Александр Сергеевич, войну, это вам не дядя!»

Одинаковость эта — результат отношения к поэзии не как к цели, а как к средству, как к вьючному животному для перевозки знания.

И все поэты, пишущие сейчас про войну, думают, что достаточно быть в Львове, чтоб стать современным. Достаточно в заученные размеры внести слова «пулемет», «пушка», и вы войдете в историю как бард сегодняшнего дня!

Пересмотрел все вышедшие в последнее время стихи. Вот:

Опять родного нам народа
Мы стали братьями, и вот
Та наша общая свобода,
Как феникс, правит свой полет.

Заря смотрела долгим взглядом,
Ее кровавый луч не гас;
Наш Петербург стал Петроградом
В незабываемый тот час.

Кипи же, страшная стихия,
В войне да выкипит весь яд, —
Когда заговорит Россия,
То громы неба говорят.

Вы думаете — это одно стихотворение? Нет. По четыре строчки Брюсова, Бальмонта, Городецкого. Можно такие же строчки, одинаковые, как баранки, набрать из двадцати поэтов. Где же за трафаретом творец?

Какая великолепная вещь — война!

Всеобъемлющий аршин: сидели старички, ругались на молодую поэзию, не пуская никого к работе, цеплялись за хлебные места толстых журналов, а война и вымерила, и оказалось, что это только живые трупики, терпимые только скопческой психологией поросшего покоем обывателя.

Впрочем, мне вас жалко. Хотите — научу?

Поэзия, господа, не теплое одеяло, сшитое из пятачковых лоскутьев фельетонной мысли, не пишется пóтом филолога, выносившего в университете ямбы.

Поэзия — ежедневно по-новому любимое слово. Сегодня оно хочет ездить на передке орудия в шляпе из оранжевых перьев пожара!

[1914]

ВРАВШИМ КИСТЬЮ

Теперь время!

Репины, Коровины, Васнецовы, доставьте последнее удовольствие: пожертвуйте ваши кисти на зубочистки для противоубойных вегетарианцев.

Уголь дорог. Ваши изумительно промасленные картины отлично разожгли б самовары. Выберите с вашей палитры крап-лак и киноварь и последними широкими мазками напишите красные вывески лазаретов. Будет прямая польза.

Торопитесь!

Еще два-три месяца, и вас зарегистрируют как людей без определенных занятий.

Тем из вас, кто долголетней талантливой продажей не скопил «дачу на реке», придется заняться музыкой (худ. Пастернак, кажется, хорошо играет на виолончели?) или другим каким-нибудь ремеслом.

Вчера еще на выставках вы брюзжали около наших картин, картин крайних левых: «Сюжетца нет, надо с натуры писать, господа, вы правды не ищете, это учебник геометрии, а не картина».

Сегодня же попробуйте в лаптях вашей правды подойти к красоте. Даже в жизни сегодняшней нет ничего правдашнего. Разве это не воплощение наших идей: называется «война»: люди жмутся в кошмарах, приезжают безногие, безрукие, а на самом деле нет ничего, только от Токио до Лондона какое-то небо, каждый день наново перечеркиваемое разящей геометрией снарядов. Эй вы, списыватели, муравьиным трудом изучившие натуру, сосчитайте, сколько ног у несущейся в атаку кавалерии, нарисуйте похожей яичницу блиндированного поезда, расцапанную секундой бризантного снаряда!

Ведь это вчера еще вы, подходя к бунтующим картинам моим и моих товарищей, ругались: «Все это пустое, бессодержательное, одно красочное ржание какое-то. Должна быть идея в произведении, ведь мы тем и отличаемся от скотов, что мыслим. В сердце должно быть негодование, благородные порывы...»

А ну-ка возьмите вашу самую гордящуюся идею, самую любимую идею вас, ваших Верещагиных, Толстых — не убивай человека, — выйдите с ней на улицу к сегодняшней России, и толпа, великолепная толпа, о камни мостовой истреплет ваши седые бороденки.

Это же вы, проходя мимо наших орущих красками полотен, мямлили: «Какие сумасшедшие цвета, в природе так не бывает, в природе все спокойнее, берите цвета ближе к натуре».

А теперь попробуйте-ка вашей серой могильной палитрой, годной только для писания портретов мокриц и улиток, написать красногрожую красавицу войну в платье кроваво-ярком, как желание побить немцев, с солнцами глаз прожекторов.

Конечно, на перчатку, брошенную мною, вы ответите: «Да зачем нам писать, мы не драчуны вовсе, мы принимаем войну, как неизбежное зло, ведь война самое большее на год, она в стороне, ведь можно же писать и все другое».

Нет, теперь — всё война.

Г-н Переплетчиков, я никогда не был в Олонецкой губернии, но я достоверно знаю — сегодня ее пейзаж изменился до неузнаваемости оттого, что под Антверпеном ревели сорокадвухсантиметровые пушки. Не уезжайте в Олонецкую губернию — у вас ничего не выйдет.

Тот не художник, кто на блестящем яблоке, поставленном для натюрморта, не увидит повешенных в Калише.

Можно не писать о войне, но надо писать войною!

Вчерашние учители. Хотите, мы вас почетно похороним по первому разряду? Для своего времени вы все-таки были большие. Но сегодня секунда навсегда обломила старое. Не беритесь больше за кисть —

все равно налжете. Да и как иначе! Ведь вы давно перешли за те 56 лет, до которых можете гордиться званием способного носить оружие, а следовательно, и видеть жизнь.

Но вы, молодые, с негодованием отвергнете потную руку примирения, протянутую стариками. Ведь не затем же выстроились под пулями наши Якулов, Кончаловский. Ведь не затем же чуть не без ног контуженный лежит дорогой Ларионов, чтоб отсрочить наше господство хотя бы минутой перемирия!

Сейчас на ощетинившихся штыками границах решается вопрос и о нашем существовании — война не только изменит географические границы государств, но и новые мощные черты положит на лицо человеческой психологии.

Вл. Маяковский.

Из-за многочисленных помарок в моей вчерашней статье «Поэты на фугасах» досадная нелепость: впечатано перечеркнутое четверостишие Лермонтова:

Свистел булат и т. д.

Пропущено четверостишие Пушкина:

Швед, русский колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет и т. д.

Не изменяя смысла статьи — обильный материал досужим репортерам.

[1914]

НЕ БАБОЧКИ, А АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

Пора показать, что поэты не хорошенькие бабочки, созданные к удовольствию «полезных» обывателей, а завоеватели, имеющие силу диктовать вам свою волю.

Конечно, то, что вы считаете за поэзию, — на толстой странице богатенького журнальчика пляшущий в коротенькой юбочке Бальмонт, — надо в военное время запрещать, как шантан и продажу спиртных напитков.

Я говорю о поэзии, которая, вылившись подъемом марша, необходима солдату, как сапог, — о той, которая, приучив нас любить мятеж и жестокость, правит снарядом артиллериста.

Сначала о поэзии-прислуге:

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе
И, душ изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале.

Иду вперед: простор и даль,
Лазурь прозрачна небосклона,
Точь-в-точь бумага Рис Рояль,
Что в чудных гильзах Викторсона.

Дактилоскопический оттиск!

Как близко сошлись свободные пальцы барда с наемной рукой Михея!

Для старой поэзии здесь нет ничего позорного.

Деревенская Россия была так нища, что поэтов хоть в сельские учителя отдавай.

Так, бедному Некрасову пришлось поступить в сельские старосты, а Надсону — выступать на студенческих вечерах.

Тогдашняя Россия требовала от поэтов одного: скорее развозить в легоньких дрожках заученных размеров сведения о российской торговле и промышленности и тюки гражданских идей.

Если теперь прийти к вам и сказать: «Я вот поэт, извольте»:

Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад...

Вы руками замахаете. «Оставьте, — скажете, — исследование экономического положения трудящегося крестьянства взяла на себя политическая экономия». Сегодняшняя городская жизнь характеризована высшим разделением труда.

Профессия должна точно определить цель своего напряжения.

Цель поэта — слово.

Причина действия поэта на человека не в том, что стих его — чемодан для здравого смысла, а в способности находить каждому циклу идей свое исключительное выражение.

Сейчас в мир приходит абсолютно новый цикл идей. Выражение ему может дать только слово-выстрел.

Этого не хотят понимать старые. Занялись описыванием фактов. Когда-то в прабабушкинские времена поэт, верный списыватель быта, заносил:

> Кричали женщины ура
> И в воздух чепчики бросали,

а Брюсов с таким же аршинчиком подходит к сегодняшним событиям:

> Бросали польки хризантемы
> Ротам русских радостных солдат.

Господа, довольно в белом фартуке прислуживать событиям!

Вмешайтесь в жизнь!

Мы сильнее, мы вам поможем!

Ведь дорогу к новой поэзии завоевали мы, первые заявившие:

— Слово — самоцель.

[1914]

ПОЭЗОВЕЧЕР ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

О поэзии Игоря Северянина вообще сказано много. У нее много поклонников, она великолепна для тех, чей круг желаний не выходит из пределов:

Пройтиться по Морской с шатенками.

Но зачем-то ко всему этому притянута война? Впечатление такое: люди объяты героизмом, роют траншеи, правят полетами ядер, и вдруг из толпы этих «деловых» людей хорошенький голос: «Крем де виолет», «ликер из банана», «устрицы», «пудра»! Откуда? Ах да, это в серые ряды солдат пришла маркитантка. Игорь Северянин — такая самая маркитантка русской поэзии.

Вот почему для выжженной Бельгии, для страдальца Остенде у него только такие «кулинарные» образы:

О, город прославленных устриц!

Поэтому и публика на лекции особенная, мужчины котируются как редкость: прямо дамская кофейная комната у Мюра и Мерилиза.

Публики для военного времени много.

Нетерпеливо прослушан бледный доклад Виктора Ховина, ополчившегося на воинственный итальянский футуризм и пытавшегося теоретически обосновать воспевание «гурманства» и «трусости», о которой дальше проскандировал Северянин:

Да здравствует святая трусость
Во имя жизни и мечты!

После вышел «сам». Рукоплескания, растущие с каждым новым стихотворением. Еще бы: «это — король мелодий, это — изящность сама». Увлекаются голосом, осанкой, мягкими манерами, — одним словом, всем тем, что не имеет никакого отношения к

поэзии. Да в самом деле, не балерина ли это, ведь он так изящен, ну, словом —

Летит, как пух из уст Эола:
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет

[1914]

О РАЗНЫХ МАЯКОВСКИХ

1

Милостивые государыни и милостивые государи!

Я — нахал, для которого высшее удовольствие ввалиться, напялив желтую кофту, в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками и пиджаками скромность и приличие.

Я — циник, от одного взгляда которого на платье у оглядываемых надолго остаются сальные пятна величиною приблизительно в десертную тарелку.

Я — извозчик, которого стоит впустить в гостиную, — и воздух, как тяжелыми топорами, занавесят словища этой мало приспособленной к салонной диалектике профессии.

Я — рекламист, ежедневно лихорадочно проглядывающий каждую газету, весь надежда найти свое имя...

Я — ...

Так вот, господа пишущие и говорящие обо мне, надеюсь, после такого признания вам уже незачем доказывать ни в публичных диспутах, ни в проникновенных статьях высокообразованной критики, что я так мало привлекателен.

Таков вот есть Владимир Владимирович Маяковский, молодой человек двадцати двух лет.

Желающих еще больше укрепить уверенность в справедливости моих слов прошу внимательно изучить прилагаемую при этой статье фотографическую карточку: микроцефала с низким и узким лбом слабо украшает пара тусклых вылинявших глаз.

К этому убийственному заключению я пришел вовсе не для того, чтоб лишить честного заработка своих же товарищей по перу, а просто это так и есть.

Но, черт возьми, какое вам до всего этого дело?

Когда вы смотрите на радугу или на северное сияние, — вы их тоже ругаете? Ну, например, за то, что радугой нельзя нарубить мяса для котлет, а северное сияние никак не пришить вашей жене на юбку? Или, может быть, вы их ругаете вместе и сразу за полное равнодушие к положению трудящихся классов Швейцарии?

Считая вас всех за очень умных людей, полагаю, что вы этого не должны были бы делать.

Не делаете потому, что у радуг есть свои определенные занятия, выполняемые ими талантливо и честно.

Так, пожалуйста, изругав нахала, циника, извозчика двадцати двух лет, прочтите совершенно незнакомого поэта Вл. Маяковского.

2

Милостивые государыни и милостивые государи!

Не правда ли, только убежденный нахал и скандалист, исхищряющий всю свою фантазию для доставления людям всяческих неприятностей, так начинает свое стихотворение:

Вы мне — люди,
И те, что обидели,
Вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
Как собака бьющую руку лижет?

А не для того ли только нож хулигана заносится над детищами тех поэтов, которые не мы, — чтоб от упивания сюсюканьем расслабленных каждый из вас перешел к гордости и силе?

Нам, здоровенным,
С шагом саженьим,
Надо не слушать, а рвать их,
Их,
Присосавшихся бесплатным приложением
К каждой двуспальной кровати.
Нам ли смиренно просить — помоги мне,
Молить об гимне, об оратории?
Мы сами творцы в горящем гимне,
Шуме фабрики и лаборатории.

Рекламист?! Разве он не только для того позволяет назвать себя Заратустрой, чтоб непреложнее были слова, возвеличивающие человека?

Слушайте!
Проповедует, мечась и стеня,
Сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы,
С лицом, как заспанная простыня,
С губами, обвисшими, как люстра,
Мы,
Каторжане города-лепрозория,
Где золото и грязь изъязвили проказу,
Мы чище венецианского лазорья,
Морями и солнцами омытого сразу.
Плевать, что нет у Гомеров и Овидиев
Людей, как мы —
От копоти в оспе.
Я знаю,
Солнце б померкло, увидев

Наших душ золотые россыпи.
Жилы и мускулы просьб верней.
Нам ли вымаливать милостей времени?
Мы каждый держим в своей пятерне
Миров приводные ремни.

Подумайте, если не устает непонимаемый и непринятый вытачивать и вытачивать строчки, — то не потому ли только, что знает: ножами будут они в ваших руках, когда крикнут:

Идите, голодненькие, потненькие, покорненькие,
Закисшие в блохастом грязненьке,
Идите!
Понедельники и вторники
Окрасим кровью в праздники.
Пускай земле под ножами припомнится,
Кого хотела опошлить,
Земле, обжиревшей, как любовница,
Которую вылюбил Ротшильд.

Что же? — и освистанным быть не обидно ведь:

Я, проходящий у сегодняшнего племени,
Как длинный скабрезный анекдот,
Вижу идущего через горы времени,
Которого не видит никто.

И если для его прихода надо, чтоб:

Это взвело на Голгофу аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
И не было ни одного, который
Не кричал бы:
Распни,
Распни его!

все равно нахалу, цинику, извозчику и рекламисту одна радость знать —

Когда, приход его мятежом оглашая,
Выйдете радостные,
Вам я
Душу вытащу,
Растопчу,
Чтоб большая,
И окровавленную дам, как знамя.

Милостивые государыни и милостивые государи!

Строчки стихов взяты из второй трагедии поэта Маяковского — «Облако в штанах».

Всю книгу, обрадованные, прочтете, когда выйдет.

Выйдет в октябре.

Страшно заинтересованные читатели, которым, конечно, трудно будет ждать до октября, могут читать журнал «Взял», он выйдет значительно раньше.

Это будет великолепный журнал российского футуризма.

Не правда ли, какой тонкий переход от поэта Маяковского к молодому человеку двадцати двух лет?

Все-таки как будто такой развязный тон недостоин поэта? А мне какое дело? Вы, которые думаете иначе,

Как вы смеете называться поэтом
И, серенький, чирикать, как перепел?
Сегодня надо кастетом
Кроиться миру в черепе.

[1915]

МОЖНО ЛИ СТАТЬ САТИРИКОМ?

В РСФСР появился, появившись — размножился и в настоящее время усердно и успешно работает целый ряд сатирических журналов: партийные — «Крокодил», «Красный перец», просто журнал «Мухомор» (Питер). Просто литературные журналы объявляют о сатирических отделах («Прожектор»), газеты больше чем когда-нибудь печатают сатирические стихи и фельетоны. Редкий номер «Правды» или «Известий» обходится без карикатуры.

Общее впечатление: количество и отчасти уровень сатиры сильно повысились.

Чем объяснить?

Во-первых, конечно, нашей политической победой и рядом наших экономических побед.

Открылась возможность серьезнее почистить советское «нутро».

Если раньше скромная карикатура на редактора какой-нибудь РОСТА вызывала сетование «сановника» на «подрывание основ», то теперь мы видим (напр., в карикатуре «Крокодила» по поводу празднования дня реализации урожая) целую «пляску Наркомов».

Это первое условие — возможность смеха. Но этого мало. Необходимо «профессиональное» поднятие квалификации сатирика.

Вот это — область, поддающаяся любому обучению.

Тем смешных нет. Каждую тему можно обработать сатирически.

Есть, правда, темы, которые напрашиваются на смех, напр.: соглашатель, эмигрант, саботажник. Эти темы вызовут улыбку даже при минимальной обработке. Но при таковой — «смешное» быстро истирается, тема становится надоевшей.

Необходима и обработка материала.

Если это литературное произведение, должно быть заострено слово.

Разобрать в маленькой статье много возможностей трудно. Приведу только несколько приемов.

Напр., частушка. Почему запоминается такое четверостишие?

Милкой мне в подарок бурка
И носки подарены —
Мчит Юденич с Петербурга
Как наскипидаренный.

Потому что шаблонная тема о Юдениче заострена этой легкой, но продуманной и необычной рифмой «наскипидаренный». При шаблонности темы — обработка вызывает все-таки смех.

Например, для прозы. В последнем номере «Крокодила» есть блестящая строка к рисунку на рурскую тему:

«Убийцы из-за угля».

В чем сила, в чем сатиричность этой фразы?

В том, что взято обычное выражение «убийцы из-за угла» и изменением одной буквы дан совершенно новый, даже на первый взгляд «страшный» смысл.

Важно, например, для стиха, чтоб он был в «смешном» размере, уже самым ритмом вызывая смех. Например, стих Д. Бедного о Вандервельде:

Посмотрите, Наркомюст, Наркомюст,
Что за ножки, что за бюст,
Да.

Применение к серьезному предмету шансонетки — смешит. Даже эти беглые примеры показывают, что смех — в обработке, что обработка эта имеет свои законы, что, следовательно, сатирик не рождается, а учится своему делу, сознательно выработанные приемы дают непроизвольный смех.

Сатира растет — нужно дать ей высшую квалификацию.

[1923]

Маяковский смеется

Гимн здоровью

Среди тонконогих, жидких кровью,
трудом поворачивая шею бычью,
на сытый праздник тучному здоровью
людей из мяса я зычно кличу!

Чтоб бешеной пляской землю овить,
скучную, как банка консервов,
давайте весенних бабочек ловить
сетью ненужных нервов!

И по камням острым, как глаза ораторов,
красавцы-отцы здоровых томов,
потащим мордами умных психиатров
и бросим за решетки сумасшедших домов!

А сами сквозь город, иссохший как Онания,
с толпой фонарей желтолицых, как скопцы,
голодным самкам накормим желания,
поросшие шерстью красавцы-самцы!

[1915]

ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик — не мусор, не вывезешь на тачке.
Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.
Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамаши мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
провели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? — Клочок —
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок,
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услыхал стук.
И скоро критик из именного вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо — ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.

И когда вы, наконец, в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете — легко им наше белье
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

[1915]

* * *

Это было в 1920 году. Маяковский приехал на несколько дней в Ленинград. Был он возбужден, говорлив и общителен. Таков он бывал всякий раз, когда ему удавалось закончить какую-нибудь большую поэму, над которой он долго и напряженно работал. Теперь он праздновал окончание поэмы «150 000 000» — и приехал читать ее на ленинградских эстрадах.

Поселился он в Доме искусств на Мойке. С утра до вечера в его комнате толпился народ: ленинградские поэты, молодежь, литераторы, старые и новые друзья. Он с любопытством выслушивал, многих расспрашивал, со многим спорил. Речь его была полна каламбуров, шуточных стихов, эпиграмм и острот. Тогда же сочинил он стихи обо мне, мимоходом, среди разговора — сначала четыре строки, а через день — остальные. Так как в ту пору он много работал в Росте, он и эти стихи озаглавил: «Окно сатиры Чукроста» и, когда записывал их, проиллюстрировал каждое четверостишие особым рисунком, в стиле своих агитационных плакатов. Последнее четверостишие было такое:

Скрыть сего нельзя уже:
Я мово Корнея
Третий год люблю (в душе!)
Аль того раннее.

Кто-то из присутствующих не без ехидства заметил, что в этих строках ядовитый намек на «Гимн

критику», написанный Владимиром Владимировичем года четыре назад и направленный будто бы против меня. Маяковский усмехнулся, промолчал и ни словом не возразил говорившему. Вначале я не придал этому обстоятельству никакого значения, но, придя домой и перечтя «Гимн критику», почувствовал себя горько обиженным. «Гимн критику» — очень злые стихи, полные презренья и гнева, и если Маяковский не отрицает, что в них выведен я, нашим добрым отношениям — конец. В тот же вечер я послал ему письмо, где говорил, что считаю его простым и прямым человеком и потому настаиваю, чтобы он без обиняков сообщил мне, верно ли, что «Гимн критику» имеет какое бы то ни было отношение к «Чукросте». Если это так, почему он ни разу за все эти годы даже не намекнул, что питает ко мне такие неприязненные чувства?

Маяковский тотчас же ответил следующим недвусмысленным и лаконическим письмом:

Дорогой Корней Иванович!

К счастью, в Вашем письме нет ни слова правды.

Мое «Окно сатиры» это же не отношение, а шутка и только. Если б это было — отношение — я моего «Критика» посвятил бы давно и печатно.

Ваше письмо чудовищно по не основанной ни на чем обидчивости.

И я Вас считаю человеком искренним, прямым и простым и, не имея ни желания, ни оснований менять мнение, уговариваю Вас — бросьте!

Вл. Маяковский.

Бросьте

До свидания.

По форме это письмо могло показаться агрессивным и резким, но по своему существу оно было про-

явлением большой деликатности. Чувствовалось, что цель Маяковского — раз навсегда самым решительным образом уничтожить во мне тяжелую мысль, что его сатира имеет какое бы то ни было отношение ко мне.

И замечательна та пылкая энергия, с которой он отвергает самое предположение о том, будто он способен обличать человека, скрывая его имя от общественности.

Хотя письмо Маяковского вполне удовлетворило меня, все же он не ограничился этим письмом, а через несколько дней приписал к своей «Чукросте» такие стихи:

Всем в поясненье говорю:
Для шутки лишь «Чукроста».
Чуковский милый, не горюй,
Смотри на вещи просто.

К. Чуковский.
Неопубликованое письмо Маяковского

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов
твоих четыреста тысяч».

[1915]

ТЕПЛОЕ СЛОВО КОЕ-КАКИМ ПОРОКАМ
(почти гимн)

Ты, который трудишься, сапоги ли чистишь,
бухгалтер или бухгалтерова помощница,
ты, чье лицо от дел и тощищи
помятое и зеленое, как трешница.

Портной, например. Чего ты ради
эти брюки принес к примерке?
У тебя совершенно нету дядей,
а если есть, то небогатый, не мрет и не в Америке.

Говорю тебе я, начитанный и умный:
ни Пушкин, ни Щепкин, ни Врубель
ни строчке, ни позе, ни краске надуманной
не верили — а верили в рубль.

Живешь утюжить и ножницами раниться.
Уже сединою бороду пéревил,
а видел ты когда-нибудь, как померанец
растет себе и растет на дереве?

Потеете и трудитесь, трудитесь и потеете,
вытелятся и вытянутся какие-то дети,
мальчики — бухгалтеры, девочки — помощницы,
те и те
будут потеть, как потели эти.

А я вчера, не насилуемый никем,
просто,
снял в «железку» по шестой руке
три тысячи двести — сó ста.

Ничего, если, приложивши палец ко рту,
зубоскалят, будто помог тем,
что у меня такой-то и такой-то туз
мягко помечен ногтем.

Игроческие очи из ночи
блестели, как два рубля,
я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий
разгружает трюм корабля.

Слава тому, кто первый нашел,
как без труда и хитрости,

чистоплотно и хорошо
карманы ближнему вывернуть и вытрясти!

И когда говорят мне, что труд, и еще, и еще,
будто хрен натирают на заржавленной терке,
я ласково спрашиваю, взяв за плечо:
«А вы прикупаете к пятерке?»

[1915]

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост, —
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;

судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандальных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды
законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

[1915]

ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, —
ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий
ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей
ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы — лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять осклабилось на людские безобразия,
и внизу по тротуарам опять приготовишки
деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

[1915]

ГИМН ВЗЯТКЕ

Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: «А это видали?»

Если сверху смотреть — разинешь рот.
И взыграет от радости каждая мышца.
Россия — сверху — прямо огород,
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые — коза и зелень.

И нечего доказывать — идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?

[1915]

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.

Я, выколачивающий из строчек штаны, —
конечно, как начинающий, не очень часто,
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю».
Сколько раз под сень чинов ник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы, — думает чиновник, —
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам —
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!
Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком
кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!
У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.

НЕ ДЛЯ ДЕНЕГЪ
РОДИВШІЙСЯ
ВЪ ГЛАВНОЙ РОЛИ ПОЭТА ИВАНА НОВА
ВЕЛИЧАЙШІЙ ПОЭТЪ ФУТУРИСТЪ
ВЛАДИМІРЪ МАЯКОВСКІЙ

Футурист Владимир Маяковский и футурист Давид Бурлюк. Казань, 1914

На фотографии (*слева направо*): А.А. Шемшурин, Д.Д. Бурлюк (с раскрашенной физиономией) и В.В. Маяковский. 1914

Участники и издатели сборника «Пощечина общественному вкусу». Сидят (*слева направо*): В. Хлебников, Г. Кузьмин, С. Долинский. Стоят: Н. Бурлюк, Д. Бурлюк, В. Маяковский. 1912

За круглым столом у Репина в Пенатах. В центре И.Е. Репин, третий справа — Маяковский, четвертый справа — К.И. Чуковский. 1915

Кадр из фильма «Барышня и хулиган».
В главной роли — Маяковский. 1918

Кадр из киноленты «Закованная фильмой».
В главных ролях В. Маяковский и Л. Брик. 1918

Маяковский в роли поэта Ивана Нова в фильме «Не для денег родившийся». 1918

От холода не попадая зубом на́ зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу,
Чтоб об этом больше никогда не писать.

[1915]

БРАТЬЯ ПИСАТЕЛИ

Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
пить чай,
построчно врать я, —
опрокину стаканы,
взлезу на столик.
Слушайте,
литературная братия!

Сидите,
глазенки в чаишко канув.
Вытерся от строчения локоть плюшевый.
Подымите глаза от недопитых стаканов.
От косм освободите уши вы.

Вас,
прилипших
к стене,
к обоям,
милые,
что вас со словом свело?
А знаете,
если не писал,
разбоем
занимался Франсуа Виллон.

Вам,
берущим с опаской
и перочинные ножи,

красота великолепнейшего века вверена
вам!
Из чего писать вам?
Сегодня
жизнь
в сто крат интересней
у любого помощника присяжного
поверенного.

Господа поэты,
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сирени куст вам?
Если
такие, как вы,
творцы —
мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяной песней
душу выржу
в кабинете кабака.

Под копны волос проникнет ли удар?
Мысль
одна под волосища вложена:
«Причесываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причесанным быть
невозможно».

[1917]

ПОДПИСИ К ПЛАКАТАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПАРУС»

Царствование Николая последнего

«Радуйся, Саша!
Теперь водка наша».

«Как же, знаю, Коля, я:
теперь монополия».

Забывчивый Николай

«Уж сгною, скручу их уж я!» —
думал царь, раздавши ружья.
Да забыл он, между прочим,
что солдат рожден рабочим.

[1917]

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни чертá в нем красного не было и нету.

Услышит кадет — революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

[1917]

К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжи́лся Албанией.
Сцепилась злость человечьих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут та́м ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.

Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост
ты,
отдающий жизнь свою́ им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

[1917]

* * *

Нетрудно, ландышами дыша,
писать стихи на загородной дачке.
А мы не такие.
Мы вместо карандаша
взяли в руки
по новенькой тачке.
Господин министр,
прикажите подать!
Кадет, пожалте, садитесь, нате.
В очередь!
В очередь!
Не толпитесь, господа.
Всех прокатим.
Всем останется — и союзникам и врагам.
Сначала большие, потом мелкота.
Всех по России
сквозь смех и гам
будем катать.

Испуганно смотрит
невский аристократ.

Зато и Нарвская,
и Выборгская,
и Охта
стократ
раскатят взрыв задорного хохота.

Ищите, не завалялась ли какая тварь еще?
Чтоб не было никому потачки.
Время не ждет,
спешите, товарищи!
Каждый берите по тачке!

[1917]

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ БАСНЯ

Петух однажды,
дог
и вор
такой скрепили договор:
дог
соберет из догов свору,
накрасть предоставлялось вору,
а петуху
про гром побед
орать,
и будет всем обед.
Но это все раскрылось скоро.
Прогнали
с трона
в шею
вора.

Навертывается мораль:
туда же
догу
не пора ль?

[1917]

* * *

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.

[1917]

О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,

живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:

«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

[1920—1921]

О «ФИАСКАХ», «АПОГЕЯХ» И ДРУГИХ НЕВЕДОМЫХ ВЕЩАХ

На съезде печати
у товарища Калинина
великолепнейшая мысль в речь вклинена:
«Газетчики,
думайте о форме!»
До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании статейной формы.

Товарищи газетчики,
СССР оглазейте, —
как понимается описываемое в газете.

Акуловкой получена газет связка.
Читают.
В буквы глаза втыкают.
Прочли:
— «Пуанкаре терпит фиаско». —
Задумались.
Что это за «фиаска» за такая?
Из-за этой «фиаски»
грамотей Ванюха
чуть не разодрался:
— Слушай, Петь,
с «фиаской» востро́ держи ухо:
даже Пуанкаре приходится его терпеть.
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи.

Даже Стиннеса —
и то! —
прогнал из Рура.
А этого терпит.
Значит, богаче.
Американец, должнó.
Понимаешь, дура?! —

С тех пор,
когда самогонщик,
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской,
в уважение к богатству,
скидавáя картуз,
его называли —
Господином Фиаской.

Последние известия получили красноармейцы.
Сели.
Читают, газетиной вея.
— О французском наступлении в Руре имеется?
— Да, вот написано:
«Дошли до своего апогея».
— Товарищ Иванов!
Ты ближе.
Эй!
На карту глянь!
Что за место такое:
А-п-о-г-е-й? —
Иванов ищет.
Дело дрянь.
У парня
аж скулу от напряжения свело.
Каждый город просмотрел,
каждое село.
«Эссен есть —
Апогея нету!
Деревушка махонькая, должно быть, это.

Верчусь —
аж дыру провертел в сапоге я —
не могу найти никакого Апогея!»
Казарма
малость
посовещалась.
Наконец —
товарищ Петров взял слово:
— Сказано: до своего дошли.
Ведь не до чужого?!
Пусть рассеется сомнений дым.
Будь он селом или градом,
своего «апогея» никому не отдадим,
а чужих «апогеев» — нам не надо.

Чтоб мне не писать, впустую оря,
мораль вывожу тоже:
то, что годится для иностранного словаря,
газете — не гоже.

[1923]

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить — 1 000 000.
Состояние!
Раньше б дом купил —
и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт
писать один отчет.
«Что это такое?» —
спрашивает с тоскою
машинистка.
Ну, что отвечу ей?!

Черт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.
Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура.
Так привыкли к этаким числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревем,
рамки арифметики, разумеется, у́зки —
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае — масштаб общерусский.
«Электрификация?!» — масштаб всероссийский.
«Чистка!» — во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь.
Балансируя
— четырехлетний навык! —
тащусь меж канавищ,

канав,
канавок.
И то
— на лету вспоминая маму —
с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на́ бок.
Что бабе масштаб грандиозный наш?!
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня
и власти крыла.
Правдив и свободен мой вещий язык
и с волей советскою дружен,
но, натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен.
Я
на сложных агитвопросах рос,
а вот
не могу объяснить бабе,
почему это
о грязи
на Мясницкой
вопрос
никто не решает в общемясницком масштабе?!

[1921]

ПРИКАЗ № 2 ПО АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —
упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,

потрясающие театрами именуемые притоны
ариями Ромеов и Джульетт.

Это вам —
пентры,
раздобревшие как кони,
жрущая и ржущая России краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.
Это вам —
прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.
Это вам —
на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти — лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.
Это вам —
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.
Вам говорю
я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!
Бросьте!

Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что — «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...»?
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»
Пока канителим, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» —
несется вопль по вещам.

Нет дураков,
ждя, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.

Товарищи,
дайте новое искусство —
такое,
чтоб выволочь республику из грязи.

[1921]

ВСЕМ ТИТАМ И ВЛАСАМ РСФСР

По хлебным пусть местам летит,
пусть льется песня басом.
Два брата жили. Старший Тит
жил с младшим братом Власом.

Был у крестьян у этих дом
превыше всех домишек.
За домом был амбар, и в нем
всегда был хлеба лишек.

Был младший, Влас, умен и тих.
А Тит был глуп, как камень.
Изба раз расползлась у них,
пол гнется под ногами.

«Смерть без гвоздей, — промолвил Тит, —
хоша мильон заплотишь,
не то, что хату сколотить,
и гроб не заколотишь».

Тит горько плачет без гвоздей,
а Влас обдумал случай
и рек: «Чем зря искать везде,
езжай, брат, в город лучше».

Телега молнией летит.
Тит снарядился скоро.
Гвоздей достать поехал Тит
в большой соседний город.

Приехал в этот город Тит
и с грустью смотрит сильной:
труба чего-то не коптит
над фабрикой гвоздильной.

Вбегает за гвоздями Тит,
но в мастерской холодной

рабочий зря без дел сидит.
«Я, — говорит, — голодный.

Дай, Тит, рабочим хлеб взаймы,
мы здесь сидим не жравши,
а долг вернем гвоздями мы
крестьянам, хлеба давшим».

Взъярился Тит: «Не дам, не дам
я хлеба дармоеду.
Не дам я хлеба городам,
и без гвоздя доеду».

В село обратно Тит летит, —
от бега от такого
свалился конь. И видит Тит:
оторвалась подкова.

Пустяк ее приколотить,
да нету ни гвоздишка.
И стал в лесу в ночевку Тит,
и Тит, и лошадишка.

Нет ни коня, ни Тита нет...
Селом ходили толки,
что этих двух во цвете лет
в лесу сожрали волки.

Телега снова собралась.
Не вспомнив Тита даже,
в соседний город гонит Влас, —
нельзя им без гвоздя же.

Вбежал в гвоздильню умный Влас,
рабочий дышит еле.
«Коль хлеб не получу от вас,
умру в конце недели».

Влас молвил, Тита поумней:
«Ну что ж, бери, родимый,
наделаешь гвоздей и мне
ужо заплатишь ими».

Рабочий сыт, во весь свой пыл
в трубу дымище гонит.
Плуги, и гвозди, и серпы
деревне мчит в вагоне.

Ясней сей песни нет, ей-ей,
кривые бросим толки.
Везите, братцы, хлеб скорей,
чтоб вас не съели волки.

[1920]

* * *

Беспечность хуже всякого белогвардейца.
Для таких коммуна никогда не зардеется.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Я
два месяца
шатался по природе,
чтоб смотреть цветы
и звезд огнишки.
Таковых не видел.
Вся природа вроде
телефонной книжки.
Везде —
у скал,
на массивном грузе
Кавказа
и Крыма скалоликого,
на стенах уборных,
на небе,
на пузе

лошади Петра Великого,
от пыли дорожной
до гор,
где гро́зы
гремят,
грома потрясав, —
везде
отрывки стихов и прозы,
фамилии
и адреса.
«Здесь были Соня и Ваня Хайлов.
Семейство ело и отдыхало».
«Коля и Зина
соединили души».
Стрела
и сердце
в виде груши.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Комсомолец Петр Парулайтис».
«Мусью Гога,
парикмахер из Таганрога».
На кипарисе,
стоящем века,
весь алфавит:
а б в г д е ж з к.
А у этого
от лазанья
талант иссяк.
Превыше орлиных зон
просто и мило:
«Исак
Лебензон».
Особенно
людей
винить не будем.
Таким нельзя
без фамилий и дат!
Всю жизнь канцелярствовали,

привыкли люди.
Они
и на скалу
глядят, как на мандат.
Такому,
глядящему
за чаем
с балконца,
как солнце
садится в чаще,
ни восход,
ни закат,
а даже солнце —
входящее
и исходящее.
Эх!
Поставь меня
часок
на место Рыкова,
я б
к весне
декрет железный выковал:
«По фамилиям
на стволах и ска́лах
узнать
подписавшихся малых.
Каждому
в лапки
дать по тряпке.
За спину ведра —
и марш бодро!
Подписавшимся
и Колям,
и Зинам
собственные имена
стирать бензином.
А чтоб энергия
не пропадала даром,
кстати, и Ай-Петри
почистить скипидаром.

А кто
до того
к подписям привык,
что снова
к скале полез, —
у этого
навсегда
закрывается лик-
без».

Под декретом подпись
и росчерк броский —
Владимир Маяковский.

Ялта, Симферополь, Гурзуф, Алупка.
[1926]

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык
и одежи!
Насилу,
пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.
И, глуша прощаньем свистка,
рванулся
курьерский
с Курского!
Заводы.
Березы от леса до хат
бегут,
листками ворочая,
и чист,
как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.

Из-за горизонтов,
лесами сломанных,
толпа надвигается
мазанок.
Цветисты бочка́
из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.
Стихов навезите целый мешок,
с таланта
можете лопаться —
в ответ
снисходительно цедят смешок
уста
украинца-хлопца.
Пространства бегут,
с хвоста нарастав,
их жарит
солнце-кухарка.
И поезд
уже
бежит на Ростов,
далёко за дымный Харьков.
Поля —
на мильоны хлебных тонн —
как будто
их гладят рубанки,
а в хлебной охре
серебряный Дон
блестит
позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрипоты,
и вот
началось кавказское —
то го́ловы сахара высят хребты,
то в солнце —
пожарной каскою.
Лечу
ущельями, свист приглушив.
Снегов и папах седи́ны.

Сжимая кинжалы, стоят ингуши,
следят
из седла
осетины.
Верх
гор —
лед,
низ
жар
пьет,
и со́лнце льет йод.
Тифлисцев
узнаешь и метров за́ сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботинках носастых,
этакими парижа́ками.
По-своему
всякий
зубрит азы,
аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего —
свой язык
и собственная нация.
Однажды,
забросив в гостиницу хлам,
забыл,
где я ночую.
Я
адрес
по-русски
спросил у хохла,
хохол отвечал:
— Нэ чую.
Когда ж переходят
к научной теме,
им
рамки русского
узки;

с Тифлисской
Казанская академия
переписывается по-французски.
И я
Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).
Ну, мало ли что —
Бодлер,
Маларме
и эдакое прочее!
Но нам ли,
шагавшим в огне и воде
годами
борьбой прожженными,
растить
на смену себе
бульвардье
французистыми пижонами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злобы мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
и негром преклонных годов,

и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью ли́лся,
я знаю, —
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
разных истока
во мне
речевых.
Я
не из кацапов-разинь.
Я —
дедом казак,
другим —
сечевик,
а по рожденью
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это —

покрыть
всесоюзных совмещан.
И ваших,
и русопетов.

[1927]

ГОВОРЯТ...

Барбюс обиделся — чего, мол, ради критики затеяли спор пустой? Я, говорит, не французский Панаит Истрати, а испанский Лев Толстой.

Говорят, что критики названия растратили — больше сравнивать не с кем! И балканский Горький — Панаит Истрати будет назван ирландским Достоевским.

Говорят — из-за границы домой попав, после долгих во́льтов, Маяковский дома поймал «Клопа» и отнес в театр Мейерхольда.

Говорят — за изящную фигуру и лицо, предчувствуя надобность близкую, артиста Ильинского профессор Кольцов переделал в артистку Ильинскую.

[1929]

Маяковский улыбается

Напзи

Нежно говорил ей —
мы у реки
шли камышами:
«Слышите: шуршат камыши у Оки.
Будто наполнена Ока мышами.
А в небе, лучик сережкой вдев в ушко,
звезда, как вы, хорошая, — не звезда,
а девушка.
А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...
Вы прекрасно картавите.
Только жалко Италию...»
Она: «Ах, зачем вы давите
и локоть и талию.
Вы мне мешаете
у камыша идти...»

[1915]

ЛУННАЯ НОЧЬ

Пейзаж
Будет луна.
Есть уже
немножко.
А вот и полная повисла в воздухе.

Это бог, должно быть,
Дивной
серебряной ложкой
роется в звезд ухе.

[1916]

ВЕСНА

Город зимнее снял.
Снега распустили слюнки.
Опять пришла весна,
глупа и болтлива, как юнкер.

[1918]

ТУЧКИНЫ ШТУЧКИ

Плыли по небу тучки.
Тучек — четыре штучки:

от первой до третьей — люди,
четвертая была верблюдик.

К ним, любопытством объятая,
по дороге пристала пятая,

от нее в небосинем лоне
разбежались за слоником слоник.

И, не знаю, спугнула шестая ли,
тучки взяли все — и растаяли.

И следом за ними, гонясь и сжирав,
солнце погналось — желтый жираф.

[1917 — 1918]

ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
темно,
никто не увидит нас.

Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры».

[1920]

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

Молнию метнула глазами:
«Я видела —
с тобой другая.
Ты самый низкий,
ты подлый самый...» —
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, милая,
громыханья оставьте ваши.
Если молния меня не убила —
то гром мне
ей-богу не страшен.

[1920]

* * *

Портсигар в траву
ушел на треть.
И как крышка
блестит
наклонились смотреть
муравьишки всяческие и травишка.

Обалдело дивились
выкрутас монограмме,
дивились сиявшему серебром
полированным,
не стоившие со своими морями и горами
перед делом человечьим
ничего ровно.
Было в диковинку,
слепило зрение им,
ничего не видевшим этого рода.
А портсигар блестел
в окружающее с презрением:
— Эх, ты, мол,
природа!

[1920]

ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Страшное у меня горе.
Вероятно —
лишусь сна.
Вы понимаете,
вскоре
в РСФСР
придет весна.
Сегодня
и завтра
и веков испокон
шатается комната —
солнца пропойца.
Невозможно работать.
Определенно обеспокоен.

А ведь откровенно говоря —
совершенно не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезно —
так-то оно так.

Солнце посветит —
и пройдет мимо.
А вот попробуй —
от окна оттяни кота.
А если и животное интересуется улицей,
то мне
это —
просто необходимо.
На улицу вышел
и встал в лени я,
не в силах...
не сдвинуть с места тело.
Нет совершенно
ни малейшего представления,
что ж теперь, собственно говоря, делать?!
И за шиворот
и по носу
каплет безбожно.
Слушаешь.
Не смахиваешь.
Будто стих.
Юридически —
куда хочешь идти можно,
но фактически —
сдвинуться
никакой возможности.
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогон — большое зло».
А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов.
Например:
город советские служащие искра́пили,

приветствуй весну,
ответь салютно!
Разучились —
нечем ответить на капли.
Ну, не могут сказать —
ни слова.
Абсолютно!
Стали вот так вот —
смотрят рассеянно.
Наблюдают —
скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо принять какие-то меры.
Ну, не знаю что, —
например:
выбрать день
самый синий,
и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.
Если это дорого —
можно выбрать дешевле,
проще.
Например:
чтоб старики,
безработные,
неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской
площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!

Ведь все другие вопросы
более или менее ясны.
И относительно хлеба ясно,
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.

[1923]

ИСПАНИЯ

Ты — я думал —
райский сад.
Ложь
подпивших бардов.
Нет —
живьем я вижу
склад
«ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО».
Из прилипших к скалам сёл
опустясь с опаской,
чистокровнейший осёл
шпарит по-испански.
Всё плебейство выбив вон,
в шляпы влезла по нос.
Стал
простецкий
«телефон»
гордым
«телефонос».
Чернь волос
в цветах горит.
Щеки в шаль орамив,

сотня с лишним
сеньорит
машет веерами.
От медуз
воде синё.
Глуби —
вёрсты мера.
Из товарищей
«сеньор»
стал
и «кабальеро».
Кастаньеты гонят сонь.
Визги...
пенье...
страсти!
А на что мне это все?
Как собаке — здрасите!

[1925]

* * *

«Ко мне часто обращаются, особенно девушки: «Ах, какой вы счастливый, вы были в Испании, какая очаровательная страна! Там тореадоры, быки, испанки и вообще много страсти». Я тоже был готов к тому, чтобы увидеть что-нибудь в этом роде. Но ничего подобного. Пароход подплыл к испанскому берегу, и первое, что мне бросилось в глаза, это довольно прозаическая вывеска грязного склада «Леопольдо Пардо». Правда, веера у испанок есть, — жарко, вполне понятно. А так ровно ничего примечательного, если не считать, что по-русски — телефон, а по-испански — телефонос...»

(П. Лавут. «Маяковский едет по Союзу». «Знамя», М. 1940, № 4—5).

СЕВАСТОПОЛЬ — ЯЛТА

В авто
насажали
разных армян,
рванулись —
и мы в пути.
Дорога до Ялты
будто роман:
все время
надо крутить.
Сначала
авто
подступает к горам,
охаживая кряжевые.
Вот так и у нас
влюбленья пора:
наметишь —
и мчишь, ухаживая.
Авто
начинает
по солнцу трясть,
то жаренней ты,
то варённей:
так сердце
тебе
распаляет страсть,
и грудь —
раскаленной жаровней.
Привал
шашлык,
не вяжешь лык,
с кружением
нету сладу.
У этих
у самых
гроздьев шашлы —
совсем поцелуйная сладость.
То солнечный жар,
то ущелий тоска, —

не верь
ни единой версийке.
Который москит
и который мускат,
и кто персюки
и персики?
И вдруг вопьешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.
Так разом
встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.
И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.
Вот куча камня,
и церковь над ней —
ужасом
всех супружеств.
И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.
Так ревность
тебя
обступает скалой —
за камнем
любовник бандит.
А дальше —
тишь;
крестьяне, корпя,
лозой
разделали скаты

Так,
свой виноградник
по́том кропя,
и я
рисую плакаты.
Пото́м,
пропылясь,
проплывают года,
труся́т
суетнёю мышиной,
и лишь
развлекает
семейный скандал
случайно
лопнувшей шиной.
Когда ж
окончательно
это доест,
распух
от моторного гвалта —
— Стоп! —
И склепом
отдельный подъезд:
— Пожалте
червонец!
Ялта.

[1924]

ХРИСТОФОР КОЛУМБ

Христофор Колумб был Христофор Коломб — испанский еврей.

Из журналов

1

Вижу, как сейчас,
объедки да бутылки...
В портишке,
известном
лишь кабачком,

Колумб Христофор
и другие забулдыги
сидят,
нахлобучив
шляпы бочком.
Христофора злят,
пристают к Христофору:
«Что вы за нация?
Один Сион!
Любой португалишка
даст тебе фору!»
Вконец извели Христофора —
и он
покрыл
дисканточком
щелканье пробок
(задели
в еврее
больную струну):
«Что вы лезете:
Европа да Европа!
Возьму
и открою другую
Страну».
Дивятся приятели:
«Что с Колумбом?
Вина не пьет,
не ходит гулять.
Надо смотреть —
не вывихнул ум бы.
Всю ночь сидит,
раздвигает циркуля».

2

Мертвая хватка в молодом еврее;
думает,
не ест,
не досыпает ночей.

Лакеев
оттягивает
за фалды ливреи,
лезет
аж в спальни
королей и богачей.
«Кораллами торгуете?!
Дешевле редиски.
Сам
наловит
каждый мальчуган.
То ли дело
материк индийский:
не барахло —
бирюза,
жемчуга!
Дело верное:
вот вам карта.
Это океан,
а это —
мы.
Пунктиром путь —
и бриллиантов караты
на каждый полтинник,
данный взаймы».
Тесно торгашам.
Томятся непоседы.
По́суху
и в год
не обернется караван.
И закапали
флорины и пезеты
Христофору
в продырявленный карман.

3

Идут,
посвистывая,
отчаянные из отчаянных.

Сзади тюрьма.
Впереди —
ни рубля.
Арабы,
французы,
испанцы
и датчане
лезли
по трапам
Колумбова корабля.
«Кто здесь Колумб?
До Индии?
В ночку!
(Чего не откроешь,
если в пузе орга́н!)
Выкатывай на палубу
белого бочку,
а там
вези
хоть к черту на рога!»
Прощанье — что надо.
Не отъезд — а помпа:
день
не просыхали
капли на усах.
Время
меряли,
вперяясь в компас.
Спьяна
путали штаны и паруса.
Чуть не сшибли
маяк зажженный.
Палубные
не держатся на полу,
и вот,
быть может, отсюда,
с Жижона,
на всех парусах
рванулся Колумб.

4

Единая мысль мне сегодня люба,
что эти вот волны
Колумба лапили,
что в эту же воду
с Колумбова лба
стекали
пота
усталые капли.
Что это небо
землей обмеля,
на это вот облако,
вставшее с юга, —
— «На мачты, братва!
глядите —
земля!» —
орал
рассудок теряющий юнга.
И вновь
океан
с простора раскосого
вбивал
в небеса
громыхающий клин,
а после
братался
с волной сарагоссовой,
и вместе
пучки травы волокли.
Он
этой же бури слушал лады.
Когда ж
затихает бури задор,
мерещатся
в водах
Колумба следы,
ведущие
на Сан-Сальвадор.

5

Вырастают дни
в бородатые месяцы.
Луны
мрут
у мачты на колу.
Надоело океану,
Атлантический бесится.
Взбешен Христофор,
извелся Колумб.
С тысячной волны трехпарусник
съехал.
На тысячу первую взбираться
надо.
Видели Атлантический?
Тут не до смеха!
Команда ярится —
устала команда.
Шепчутся:
«Черту ввязались в попутчики.
Дома плохо?
И стол и кровать.
Знаем мы
эти
жидовские штучки —
разные
Америки
закрывать и открывать!»
За капитаном ходят по пятам.
«Вернись! — говорят,
играют мушкой. —
Какой ты ни есть
капитан-раскапитан,
а мы тебе тоже
не фунт с осьмушкой».
Лазит Колумб
на брáмсель с фóка,
глаза аж навыкате,
исхудал лицом;

пустился вовсю:
придумал фокус
со знаменитым
Колумбовым яйцом.
Что́ яйцо? —
игрушка на день.
И день
не оттянешь
у жизни-воровки.
Галдит команда,
на Колумба глядя:
«Крепка
петля
из генуэзской веревки.
Кончай,
Христофор,
собачий век!..»
И кортики
воздух
во тьме секут.
— «Земля!» —
Горизонт в туманной
кайме.
Как я вот
в растущую Мексику
и в розовый
этот
песок на заре,
вглазелись.
Не смеют надеяться:
с кольцом экватора
в медной ноздре
вставал
материк индейцев.

6

Года прошли.
В старика
шипуна

смельчал Атлантический,
гордый смолоду.
С бортов «Мажестиков»
любая шпана
плюет
в твою
седоусую морду.
Колумб!
твое пропало наследство!
В вонючих трюмах
твои потомки
с машинным адом
в горящем соседстве
лежат,
под щеку
подложивши котомки.
А сверху,
в цветах первоклассных розеток,
катаясь пузом
от танцев
до пьянки,
в уюте читален,
кино
и клозетов
катаются донны,
сеньоры
и янки.
Ты балда, Колумб, —
скажу по чести.
Что касается меня,
то я бы
лично —
я б Америку закрыл,
слегка почистил,
а потом
опять открыл —
вторично.

[1925]

От составителя

Впервые это стихотворение появилось в вечернем выпуске «Красной газеты», Л. 1925, № 270, 6 ноября (под заглавием «Открытие Америки»).

«Приходится писать стихи о Христофоре Колумбе что очень трудно так как за неимением одесситов трудно узнать как уменьшительное от Христофор. А рифмовать Колумба (и без того трудного) наудачу на тропиках дело героическое».

(Из письма Маяковского Л. Брик 3 июля 1925 г.)

С этим «героическим делом» Маяковский справился, но результат этих его героических усилий практически был сведен на нет весьма досадным недоразумением. Во всех последующих изданиях (прижизненных и посмертных) начертание имени великого мореплавателя изменено на «Коломб» (вместо «Колумб»), из-за чего с таким трудом найденные Маяковским рифмы практически пропадают.

* * *

«Начертание «Коломб» впервые появилось в отдельном издании стихотворения, вышедшем в первой половине октября в Нью-Йорке. Занятый многочисленными публичными выступлениями в различных городах США, Маяковский поручил напечатание двух маленьких книжек Д. Бурлюку... Не подлежит сомнению, что именно Д. Бурлюк снабдил американское издание эпиграфом, отсутствующим в авторской машинописи и в тексте «Красной газеты»... Под воздействием этого эпиграфа в тексте американского издания и возникло начертание «Коломб». Текст этого издания в 1925 г. был перепечатан в газете советского полпредства «Парижский вестник», а в 1926 г. попал в сборник Маяковского «Испания. Гавана. Мексика. Америка». Отсюда, по тем же случайным причинам (сборник находился в распоряже-

нии составителя), он перекочевал в прижизненные собрания сочинений. Таким образом первоначальный и, кроме того, дефектный текст, «авторизованный» включением в десятитомник, вытеснил окончательную авторскую редакцию.

(Н. Харджиев. Коломб или Колумб?
В кн. *Н.И. Харджиев.* Статьи об авангарде, т. 2).

От составителя

Эпиграф придумал, конечно, не Бурлюк, а сам Маяковский: ведь на шутливом допущении, что «Христофор Колумб был Христофор Коломб — испанский еврей», держится весь сюжет стихотворения. Но что касается начертания имени Колумба внутри стихотворения, тут Н. Харджиев безусловно прав, что он, помимо всего прочего, подтверждает и личными воспоминаниями: «23 июня 1926 г. я слушал Маяковского в Летнем саду в Одессе. Читая «Открытие Америки», поэт не нарушил рифмовки на протяжении всего стихотворения».

Ликвидируя, наконец, это досадное недоразумение, в нашем издании мы воспроизводим текст стихотворения «Христофор Колумб» в окончательной авторской редакции, то есть том виде, в каком он был напечатан в вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты».

ЧУГУННЫЕ ШТАНЫ

Саксонская площадь;
с площади плоской,
парадами пропылённой,
встает
металлический
пан Понятовский —
маршал
Наполеона.

Штанов нет.
Жупан с плеч.
Конь
с медным хвостом.
В правой руке
у пана
меч,
направленный на восток.
Восток — это мы.
Восток — Украина,
деревни
и хаты наши.
И вот
обратить
Украину
в руины
грозятся
меч и маршал.
Нам
драться с вами —
нету причин,
мы —
братья польскому брату.
А будете лезть,
обломаем мечи
почище,
чем Бонапарту.
Не надо нам
вашего
ни волокна.
Пусть шлет вас
народ,
а не клика, —
и, сделайте милость,
пожалуйте к нам,
как член
Всесоюзного ЦИКа.
А если вы
спец
по военной беде,

под боком —
врагов орава,
ваш меч
оберните
на Бельведер,
градусов на девяносто
вправо.
Там маршал
и лошадь
с трубою хвоста
любого поляка
на русского
за то,
что русский
первым восстал,
оттуда
будут
науськивать.
Но в Польше
маршалов
мало теперь.
Трудящихся —
много больше,
и если
ты
за Польшу,
тебе
придется
с нами стоять теперь
вдвоем
против панской Польши.
А памятники
есть и у нас.
Это —
дело везения.
И брюки дадим
из чугуна-с;
заслужишь
и стой...
До видзения!

[1927]

КРАСНОДАР

Северяне вам наврали
о свирепости февральей:
про метели,
про заносы,
про мороз розовоносый.
Солнце жжет Краснодар,
словно щек краснота.
Красота!
Вымыл все февраль
и вымел —
не февраль,
а прачка,
и гуляет
мостовыми
разная собачка.
Подпрыгивают фоксы —
показывают фокусы.
Кроме лапок,
вся, как вакса,
низко пузом стелется,
волочит
вразвалку
такса
длинненькое тельце.
Бегут,
трусят дворняжечки —
мохнатенькие ляжечки.
Лайка
лает,
взвивши нос,
на прохожих Ванечек;
пес такой
уже не пес,
это —
одуванчик.
Легаши,
сетера́,

мопсики, этцетера́.
Даже
если
пара луж,
в лужах
сотня солнц юли́тся.
Это ж
не собачья глушь,
а собачкина столица.

[1926]

СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Погода такая,
что маю впору.
Май —
ерунда.
Настоящее лето.
Радуешься всему:
носильщику,
контролеру
билетов.
Руку
само
подымает перо,
и сердце
вскипает
песенным даром.
В рай
готов
расписать перрон
Краснодара.
Тут бы
запеть
соловью-трелёру.
Настроение —
китайская чайница!
И вдруг
на стене:

— Задавать вопросы
контролеру
строго воспрещается! —
И сразу
сердце за удилá.
Соловьев
камнями с ветки.
А хочется спросить:
— Ну, как дела?
Как здоровьице?
Как детки? —
Прошел я,
глаза
к земле низя́,
только подхихикнул,
ища покровительства.
И хочется задать вопрос,
а нельзя —
еще обидятся:
правительство!

[1926]

ЕВПАТОРИЯ

Чуть вздыхает волна,
и, вторя ей,
ветерок
над Евпаторией.
Ветерки эти самые
рыскают,
гладят
щеку евпаторийскую.
Ляжем
пляжем
в песочке рыться мы
бронзовыми
евпаторийцами.
Скрип уключин,
всплески
и крики —

развлекаются
евпаторийки.
В дым черны,
в тюбетейках ярких
караимы-
евпаторьяки.
И, сравнясь,
загорают рьяней
москвичи —
евпаторьяне.
Всюду розы
на ножках тонких.
Радуются
евпаторёнки.
Все болезни
выжмут
горячие
грязи
евпаторячьи.
Пуд за лето
с любого толстого
соскребет
евпаторство.
Очень жаль мне
тех,
которые
не бывали
в Евпатории.

Евпатория 3/VIII
[1928]

ВЕСНА

В газетах
пишут
какие-то дяди,
что начал
любовно
постукивать дятел.

Скоро
вид Москвы
скопируют с Ниццы,
цветы создадут
по весенним велениям.
Пишут,
что уже
синицы
оглядывают гнезда
с любовным вожделением.
Газеты пишут:
дни горячей,
налетели
отряды
передовых грачей.
И замечает
естествоиспытательское око,
что в березах
какая-то
циркуляция соков.
А по-моему —
дело мрачное:
начинается
горячка дачная.
Плюнь,
если рассказывает
какой-нибудь шут,
как дачные вечера
милы,
тихи́.
Опишу
хотя б,
как на даче
выделываю стихи.
Не растрачивая энергию
средь ерундовых трат,
решаю твердо
писать с утра.
Но две девицы,
и тощи
и рябы́.

заставили идти
искать грибы.
Хожу в лесу-с,
на каждой колючке
распинаюсь, как Иисус.
Устав до того,
что не ступишь на́ ноги,
принес сыроежку
и две поганки.
Принесши трофей,
еле отделываюсь
от упомянутых фей.
С бумажкой
лежу на траве я,
и строфы
спускаются,
рифмами вея.
Только
над рифмами стал сопеть,
и —
меня переезжает
кто-то
на велосипеде.
С балкона,
куда уселся, мыча,
сбежал
вовнутрь
от футбольного мяча.
Полторы строки намарал —
и пошел
ловить комара.
Опрокинув чернильницу,
задув свечу,
подымаюсь,
прыгаю,
чуть не лечу.
Поймал,
и при свете
мерцающих планет
рассматриваю —
хвост малярийный
или нет?

Уселся,
но слово
замерло в горле.
На кухне крик:
— Самовар сперли! —
Адамом,
во всей первородной красе,
бегу
за жуликами
по васильковам и росе.
Отступаю
от пары
бродячих дворняжек,
заинтересованных
видом
юных ляжек.
Сел
в меланхолии.
В голову
ни строчки
не лезет более.
Два.
Ложусь в идиллии.
К трем часам —
уснул едва,
а четверть четвертого
уже разбудили.
На луже,
зажатой
берегам в бока,
орет
целуемая
лодочникова дочка...
«Славное море —
священный Байкал,
Славный корабль —
омулевая бочка».

[1927]

УЖАСАЮЩАЯ ФАМИЛЬЯРНОСТЬ

Куда бы
ты
ни направил разбег,
и как ни ёрзай,
и где ногой ни ступи, —
есть Марксов проспект,
и улица Розы,
и Луначарского —
переулок или тупик.
Где я?
В Ялте или в Туле?
Я в Москве
или в Казани?
Разберешься?
— Черта в стуле!
Не езда, а — наказанье.
Каждый дюйм
бытия земного
профамилиен
и разыменован.
В голове
от имен
такая каша!
Как общий котел пехотного полка.
Даже пса дворняжку
вместо
«Полкаша»
зовут:
«Собака имени Полкан».
«Крем Коллонтай.
Молодит и холит».
«Гребенки Мейерхольд».
«Мочала
а-ля Качалов».
«Гигиенические подтяжки
имени Семашки».
После этого
гуди во все моторы,

наизобретай идей мешок,
все равно —
про Мейерхольда будут спрашивать:
— «Который?
Это тот, который гребешок?»
Я
к великим
не суюсь в почетнейшие лики.
Я солдат
в шеренге миллиардной.
Но и я
взываю к вам
от всех великих:
— Милые,
не обращайтесь с ними фамильярно!

[1926]

100%

Шеры...
облигации...
доллары...
центы...
В винницкой глуши тьмутараканясь,
так я рисовал,
вот так мне представлялся
стопроцентный
американец.
Родила сына одна из жен.
Отвернув
пеленочный край,
акушер демонстрирует:
Джон как Джон.
Ол райт!
Девять фунтов,
глаза —
пятачки.
Ощерив зубовный ряд,

отец
протер
роговые очки:
Ол райт!
Очень прост
воспитанья вопрос.
Ползает,
лапы марает.
Лоб расквасил —
ол райт!
нос —
ол райт!
Отец говорит:
«Бездельник Джон.
Ни цента не заработал,
а гуляет!»
Мальчишка
Джон
выходит вон.
Ол райт!
Техас,
Калифорния,
Массачузэ́т.
Ходит
из края в край.
Есть хлеб —
ол райт!
нет —
ол райт!
Подрос,
поплевывает слюну,
Трубчонка
горит, не сгорает.
«Джон,
на пари,
пойдешь на луну?»
Ол райт!
Одну полюбил,
назвал дорогой.
В азарте
играет в рай.

Она изменила,
ушел к другой.
Ол райт!
Наследство Джону.
Расходов —
рой.
Миллион
растаял от трат.
Подсчитал,
улыбнулся —
найдем второй.
Ол райт!
Работа.
Хозяин —
лапчатый гусь —
обкрадывает
и обирает.
Джон
намотал
на бритый ус.
Ол райт!
Хозяин выгнал.
Ну, что ж!
Джон
рассчитаться рад.
Хозяин за кольт,
а Джон за нож.
Ол райт!
Джон
хозяйской пулей сражен.
Шепчутся:
«Умирает».
Джон услыхал,
усмехнулся Джон.
Ол райт!
Гроб.
Квадрат прокопали черный.
Земля —
как по крыше град.

Врыли.
Могильщик
вздохнул облегченно.
Ол райт!
Этих Джонов
нету в Нью-Йорке.
Мистер Джон,
жена его
и кот
зажирели,
спят
в своей квартирной норке,
просыпаясь
изредка
от собственных икот.
Я разбезалаберный до крайности,
но судьбе
не любящий
учтиво кланяться,
я,
поэт,
и то американистей
самого что ни на есть
американца.

[1925]

АМЕРИКАНСКИЕ РУССКИЕ

Петров
Капла́ном
за пуговицу пойман.
Штаны
заплатаны,
как балканская карта.
«Я вам,
сэр,
назначаю апо́йнтман.
Вы знаете,
кажется,
мой апа́ртман?

Тудой пройдете четыре блока,
потом
сюдой дадите крен.
А если
стритка́рта набита,
около
можете взять
подземный трен.
Возьмите
с меняньем пересядки тикет
и прите спокойно,
будто в телеге.
Слезете на ко́рнере
у дрогс ликет,
а мне уж
и пинту
принес бутлегер.
Приходите ровно
в се́вен оклóк, —
поговорим
про новости в городе
и проведем
по-московски вечерок, —
одни свои:
жена да бóрдер.
А с джабом завозитесь в течение дня
или
раздумаете вовсе —
тогда
обязательно
отзвоните меня.
Я буду
в о́фисе».
«Гуд бай!» —
разнеслось окре́ст
и кануло
ветру в свист.

Мистер Петров
пошел на Вест,
а мистер Каплан —
на Ист.
Здесь, извольте видеть, «джаб»,
а дома
«цуп» да «цус».
С насыпи
язык
летит на полном пуске.
Скоро
только очень образованный
француз
будет
кое-что
соображать по-русски.
Горланит
по этой Америке самой
стоязыкий
народ-оголтец.
Уж если
Одесса — Одесса-мама,
то Нью-Йорк —
Одесса-отец.

[1925]

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигантская
лошадь-ублюдок».
Верблюд же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?!

Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый».
И знал лишь
бог седобородый,
что это —
животные
разной породы.

[1928]

СХЕМА СМЕХА

Выл ветер и не знал о ком,
вселяя в сердце дрожь нам.
Путем шла баба с молоком,
шла железнодорожным.

А ровно в семь, по форме,
несясь во весь карьер с Оки,
сверкнув за семафорами, —
взлетает курьерский.

Была бы баба ранена,
зря выло сто свистков ревмя, —
но шел мужик с бараниной
и дал понять ей вовремя.

Ушла направо баба,
ушел налево поезд.
Каб не мужик, тогда бы
разрезало по пояс.

Уже исчез за звезды дым,
мужик и баба скрылись.
Мы дань герою воздадим,
над буднями воскрылясь.

Хоть из народной гущи,
а спас средь бела дня.
Да здравствует торгующий
бараниной середняк!

Да светит солнце в темноте!
Горите, звезды, ночью!
Да здравствуют и те, и те —
и все иные прочие!

[1923]

КАК Я ЕЕ РАССМЕШИЛ

Должно быть, иностранцы меня уважают, но возможно и считают идиотом, — о русских я пока не говорю. Войдите хотя бы в американское положение: пригласили поэта, — сказано им — гений. Гений — это еще больше, чем знаменитый. Прихожу и сразу:

— Гив ми плиз сэм ти![1]

Ладно. Дают. Подожду — и опять:

— Гив ми плиз...

Опять дают.

А я еще и еще, разными голосами и на разные выражения:

— Гив ми да сэм ти, сэм ти да гив ми, — высказываюсь. Так вечерок и проходит.

Бодрые почтительные старички слушают, уважают и думают: «Вон оно русский, слова лишнего не скажет. Мыслитель. Толстой. Север».

Американец думает для работы. Американцу и в голову не придет думать после шести часов.

---

[1] Дайте мне, пожалуйста, стакан чаю.

Не придет ему в голову, что я — ни слова по-английски, что у меня язык подпрыгивает и завинчивается штопором от желания поговорить, что, подняв язык палкой серсó, я старательно нанизываю бесполезные в разобранном виде разные там О и Ве. Американцу в голову не придет, что я судорожно рожаю дикие, сверханглийские фразы:

— Ес уайт плиз файф добль арм стронг...

И кажется мне, что очарованные произношением, завлеченные остроумием, покоренные глубиною мысли, обомлевают девушки с метровыми ногами, а мужчины худеют на глазах у всех и становятся пессимистами от полной невозможности меня пересоперничать.

Но леди отодвигаются, прослышав сотый раз приятным баском высказанную мольбу о чае, и джентльмены расходятся по углам, благоговейно поостривая на мой безмолвный счет.

— Переведи им, — ору я Бурлюку, — что если бы знали они русский, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек, я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию...

И добросовестный Бурлюк переводит:

— Мой великий друг Владимир Владимирович просит еще стаканчик чаю.

Ладно.

Дома отговорюсь.

Я поговорю!

Я поговорю так, что обхохочется не знавший улыбки редактор «Крокодила», я поговорю так, что суровые судебные исполнители, описывающие мебель за неуплату налога, мебель вдовы, голодной старушки, — эти суровейшие чиновники, рискуя по-

терять службу, будут прыскать со смеху, вспоминая мои слова.

И вот я дома.

Вы поймете меня.

С разинутым ртом, с уже свисающим с губы словом бросаюсь всюду, где есть хоть маленькая надежда поговорить.

С риском возбудить фантастические подозрения, ввязываюсь в меланхолические разговоры выворачивающих сундучки пограничников; встреваю в семейный спор красноармейца и его бабы и, моментально заставив их замолчать, обращаю семейство в бегство; весь в ораторском напряжении, я стою поперек вагонного коридорчика, готовясь на первого вышедшего обрушиться всеми залежавшимися вопросами и ответами.

Оратору поезд, идущий из-за границы, плохая пожива. Направо в купе японцы, и язык у них японский; налево — француз безмолвный, все шире и шире открывающий испуганные глаза с каждым новым километром российского снега.

Лишь одно купе показалось мне подозрительным по возможной русскости, и я повел организованную осаду.

Час тому назад прошмыгнул человек в кашне, весело проорав, ни к кому не обращаясь:

— Они дают 15 градусов мороза, не вижу десяти!

Кто ему дает? Почему 15? Отчего он не видит? Ничего не понятно.

Проорал, захлопнул дверь и набросил цепочку.

Еще через час задверный храп убедил меня ослабить осаду. Я поспал на скорую щеку и в 7 утра уже стоял на посту.

В одиннадцать распахнулась дверь, и появилась женщина, запахнутая в три пары всего заграничного.

Она держала в руках огромную зубную щетку, хотя золото, кажется, лучше чистить замшей.

Женщина деловито обратилась ко мне:

— Кто есть в уборной?

На это я не приготовил ответа и как-то замялся плечами.

— Не заметили? — сказала женщина с таким презрением, что я до Москвы уселся на свое место. Отучился говорить. Крыть нечем. Я ехал из Нью-Йорка, как-то не заметил Москвы и почти что прямо подъезжал к Краснодару. Все-таки я буду говорить.

Я буду говорить с казаками и казачками. Краснодар — это столица Адыгеи, не коридор, не бездарный коридор интернационального, видите ли, общества спальных вагонов.

Уже скопились за день слова и фразы, уже я обернул их так, что должны, не могут не смеяться любые носители русских безграничных слов.

На первом встречном, — говорил я себе, взволакивая чемодан на второй этаж Первой советской гостиницы, — на первом встречном — испробую я веселящую силу слова.

В 8 часов утра в гостиницах еще пусто, но я пережал весь тариф звонков, обозначенный в белой, прислюненной к стенке бумажке.

Пришла молодая, красивая, большая женщина.

— Дайте чаю, — сказал я, справедливо рассчитывая вовлечь ее в разговор, используя посудную волокиту.

Надо расположить ее к себе. Помогая поднять самовар, я уже весело спрашивал:

— Вы по-русски разговариваете? или по-адыгейски?

— Чего? — переспросила она.

— А то вот я из Украины, там столб: направо писано «Бахмач» для русских, и налево такой же самый «Бахмач» — только для украинцев.

— Чтоб не запутались, — согласилась она сочувственно.

— А в вашем городе есть и улица Энгельса и переулок Луначарского?

— Это которые? — спросила она.

Видя несоответствие реплик, я перешел на бытовые темы.

— Шашлыку мне вчера в духане не дали, говорят, неурожай барашков.

— Барашки, правда, не уродились, — согласилась она, уже покончив с посудой, повидимому, недоумевая и силясь понять, куда я клоню разговор.

— В вагоне, — продолжал я, повышая голос и теряя самообладание, — ко мне человечка посадили, маленький, а копун, утром полчаса одевается. Я ему говорю: чего возитесь? Это мне трудно одеваться, а вам что — брючки у вас крохотные!

Женщина вспыхнула, насупилась и сказала грубо:

— Оставьте насчет штанов и их снимания, я член профсоюза, — сказала и вышла, хлопнув дверью.

Озлобленный и униженный, я расстелил мой каучуковый таз-ванну, тяжелыми шагами пошел в уборную и, не доходя до прислужьей комнаты, крикнул в пространство:

— Ведро холодной воды в 16-й номер!

Возвращаясь из уборной, я вдруг встал. Встал, как вкопанный. Неслся смех. Этот смех неслся из моего номера. Я поднялся на цыпочки и пошел, как лунатик, к цели, к щели. Я хочу видеть того, я хочу пожать руку тому, кто сумел рассмешить эту памятниковую женщину.

Завистливый, уткнулся я в дверную расселину. Женщина стояла над моим каучуковым тазом, женщина уперлась в таз слезящимися от смеха глазами и хохотала. Хохотала так, что по ванной воде ходили волны, и не свойственные стоячим водам приливы и отливы роднили таз и море.

В этот день я понял многое: и трудность писательского ремесла, и относительность юмора.

[1926]

Я СЧАСТЛИВ!

Граждане,
у меня
огромная радость.
Разулыбьте
сочувственные лица.
Мне
обязательно
поделиться надо,
стихами
хотя бы
поделиться.
Я
сегодня
дышу как слон,
походка
моя
легка,
и ночь
пронеслась,
как чудесный сон,
без единого
кашля и плевка.
Неизмеримо
выросли
удовольствий дозы.

Дни осени —
баней воняют,
а мне
цветут,
извините, — розы,
и я их,
представьте,
обоняю.
И мысли
и рифмы
покрасивели
и особенные,
аж вытаращит
глаза
редактор.
Стал вынослив
и работоспособен,
как лошадь
или даже —
трактор.
Бюджет
и желудок
абсолютно превосходен,
укреплен
и приведен в равновесие.
Стопроцентная
экономия
на основном расходе —
и поздоровел
и прибавил в весе я.
Как будто
на язык
за кусом кус
кладут
воздушнейшие торта —
такой
установился
феерический вкус

в благоуханных
апартаментах
рта.
Голова
снаружи
всегда чиста,
а теперь
чиста и изнутри.
В день
придумывает
не меньше листа,
хоть Толстому
ноздрю утри.
Женщины
окружили,
платья испестря,
все
спрашивают
имя и отчество,
я стал
определенный
весельчак и остряк —
ну просто —
душа общества.
Я
порозовел
и пополнел в лице,
забыл
и гриппы
и кровать.
Граждане,
вас
интересует рецепт?
Открыть?
или...
не открывать?

Граждане,
вы
утомились от жданья,
готовы
корить и крыть.
Не волнуйтесь,
сообщаю:
граждане —
я
сегодня —
бросил курить.

[1929]

Маяковский издевается

В.Я. Брюсову на память

«Брюсов выпустил окончание поэмы Пушкина «Египетские ночи». Альманах «Стремнины».

Разбоя след затерян прочно
во тьме египетских ночей.
Проверив рукопись
построчно,
гроши отсыпал казначей.
Бояться вам рожна какого?
Что
против — Пушкину иметь?
Его кулак
навек закован
в спокойную к обиде медь!

[1916]

* * *

Дописанные Брюсовым «Египетские ночи». С годными или негодными средствами покушение, — что его вызвало? Страсть к пределу, к смысловому и графическому тире. Чуждый, всей природой своей, тайне, он не чтит и не чует ее в неоконченности творения. Не довелось Пушкину — доведу (до конца) я.

Жест варвара. Ибо, в иных случаях, довершать не меньшее, если не большее, варварство, чем разрушать.

Марина Цветаева. «Герой труда».
Записи о Валерии Брюсове

* * *

Валерий Брюсов понял Маяковского, но не мог отказаться от того, что делал сам...

Это Сальери изменил все в своей жизни, в своем искусстве, услышав новую музыку.

...Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

Но тот же Сальери убил Моцарта, потому что Моцарту он не мог быть попутчиком. Назвать же Моцарта попутчиком, как называли Маяковского, Сальери не решился.

Брюсов не был Сальери.

Про Маяковского он говорил, защищая себя полупризнанием:

— Боюсь, что из Маяковского ничего не выйдет. Владимир Владимирович очень забавно показывал, как Брюсов спит и просыпается ночью с воплем:

— Боюсь, боюсь.

— Ты чего боишься?

— Боюсь, что из Маяковского ничего не выйдет.

В этой остроте обычный метод Маяковского: перестановка ударения на второстепенное слово, переосмысливание этого слова и разрушение обычного значения.

Получается —правда. Брюсов боится.

Виктор Шкловский.
«О Маяковском»

МАРКСИЗМ — ОРУЖИЕ,
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ МЕТОД.
ПРИМЕНЯЙ УМЕЮЧИ
МЕТОД ЭТОТ!

Штыками
двух столетий стык
закрепляет
рабочая рать.
А некоторые
употребляют штык,
чтоб им
в зубах ковырять.
Все хорошо:
поэт поет,
критик
занимается критикой.
У стихотворца —
корытце свое,
у критика —
свое корытико.
Но есть
не имеющие ничего,
окромя
красивого почерка.
А лезут
в книгу,
Хваля
и громя
из пушки
критического очерка.
А чтоб
имелось
научное лицо
у этого
вздора злопыханного —
всегда
на столе
покрытый пыльцой

неразрезанный том
Плеханова.
Зазубрит фразу
(ишь, ребятье!)
и ходит за ней,
как за няней.
Бытье —
а у этого — еда и питье
определяет сознание.
Перелистывая
авторов
на букву «эл»,
фамилию
Лермонтова
встретя,
критик выясняет,
что́ он ел
на первое
и что́ — на третье.
— Шампанское пил?
Выпивал, допустим.
Налет буржуазный густ.
А его
любовь
к маринованной капусте
доказывает
помещичий вкус.
В Лермонтове, например,
чтоб далеко не идти,
смысла
не больше,
чем огурцов в акации.
Целые
хоры
небесных светил,
ни слова
об электрификации.
Но,
очищая ядро
от фразерских корок,

бобы —
от шелухи лиризма,
признаю,
что Лермонтов
близок и дорог
как первый
обличитель либерализма.
Массам ясно,
как ни хитри,
что, милюковски юля,
светила
у Лермонтова
ходят без ветрил,
а некоторые —
и без руля.
Но так ли
разрабатывать
важнейшую из тем?
Индивидуализмом пичкать?
Демоны в ад,
а духи —
в эдем?
А где, я вас спрашиваю, смычка?
Довольно
этих
божественных легенд!
Любою строчкой вырванной
Лермонтов
доказывает,
что он —
интеллигент,
к тому же
деклассированный!
То ли дело
наш Степа
— забыл,
к сожалению,
фамилию и отчество, —

у него
в стихах
Коминтерна топот...
Вот это —
настоящее творчество!
Степа —
кирпич
какого-то здания,
не ему
разговаривать вкось и вкривь.
Степа
творит,
не затемняя сознания,
без волокиты аллитераций
и рифм.
У Степы
незнание
точек и запятых
заменяет
инстинктивный
массовый разум,
потому что
батрачка —
мамаша их,
а папаша —
рабочий и крестьянин сразу. —
В результате
вещь
ясней помидора
обволакивается
туманом сизым,
и эти
горы
нехитрого вздора
некоторые
называют марксизмом.
Не говорят
о веревке
в журнале повешенного,

не изменить
шаблона прилежного.
Лежнев зарадуется —
«он про Вешнева».
Вешнев
— «он про Лежнева».

19/IV — 26 г.

ЧЕТЫРЕХЭТАЖНАЯ ХАЛТУРА

В центре мира
стоит Гиз —
оправдывает штаты служебный раж.
Чтоб книгу
народ
зубами грыз,
наворачивается
миллионный тираж.
Лицо
тысячеглазого треста
блестит
электричеством ровным.
Вшивают
в Маркса
Аверченковы листы,
выписывают гонорары Цицеронам.
Готово.
А зав
упрется назавтра
в заглавие,
как в забор дышлом.
Воедино
сброшировано
12 авторов!
— Как же это, родимые, вышло?? —
Темь
подвалов
тиражом беля,

залегает знание —
и лишь
бегает
по книжным штабелям
жирная провинциалка —
мышь.
А читатели
сидят
в своей уездной яме,
иностранным упиваются,
мозги щадя.
В Африки
вослед за Бенуями
улетают
на своих жилплощадях.
Званье
— «пролетарские» —
нося как эполеты,
без ошибок
с Пушкина
списав про вёсны,
выступают
пролетарские поэты,
развернув
рулоны строф повёрстных.
Чем вы — пролетарий,
уважаемый поэт?
Вы
с богемой слились
девять лет назад.
Ну, скажите,
уважаемый пролет, —
вы давно
динаму
видели в глаза?
— Извините
нас,
сермяжных,
за стишонок неудачненький.

Не хотите
под гармошку поплясать ли? —
Это,
в лапти нарядившись,
выступают дачники
под заглавием
— крестьянские писатели.
О, сколько нуди такой городимо,
от которой
мухи падают замертво!
Чего только стоит
один Радимов
с греко-рязанским своим гекзаметром!
Разлунивши
лысины лачки́,
убежденно
взявши
ручку в ручки,
бороденок
теребя пучки,
честно
пишут про Октябрь попутчики.
Раньше
маленьким казался и Лесков —
рядышком с Толстым
почти не виден.
Ну, скажите мне,
в какой же телескоп
в те недели
был бы виден Лидин?!
— На Руси
одно веселье —
пити... —
А к питью
подай краюху
и кусочек сыру.
И орут писатели
до хрипоты
о быте,

увлекаясь
бытом
госиздатовских кассиров.
Варят чепуху
под клубы
трубочного дыма —
всякую уху
сожрет
читатель-Фока.
А неписаная жизнь
проходит
мимо
улицею фыркающих о́кон.
А вокруг
скачут критики
в мыле и пене:
— Здорово пишут писатели, братцы!
— Гений — Казин,
Санников — гений...
Все замечательно!
Рады стараться! —
С молотка
литература пущена.
Где вы,
сеятели правды
или звезд сиятели?
Лишь в четыре этажа халтурщина:
Гиза,
критика,
читаки
и писателя.
Нынче
стала
зелень веток в редкость,
гол
литературы ствол.
Чтобы стать
поэту крепкой веткой —
выкрепите мастерство!

[1926]

ДОМ ГЕРЦЕНА

(только в полночном освещении)

Расклокотался в колокол Герцен,
чуть
языком
не отбил бочок...
И дозвонился!
Скрипнули дверцы,
все повалили
в его кабачок.
Обыватель любопытен —
все узнать бы о пиите!
Увидать
в питье,
в едении
автора произведения.
Не удержишь на веревке!
Люди лезут...
Валят валом.
Здесь
свои командировки
пропивать провинциалам.
С «шимми»,
с «фоксами» знакомясь,
мечут искры из очков
на чудовищную помесь —
помесь вальса с казачком.
За ножками котлет свиных
компания ответственных.
На искусительнице-змие
глазами
чуть не женятся,
но буркают —
«Буржуазия...
богемцы...
Разложеньице...»

Не девицы —
а растраты.
Раз
взглянув
на этих дев,
каждый
должен
стать кастратом,
навсегда охолодев.
Вертят глазом
так и этак,
улыбаются уста
тем,
кто вписан в финанкете
скромным именем —
«кустарь».

Ус обвис намокшей веткой,
желтое,
как йод,
пиво
на шальвары в клетку
сонный русский льет...
Шепчет дева,
губки крася,
юбок выставив ажур:
«Ну, поедем...
что ты, Вася!
Вот те крест —
не заражу...»
Уехал в брюках клетчатых.
«Где вы те-пе-рь...»
Кто лечит их?

Богемою
себя не пачкая,
сидит холеная нэпачка;
два иностранца
ее,
за духи,

выловят в танцах
из этой ухи.

В конце
унылый начинающий —
не укупить ему вина еще.
В реках пива,
в ливнях водок,
соблюдая юный стыд,
он сидит
и ждет кого-то,
кто придет
и угостит.

Сидят они,
сижу и я,
во славу Герцена жуя.
Герцен, Герцен,
загробным вечером,
скажите пожалуйста,
вам не снится ли,
как вас
удивительно увековечили
пивом,
фокстротом
и венским шницелем?

Прав
один рифмач упорный,
в трезвом будучи уме,
на дверях
мужской уборной
бодро
вывел резюме:
«Хрен цена
вашему дому Герцена».
Обычно
заборные надписи плоски,
но с этой — согласен!
В. Маяковский.

[1928]

ПИВО И СОЦИАЛИЗМ

Блюет напившийся.
Склонился ивой.
Вулканятся кружки,
пену пепля.
Над кружками
надпись:
«Раки
и пиво
завода имени Бебеля».
Хорошая шутка!
Недурно состренá!
Одно обидно
до боли в печени,
что Бебеля нет, —
не видит старина,
какой он
у нас
знаменитый
и увековеченный.
В предвкушении
грядущих
пьяных аварий
вас
показывали б детям,
чтоб каждый вник:
— Вот
король некоронованный
жидких баварий,
знаменитый
марксист-пивник. —
Годок еще
будет
временем слизан —
рассеются
о Бебеле
биографические враки.
Для вас, мол,
Бебель —
«Женщина и социализм»,

а для нас —
пиво и раки.
Жены
работающих
на ближнем заводе
уже
о мужьях
твердят стоусто:
— Ироды!
с Бебелем дружбу водят.
Чтоб этому
Бебелю
было пусто! —
В грязь,
как в лучшую
из кроватных мебелей,
человек
улегся
под домовьи леса, —
и уже
не говорят про него —
«на-зю-зю-кался»,
а говорят —
«на-бе-бе-лился».
Еще б
водчонку
имени Энгельса,
под
имени Лассаля блины, —
и Маркс
не придумал бы
лучшей доли!
Что вы, товарищи,
бе-белены
объелись,
что ли?
Товарищ,
в мозгах
просьбишку вычекань,

да так,
чтоб не стерлась,
и век прождя:
брось привычку
(глупая привычка!) —
приплетать
ко всему
фамилию вождя.
Думаю,
что надпись
надолго сохраните:
на таких мозгах
она —
как на граните.

[1927]

СМЕНА УБЕЖДЕНИЙ

Он шел,
держась
за прутья перил,
сбивался
впотьмах
косоного.
Он шел
и орал
и материл
и в душу,
и в звезды,
и в бога.
Вошел —
и в комнате
водочный дух
от пьяной
перенагрузки,
назвал
мимоходом
«жидами»
двух

самых
отъявленных русских.
Прогромыхав
в ночной тишине,
встряхнув
семейное ложе,
миролюбивой
и тихой жене
скулу
на скулу перемножил.
В буфете
посуду
успев истолочь
(помериться
силами
не с кем!),
пошел
хлестать
любимую дочь
галстуком
пионерским.
Свою
мебелишку
затейливо спутав
в колонну
из стульев
и кресел,
коптилку-
лампадку
достав из-под спуда,
под матерь,
под божью
подвесил.
Со всей
обстановкой
в ударной вражде,
со страстью
льва холостого

сорвал
со стены
портреты вождей
и кстати
портрет Толстого.
Билет
профсоюзный
изодран в клочки,
ногою
бушующей
попран,
и в печку
с размаха
летят значки
Осавиахима
и МОПРа.
Уселся,
смирив
возбужденный дух, —
небитой
не явится личности ли?
Потом
свалился,
вымолвив:
«Ух,
проклятые черти,
вычистили!!!»

[1929]

ПТИЧКА БОЖИЯ

Он вошел,
склонясь учтиво.
Руку жму.
— Товарищ —
сядьте!
Что вам дать?
Автограф?
Чтиво?

— Нет.
Мерси вас.
Я —
Писатель.
— Вы?
Писатель?
Извините.
Думал —
вы пижон.
А вы...
Что ж,
прочтите,
зазвените
грозным
маршем
боевым.
Вихрь идей
у вас,
должно быть.
Новостей
у вас
вагон.
Что ж,
пожалте в уха в оба.
Рад товарищу. —
А он:
— Я писатель.
Не прозаик.
Нет.
Я с музами в связи. —
Слог
изыскан, как борзая.
Сконапель
ля поэзи.
На затылок
нежным жестом
он
кудрей
закинул шелк,

стал
барашком златошерстым
и заблеял,
и пошел.
Что луна, мол,
над долиной,
мчит
ручей, мол,
по ущелью.
Тинтидликал
мандолиной,
дундудел виолончелью.
Нимб
обвил
волосьев копны.
Лоб
горел от благородства.
Я терпел,
терпел
и лопнул
и ударил
лапой
об стол.
— Попрошу вас
покороче.
Бросьте вы
поэта корчить!
Посмотрю
с лица ли,
сзади ль,
вы тюльпан,
а не писатель.
Вы,
над облаками рея,
птица
в человечий рост.
Вы, мусье,
из канареек,

чижик вы, мусье,
и дрозд.
В испытанье
битв
и бед
с вами,
што ли,
мы
полезем?
В наше время
тот —
поэт,
тот —
писатель,
кто полезен.
Уберите этот торт!
Стих даешь —
хлебов подвозу.
В наши дни
писатель тот,
кто напишет
марш
и лозунг!

[1929]

МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ

Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»...

«Комс. правда»

В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня...

«Комс. правда»

Из тучки месяц вылез,
молоденький такой...
Маруська отравилась,
везут в прием-покой.
Понравился Маруське
один
с недавних пор:
нафабренные усики,
расчесанный пробор.
Он был
монтером Ваней,
но...
в духе парижан,
себе
присвоил званье:
«электротехник Жан».
Он говорил ей часто
одну и ту же речь:
— Ужасное мещанство —
невинность
зря
беречь. —
Сошлись и погуляли,
и хмурит
Жан
лицо, —
нашел он,
что
у Ляли
красивше бельецо.
Марусе разнесчастной
сказал, как джентльмен:
— Ужасное мещанство —
семейный
этот
плен. —
Он с ней
расстался
ровно

через пятнадцать дней,
за то,
что лакированных
нет туфелек у ней.
На туфли
денег надо,
а денег
нет и так...
Себе
Маруся
яду
купила
на пятак.
Короткой
жизни
точка.
— Смер-тель-ный
я-яд
испит.
В малиновом платочке
в гробу
Маруся
спит.
Развылся ветер гадкий.
На вечер,
ветру в лад,
в ячейке
об упадке
поставили
доклад.

ПОЧЕМУ?

В сердце
без лесенки
лезут
эти песенки.
Где родина
этих
бездарных романсов?

Там,
где белые
лаются моською?
Нет!
Эту песню
родила масса —
наша
комсомольская.
Легко
врага
продырявить наганом.
Или —
голову с плеч,
и саблю вытри.
А как
сейчас
нащупать врага нам?
Таится.
Хитрый!
Во что б ни обулись,
что б ни надели —
обноски
буржуев
у нас на теле.
И нет
тебе
пути-прямика.
Нашей
культуришке
без году неделя,
а ихней —
века!
И растут
черные
дурни
и дуры,
ничем не защищенные
от барахла культуры.
На улицу вышел —
глаза разопри!

В каждой витрине
буржуевы обноски:
какая-нибудь
шляпа
с пером «распри»,
и туфли
показывают
лакированные носики.
Простенькую
блузу нам
и надеть конфузно.
На улицах,
под руководством
Гарри Пилей,
расставило
сети
Совкино, —
от нашей
сегодняшней
трудной были
уносит
к жизни к иной.
Там
ни единого
ни Ваньки,
ни Пети,
одни
Жанны,
одни
Кэти.
Толча комплименты,
как воду в ступке,
люди
совершают
благородные поступки.
Всё
бароны,
графы — всё,

живут
по разным
роскошным городам,
ограбят
и скажут:
— Мерси, мусье.
Изнасилуют
и скажут:
— Пардон, мадам.
На ленте
каждая —
графиня минимум.
Перо в шляпу
да серьги в уши.
Куда же
сравниться
с такими графинями
заводской
Феклуше да Марфуше?
И мальчики
пачками
стреляют за нэпачками.
Нравятся
мальчикам
в маникюре пальчики.
Играют
этим пальчиком
нэпачки
на рояльчике.
А сунешься в клуб —
речь рвотная.
Чешут
языками
чиновноустые.
Раз международное,
два международное,
но нельзя же до бесчувствия!
Напротив клуба
дверь пивнушки.

Веселье,
грохот,
как будто пушки!
Старается
разная
музыкальная челядь
пианинить
и виолончелить.
Входите, товарищи,
зайдите, подружечки,
выпейте,
пожалуйста,
по пенной кружечке!

ЧТО?

Крою
пиво пенное, —
только что вам
с этого?!
Что даю взамен я?
Что вам посоветовать?
Хорошо
и целоваться,
и вино.
Но...
вино и поэзия,
и если
ее
хоть раз
по-настоящему
испили рты,
ее
не заменит
никакое питье,
никакие пива,
никакие спирты.
Помни
ежедневно,

что ты
зодчий
и новых отношений,
и новых любовей, —
и станет
ерундовым
любовный эпизодчик
какой-нибудь Любы
к любому Вове.
Можно и кепки,
можно и шляпы,
можно
и перчатки надеть на лапы.
Но нет
на свете
прекрасней одежи,
чем бронза мускулов
и свежесть кожи.
И если
подыметесь
чисты и стройны,
любую
одежу
заказывайте Москвошвею,
и...
лучшие
девушки
нашей страны
сами
бросятся
вам на шею.

[1927]

ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ

Как о том сообщается в № 219
«Комсомольской правды»
в стихе по имени «Свидание»

Слышал —
вас Молчанов бросил,
будто
он
предпринял это,
видя,
что у вас
под осень
нет
«изячного» жакета.
На косынку
цвета синьки
смотрит он
и цедит еле:
— Что вы
ходите в косынке?
Да и...
мордой постарели?
Мне
пожалте
грудь тугую.
Ну,
а если
нету этаких...
Мы найдем себе другую
в разыысканной жакетке. —
Припомадясь
и прикрасясь,
эту
гадость
вливши в стих,
хочет
он
марксистский базис
под жакетку
подвести.
«За боль годов,
за все невзгоды
глухим сомнениям не быть!

Под этим мирным небосводом
хочу смеяться
и любить».
Сказано веско.
Посмотрите, дескать:
шел я верхом,
шел я низом
строил
мост в социализм,
недостроил
и устал
и уселся
у моста́.
Травка
выросла
у мо́ста,
по мосту
идут овечки,
мы желаем
— очень просто! —
отдохнуть
у этой речки.
Заверните ваше знамя!
Перед нами
ясность вод,
в бок —
цветочки,
а над нами —
мирный-мирный небосвод.
Брошенная,
не бойтесь красивого слога
поэта,
музой венча́нного!
Просто
и строго
ответьте
на лиру Молчанова:
— Прекратите ваши трели!
Я не знаю,
я стара ли,

но вы,
Молчанов,
постарели,
вы
и ваши пасторали.
Знаю я —
в жакетах в этих
на Петровке
бабья банда.
Эти
польские жакетки
к нам
провозят
контрабандой.
Чем, служа
у муз
по найму,
на мое
тряпье
коситься,
вы б
индустриальным займом
помогли
рожденью ситцев.
Череп,
што ль,
пустеет чаном,
выбил
мысли
грохот лирный?
Это где же
вы,
Молчанов,
небосвод
узрели
мирный?
В гущу
ваших ро́здыхов,
под цветочки,
на реку

заграничным воздухом
не доносит гарьку?
Или
        за любовной блажью
не видать
                угрозу вражью?
Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите —
                вы мешаете
мобилизациям и маневрам.

[1927]

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.

Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
гóло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя нá ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорóгой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения
всех заседаний!»

[1922]

* * *

Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но я давно не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно.

Владимир Ленин.
«О международном и внутреннем положении Советской Республики.
Речь на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов,
6 марта 1922 г.»

* * *

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим Голландцем
Над краем любого стиха.

Холщовая буря палаток
Раздулась гудящей Двиной

Движений, когда вы, крылатый,
Возникли борт о борт со мной.

И вы с прописями о нефти?
Теряясь и оторопев,
Я думаю о терапевте,
Который вернул бы вам гнев.

Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

Борис Пастернак.
Надпись на книге «Сестра моя — жизнь»,
подаренной Маяковскому в 1922 г.

ИЗ ПОЭМЫ «ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН»

Неужели
про Ленина тоже:
«вождь
милостью божьей»?
Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберег,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперек.
Я б
нашел
слова
проклятья громоустого,
и пока
растоптан
я

и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства,
по Кремлю бы
бомбами
метал: *долой!*

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ И ВЯЧЕСЛАВ ПОЛОНСКИЙ

Сегодня я,
поэт,
боец за будущее,
оделся, как дурак.
В одной руке —
венок
огромный
из огромных незабудищей,
в другой —
из чайных —
розовый букет.
Иду
сквозь моторно-бензинную мглу
в Лувр.
Складку
на брюке
выправил нервно;
не помню,
платил ли я за билет;
и вот
зала,
и в ней
Венерино
дезабилье.
Первое смущенье
рассеялось когда,
я говорю:
— Мадам!

По доброй воле,
несмотря на блеск,
сюда
ни в жизнь не навострил бы лыж.
Но я
поэт СССР —
ноблес
Оближ!
У нас
в республике
не меркнет ваша слава.
Эстеты
мрут от мраморного лоска.
Короче:
Я —
от Вячеслава
Полонского.
Носастей грека он.
Он в вас души не чает.
Он
поэлладистей Лициниев и Люциев,
хоть редактирует
и «Мир»,
и «Ниву»,
и «Печать
и революцию».
Он просит передать,
что нет ему житья.
Союз наш
грубоват для тонкого мужчины.
Он много терпит там
от мужичья,
от лефов и мастеровщины.
Он просит передать,
что, «леф» и «праф» костя́,
в Элладу он плывет
надклассовым сознаньем.
Мечтает он
об эллинских гостях,

о тогах,
о сандалиях в Рязани,
чтобы гекзаметром
сменилась
лефовца строфа,

чтобы Радимовы
скакали по дорожке,
и чтоб Радимов
был
не человек, а фавн, —
чтобы свирель,
набедренник
и рожки.
Конечно,
следует иметь в виду, —
у нас, мадам,
не все такие там.

Но эту я
передаю белиберду.
На ней
почти официальный штамп.
Велено
у ваших ног
положить
букеты и венок.
Венера,
окажите честь и счастье,
катите
в сны его
элладских дней ладью...
Ну,
будет!
Кончено с официальной частью.
Мадам,
адью! —
Ни улыбки,
ни привета с уст ее.

И пока
толпу очередную
загоняет Кук,
расстаемся
без рукопожатий
по причине полного отсутствия
рук.
Иду —
авто дудит в дуду.
Танцую — не иду.
Домой!
Внимателен
и нем
стою в моем окне.
Напротив окон
гладкий дом
горит стекольным льдом.
Горит над домом
букв жара́ —
гараж.
Не гараж —
сам бог!
«Миль вуатюр,
дё сан бокс».
В переводе на простой:
«Тысяча вагонов,
двести стойл».
Товарищи!
Вы
видали Ройльса?
Ройльса,
который с ветром сросся?
А когда стоит —
кит.
И вот этого
автомобильного кита ж
подымают
на шестой этаж!

Ставши
уменьшеннее мышей,
тысяча машинных малышей
спит в объятиях
гаража-колосса.
Ждут рули —
дорваться до руки.
И сияют алюминием колеса́,
круглые,
как дураки.
И когда
опять
вдыхают на заре
воздух
миллионом
радиаторных ноздрей,
кто заставит
и какую дуру
нос вертеть
на Лувры и скульптуру?!
Автомобиль и Венера — старо́-с?
Пускай!
Поновее и АХРРов и роз.
Мещанская жизнь
не стала иной.
Тряхнем и мы футурстариной.
Товарищ Полонский!
Мы не позволим
любителям старых
дворянских манер
в лицо строителям
тыкать мозоли,
веками
натертые
у Венер.

[1927]

ИЗ ПОЭМЫ «ХОРОШО»

3

Царям
дворец
построил Растрелли.
Цари рождались,
жили,
старели.
Дворец
не думал
о вертлявом пострелe,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный.
От орлов,
от власти,
одеял
и кружевца
голова
присяжного поверенного
кружится.
Забывши
и классы
и партии,
идет
на дежурную речь.
Глаза
у него
Бонапартьи
и цвета
защитного
френч.
Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.

Он сам
опьянен
своею славой
пьяней,
чем сорокаградусной.
Слушайте,
пока не устанете,
как щебечет
иной адъютантик:
«Такие случаи были —
он едет
в автомобиле.
Узнавши,
кто
и который, —
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы
сама
на руках носила!»
В аплодисментном
плеске
премьер
проплывает
над Невским,
и дамы,
и дети-пузанчики
кидают
цветы и розáнчики.
Если ж
с безработы
загрустится,
сам
себя
уверенно и быстро
назначает —
то военным,
то юстиции,

то каким-нибудь
еще
министром.
И вновь
возвращается,
сказанув,
ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.
«Аграрные?
Беспорядки?
Ряд?
Пошлите
этот,
как его, —
карательный
отряд!
Ленин?
Большевики?
Арестуйте и выловите!
Что?
Не дают?
Не слышу без очков.
Кстати...
Об его превосходительстве...
Корнилове...
Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!.
Их величество?
Знаю.
Ну да!..
И руку жал.
Какая ерунда!
Императора?
На воду?
И черную корку?

При чем тут Совет?
Приказываю
туда,
в Лондон,
к королю Георгу».
Пришит к истории,
пронумерован
и скре́плен,
и его
рисуют —
и Бродский, и Репин.

5

Звякая
шпорами
довоенной выковки,
аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)
и штабс-капитан
Попов.
«Господин адъютант,
не возражайте,
не дам, —
скажите,
чего еще
поджидаем мы?
Россию
жиды
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!
Вы, конешно,
профессор,
либерал,

но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.
Например,
мое положенье беря,
Это...
черт его знает, что это такое!
Сегодня с денщиком:
ору ему
— эй,
навакс
щиблетину,
чтоб видеть рыло в ней! —
И конешно —
к матушке,
а он *меня*
к *моей*,
к матушке,
к свет
к Елизавете Кирилловне!»
Нет,
я не за монархию
с коронами,
с орлами,
Но
для социализма
нужен базис.
Сначала демократия,
потом
парламент.
Культура нужна.
А мы —
Азия-с!
Я даже —
социалист.
Но не граблю,
не жгу.
Разве можно сразу?
Конешно, нет!

Постепенно,
понемногу,
по вершочку,
по шажку,
сегодня,
завтра,
через двадцать лет.
А эти?
От Вильгельма кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.
Деньги
штаба —
шпионы и агенты.
В Кресты бы
тех,
кто ездит в пломбиро́ванном!»
«С этим согласен,
это конешно,
этой сволочи
мало повешено».
«Ленина,
который
смуту сеет,
председателем,
што ли,
совета министров?
Что ты?!
Рехнулась, старушка Рассея?
Касторки прими!
Поправься!
Выздоровь!
Дудки!
С казачеством
шутки плохи —
повыпускаем
им
потроха...»
И все адъютант
— ха да хи —

Попов
— хи да ха. —
«Будьте дважды прокляты
и трижды поколейте!
Господин адъютант,
позвольте ухо:
их
...ревосходительство
...ерал
Каледин,
с Дону,
с плеточкой,
извольте понюхать!
Его превосходительство...
Да разве он один?!
Казачество кубанское,
Днепр,
Дон...»
И всё стаканами —
дон и динь,
и шпорами —
динь и дон.

БОГОМОЛЬНОЕ

Большевики
надругались над верой православной.
В храмах-клубах —
словесные бои.
Колокола без языков —
немые словно.
По божьим престолам
похабничают воробьи.
Без веры
и нравственность ищем напрасно.
Чтоб нравственным быть —
кадилами вей.

Вот Мексика, например,
потому и нравственна,
что прут
богомолки
к вратам церквей.
Кафедраль —
богомольнейший из монашьих
институтцев.
Брат «Notre Dame'a»[1]
на площади, —
а около,
запружена народом
«Площадь Конституции»,
в простонародии —
«Площадь Со́кола».
Блестящий
двенадцатицилиндровый
Пакард
остановил шофер,
простоватый хлопец.
— Стой, — говорит, —
помолюсь пока... —
донна Эсперанца Хуан-де-Лопец.
Нету донны
ни час, ни полтора.
Видно, замолилась.
Веровать так веровать.
И снится шоферу —
донна у алтаря.
Парит
голубочком
душа шоферова.
А в кафедрале
безлюдно и тихо:
не занято
в соборе
ни единого стульца.

---

[1] «Notre-Dame [de Paris]» — Собор Парижской богоматери.

С другой стороны
у собора —
выход
сразу
на четыре гудящие улицы.
Донна Эсперанца
выйдет как только,
к донне
дон распаленный кинется.
За угол!
Улица «Изабелла Католика»,
а в этой улице —
гостиница на гостинице.
А дома —
растет до ужина
свирепость мужина.
У дона Лопеца
терпенье лопается.
То крик,
то стон
испускает дон.
Гремит
по квартире
тигровый соло:
— На восемь частей разрежу ее! —
И, выдрав из уса
в два метра волос,
он пробует
сабли своей остриё.
— Скажу ей:
«Ина́че, сеньора, лягте-ка!
Вот этот
культ
ваш сожитель до гроба!» —
И в пумовой ярости
— все-таки практика! —
сбивает
с бутылок
дюжину пробок.

Гудок в два тона —
приехала донна.
Еще
и рев
не успел уйти
за кактусы
ближнего поля,
а у шоферских
виска и груди
нависли
клинок и пистоля.
— Ответ или смерть!
Не вертеть вола!
Чтоб донна
не могла
запираться,
ответь немедленно,
где была
жена моя
Эсперанца? —
— О дон-Хуан!
В вас дьяволы злобятся.
Не гневайте
божью милость.
Донна Эсперанца
Хуан-де-Лопец
сегодня
усердно
молилась.

[1925]

ЛЮБОВЬ

Мир
опять
цветами оброс,
у мира
весенний вид.

И вновь
встает
нерешенный вопрос —
о женщинах
и о любви.
Мы любим парад,
нарядную песню.
Говорим красиво,
выходя на митинг.
Но часто
под этим,
покрытый плесенью,
старенький-старенький бытик.
Поет на собранье:
«Вперед, товарищи...»
А дома,
забыв об арии сольной,
орет на жену,
что щи не в наваре
и что
огурцы
плоховато просолены.
Живет с другой —
киоск в ширину,
бельем —
шантанная дива.
Но тонким чулком
попрекает жену:
— Компрометируешь
пред коллективом. —
То лезут к любой,
была бы с ногами.
Пять баб
переменит
в течение суток.
У нас, мол,
свобода,
а не моногамия.
Долой мещанство
и предрассудок!

С цветка на цветок
молодым стрекозлом
порхает,
летает
и мечется.
Одно ему
в мире
кажется злом —
это
алиментщица.
Он рад умереть,
экономя треть,
три года
судиться рад:
и я, мол, не я,
и она не моя,
и я вообще
кастрат.
А любят,
так будь
монашенкой верной —
тиранит
ревностью
всякий пустяк
и мерит
любовь
на калибр револьверный,
неверной
в затылок
пулю пустя.
Четвертый —
герой десятка сражений,
а так,
что любо-дорого,
бежит
в перепуге
от туфли жениной,
простой туфли Мосторга.
А другой
стрелу любви
иначе метит,

Владимир Маяковский и Лиля Брик

Рисунок А. Тышлера к стихотворению Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»

Иллюстрация А. Родченко к поэме «Про это»

Маяковский с Осипом и Лилей Брик

Художники (*слева направо*): И. Малютин и М. Черемных, с которыми Маяковский делал «Окна РОСТА». Москва, 1920

А.В. Луначарский, председатель Кинокомитета
И. Лещенко и Маяковский. Май, 1918

Маяковский в редакции газеты «Известия». 1925

Маяковский, Л. Брик, Б. Пастернак, С. Эйзенштейн. 1924

Два гения

путает
— ребенок этакий —
уловленье
любимой
в романические сети
с повышеньем
подчиненной по тарифной сетке...
По женской линии
тоже вам не райские скинии.
Простенького паренька
подцепила
барынька.
Он работать,
а ее
не удержать никак —
бегает за клёшем
каждого бульварника.
Что ж,
сиди
и в плаче
Нилом нилься.
Ишь! —
Жених!
— Для кого ж я, милые, женился?
Для себя —
или для них? —
У родителей
и дети этакого сорта:
— Что родители?
И мы
не хуже, мол! —
Занимаются
любовью в виде спорта,
не успев
вписаться в комсомол.
И дальше,
к деревне,
быт без движеньица —
живут, как и раньше,
из года в год.

Вот так же
замуж выходят
и женятся,
как покупают
рабочий скот.
Если будет
длиться так
за годом годик,
то,
скажу вам прямо,
не сумеет
разобрать
и брачный кодекс,
где отец и дочь,
который сын и мама.
Я не за семью.
В огне
и в дыме синем
выгори
и этого старья кусок,
где шипели
матери-гусыни
и детей
стерег
отец-гусак!
Нет.
Но мы живем коммуной
плотно,
в общежитиях
грязнеет кожа тел.
Надо
голос
подымать за чистоплотность
отношений наших
и любовных дел.
Не отвиливай —
мол, я не венчан.
Нас
не поп скрепляет тарабарящий.

Надо
обвязать
и жизнь мужчин и женщин
словом,
нас объединяющим:
«Товарищи».

[1926]

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ

На эфирном океане,
там,
где тучи-борода,
громко плавает в тумане
радио-белиберда.
Утро.
На столике стоит труба.
И вдруг
как будто
трубу прорвало,
в перепонку
в барабанную
забубнила, груба:
«Алло!
Алло!!
Алло!!!
Алло!!!!»
А затем —
тенорок
(держись, начинается!):
«Товарищи,
слушайте
очередной урок,
как сохранить
и полировать яйца».
Задумался,
заволновался,
бросил кровать,

в мозгах
темно,
как на дне штолен.
— К чему ж мне
яйца полировать?
К пасхе,
што ли?! —
Настраиваю
приемник
на новый лад.
Не захочет ли
новая волна порадовать?
А из трубы —
замогильный доклад,
какая-то
ведомственная
чушь аппаратова.
Докладец
полтора часа прослушав,
стал упадочником
и затосковал.
И вдруг...
встрепенулись
восторженные уши:
«Алло!
Последние новости!
Москва».
Но тотчас
в уши
писк и фырк.
Звуки заскакали,
заиграли в прятки —
это
широковещательная Уфы
дует
в хвост
широковещательную Вятки.
Наконец
из терпения
вывели и меня.

Трубку
душу́,
за горло взявши,
а на меня
посыпались имена:
Зины,
Егора,
Миши,
Лели,
Яши!
День
промучившись
в этом роде,
ложусь,
а радио
бубнит под одеяло:
«Во саду аль в огороде
девица гуляла».
Не заснешь,
хоть так ложись,
хоть ина́че.
С громом
во всем теле
крою
дедушку радиопередачи
и бабушку
радиопочте́лей.
Дремлют штаты в склепах зданий.
Им не радость,
не печаль,
им
в грядущем нет желаний,
им...
— семь с половиной миллионов! —
не жаль!

[1928]

ДАЕШЬ ТУХЛЫЕ ЯЙЦА!

(Рецензия № 1)

Проходная комната. Театр б. Корш.

Комната проходная
во театре Корша (бе).
Ух ты мать...
моя роднаяl
Пьеска —
ничего себе...
Сюжетец —
нету крепче:
в роли отца —
мышиный жеребчик
с видом спеца.
У папы
много тягот:
его жена
собой мордяга
и плохо сложена.
(Очевидно,
автор влип
в положительный тип.)

Целый день семенит
на доклад с доклада.
Как
змее
не изменить?!
Так ей и надо.
На таких
в особенности
скушно жениться.
И папа,
в меру
средств и способностей,
в служебное время
лезет на жилицу.

Тут где ж
невинность вынести?
И сын,
в семейке оной,
страдая от невинности,
ходит возбужденный.
Ему
от страсти жарко,
он скоро
в сажень вытянется...
А тут уже —
кухарка,
народа представительница.
Но жить
долго
нельзя без идеолога.
Комсомолец
в этой роли
агитнуть ужасно рад:
что любой из граждан
волен
жить с гражданками подряд.
Сердце не камень:
кухарка
в ту же ночку
обеими ногами
лезет
на сыночка.
Но только лишь
мальчишеских уст
коснулись
кухаркины уста —
в комнату
входит
один хлюст
в сопровождении
другого хлюста.
Такому
надо много ли:

монокль в морщине,
и дылда
в монокле
лезет к мужчине.
Целует
у мальчика
десять пальчиков.
Пока
и днем и ночью
вот это длится,
не отстают
и прочие
действующие лица.
Я сбежал
от сих насилий,
но
вполне уверен в этом,
что в дальнейшем
кот Василий
будет жить
с велосипедом.

Под потолком
притаилась галерка,
места у нее
высоки...
Я обернулся,
впиваясь зорко:
— Товарищи,
где свистки?!
Пускай
партер
рукоплещет —
«Браво!» —
но мы, —
где пошлость,
везде, —
должны,
а не только имеем право
негодовать
и свистеть.

[1928]

КТО ОН?

Кто мчится,
кто скачет
такой молодой,
противник мыла
и в контрах с водой?
Как будто
окорока ветчины,
небритые щеки
от грязи черны.
Разит —
и грязнее черных ворот
зубною щеткой
не тронутый рот.
Сродни
шевелюра
помойной яме,
бумажки
и стружки
промеж волосьями;
а в складках блузы
безвременный гроб
нашел
энергично раздавленный клоп.
Трехлетнего пота
журчащий родник
проклеил
и выгрязнил
весь воротник.
Кто мчится,
кто скачет
и брюки ло́вит,
держащиеся
на честном слове?
Сбежав
от повинностей
скушных и тяжких,
за скакуном
хвостятся подтяжки.

Кто мчится,
кто скачет
резво и яро
по мостовой
в обход тротуара?
Кто мчит
без разбора
сквозь слякоть и грязь,
дымя по дороге,
куря
и плюясь?
Кто мчится,
кто скачет
виденьем крылатым,
трамбуя
встречных
увесистым матом?
Кто мчится,
и едет,
и гонит,
и скачет?
Ответ —
апельсина
яснее и кратче,
ответ
положу
как на блюдце я:
то мчится
наш товарищ докладчик
на диспут:
«Культурная революция».

[1928]

СЛЕГКА НАХАЛЬНЫЕ СТИХИ ТОВАРИЩАМ ИЗ ЭМКАХИ

Прямо
некуда деваться
от культуры.
Будь ей пусто!

Вот
товарищ Цивцивадзе
насадить мечтает бюсты.
Чтоб на площадях
и скверах
были
мраморные лики,
чтоб, вздымая
морду вверх,
мы бы
видели великих.
Чтобы, день
пробегав зря,
хулиганов
видя
рожи,
ты,
великий лик узря,
был
душой облагорожен.
Слышу,
давши грезам дань я,
нотки
шепота такого:
«Приходите
на свиданье
возле бюста
Эф Гладкова».
Тут
и мой овал лица,
снизу
люди тащатся...
К черту!
«Останавлица
строго воспрыщаица»,
А там,
где мороженое
морит желудки,
сверху
восторженный

смотрит Жуткин.
Скульптор
помнит наш режим
(не лепить чтоб
два
лица),
Жаров-Уткин
слеплен им
сразу
в виде близнеца.
Но —
лишь глаз прохожих пара
замерла,
любуясь мрамором,
миг —
и в яме тротуара
раскорячился караморой.
Только
лошадь
пару глаз
вперит
в грезах розовых,
сверзлася
с колдобин
в грязь
возле чучел бронзовых.
И с разискреннею силищей
кроют
мрачные от желчи:
«Понастроили страшилищей
сволочи,
Микел Анжелычи».
Мостовой
разбитой едучи,
думаю о Цивцивадзе.
Нам нужны,
товарищ Медичи,
мостовые,
а не вазы.

Рвань,
куда ни поглазей,
грязью
глаз любуется.
Чем
устраивать музей,
вымостили б улицы.
Штопали б
домам
бока
да обчистили бы грязь вы!
Мы бы
обошлись пока
Гоголем
да Тимирязевым.

[1928]

ПОМПАДУР

Член ЦИКа тов. Рухула Алы Оглы Ахундов ударил по лицу пассажира в вагоне-ресторане поезда Москва — Харьков за то, что пассажир отказался закрыть занавеску у окна. При составлении дознания тов. Ахундов выложил свой цековский билет.

«Правда», № 111/3943.

Мне неведомо,
в кого я попаду,
знаю только —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
выезжает
отдыхать
на во́ды.
Как шар,
положенный
в намеченную лузу,

он
лысой головой
для поворотов —
туг
и носит
синюю
положенную блузу,
как министерский
раззолоченный сюртук.
Победу
масс,
позволивших
ему
надеть
незыблемых
мандатов латы,
немедля
приписал он
своему уму,
почел
пожизненной
наградой за таланты.
Со всякой массою
такой
порвал давно.
Хоть политический,
но капиталец —
нажит.
И кажется ему,
что навсегда
дано
ему
над всеми
«володеть и княжить».
Внизу
какие-то
проходят, семеня, —
его
не развлечешь
противною картиной.

Как будто говорит:
«Не трогайте
меня
касанием плотвы
густой,
но беспартийной».
С его мандатами
какой,
скажите,
риск?
С его знакомствами
ему
считаться не с кем.
Соседу по столу,
напившись в дым и дрызг,
орет он:
«Гражданин,
задернуть занавеску!»
Взбодрен заручками
из ЦИКа и из СТО,
помешкавшего
награждает оплеухой,
и собеседник
сверзился под стол,
придерживая
окровавленное ухо.
Расселся,
хоть на лбу
теши дубовый кол, —
чего, мол,
буду объясняться зря я?!
Величественно
положил
мандат на протокол:
«Прочесть
и расходиться, козыряя!»
Но что случилось?
Не берут под козырек?

Сановник
под значком
топырит
грудью
платье.
Не пыжьтесь, помпадур!
Другой зарок
дала
великая
негнущаяся партия.
Метлою лозунгов
звенит железо фраз,
метлою бурь
по дуракам подуло.
— Товарищи,
подымем ярость масс
за партию,
за коммунизм,
на помпадуров! —

Неизвестно мне,
в кого я попаду,
но уверен —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
ехал
отдыхать на воды.

[1928]

ОТВЕТ НА БУДУЩИЕ СПЛЕТНИ

Москва
меня
обступает, сипя,
до шепота
голос понижен:
«Скажите,
правда ль,

что вы
для себя
авто
купили в Париже?
Товарищ,
смотрите,
чтоб не было бед,
чтоб пресса
на вас не нацыкала.
Купили бы дрожки...
велосипед...
Ну
не более же ж мотоцикла!»
С меня
эти сплетни,
как с гуся вода;
надел
хладнокровия панцырь.
— Купил — говорите?
Конешно,
да.
Купил,
и бросьте трепаться.
Довольно я шлепал,
дохл
да тих,
на разных
кобылах-выдрах.
Теперь
забензинено
шесть лошадих
в моих
четырех цилиндрах.
Разят
желтизною
из медных глазниц
глаза —
не глаза,
а жуть!

И целая
улица
падает ниц,
когда
кобылицы ржут.
Я рифм
накосил
чуть-чуть не стог,
аж впору
бухгалтеру сбиться.

Две тыщи шестьсот
бессоннейших строк
в руле,
в рессорах
и в спицах.
И мчишься,
и пишешь,
и лучше, чем в кресле.
Напрасно
завистники злятся.
Но если
объявят опасность
и если
бой
и мобилизация —
я, взяв под уздцы,
кобылиц подам
товарищу комиссару,
чтоб мчаться
навстречу
жданным годам
в последнюю
грозную свару.
Не избежать мне
сплетни дрянной.
Ну что ж,
простите, пожалуйста,

что я
из Парижа
привез Рено,
а не духи
и не галстук.

[1928]

ЭПИГРАММЫ

Безыменскому

Томов гробовых
камень веский,
на камне надпись —
«Безыменский».
Он усвоял
наследство дедов,
столь сильно
въевшись
в это едово,
что слег
сей вридзам Грибоедов
от несваренья Грибоедова.
Трехчасовой
унылый «Выстрел»
конец несчастного убыстрил.

Адуеву

Я скандалист!
Я не монах.
Но как
под ноготь
взять Адуева?
Ищу
у облака в штанах,
но как
в таких штанах найду его?

Сельвинский

Чтоб желуди с меня
удобней воровать,
поставил под меня
и кухню и кровать.
Потом переиздал, подбавив собственного сала.
А дальше —
слово
товарища Крылова:
«И рылом
подрывать
у дуба корни стала».

Безыменскому

Уберите от меня
этого
бородатого комсомольца! —
Десять лет
в хвосте семеня,
он
на меня
или неистово молится,
или
неистово
плюет на меня.

Уткину

О бард,
сгитарьте тарарайра нам!
Не вам
строчить
агитки хламовые.
И бард поет,
для сходства с Байроном
на русский
на язык
прихрамывая.

Гандурину

Подмяв моих комедий глыбы,
сидит Главрепертком Гандурин.
— А вы ноктюрн сыграть могли бы
на этой треснувшей бандуре?

[1930]

* * *

Маяковский метался по фанерному закутку среди приказов и пожелтевших плакатов, как бы с трудом пробиваясь сквозь слоеные облака табачного дыма, висевшего над столом с блюдечками, наполненными окурками, с исписанными листами газетного срыва, с обкусанными карандашами и чернильницами-непроливайками с лиловыми чернилами, отливающими сухим металлическим блеском. И за его острыми, угловатыми движениями с каменным равнодушием следили разнообразные глаза распаренных многочасовым заседанием членов этого адского художественного совета образца тысяча девятьсот двадцать девятого года, как бы беззвучно, но зловеще повторяющих в такт его крупных шагов: «Очернительство... очернительство... очернительство...»

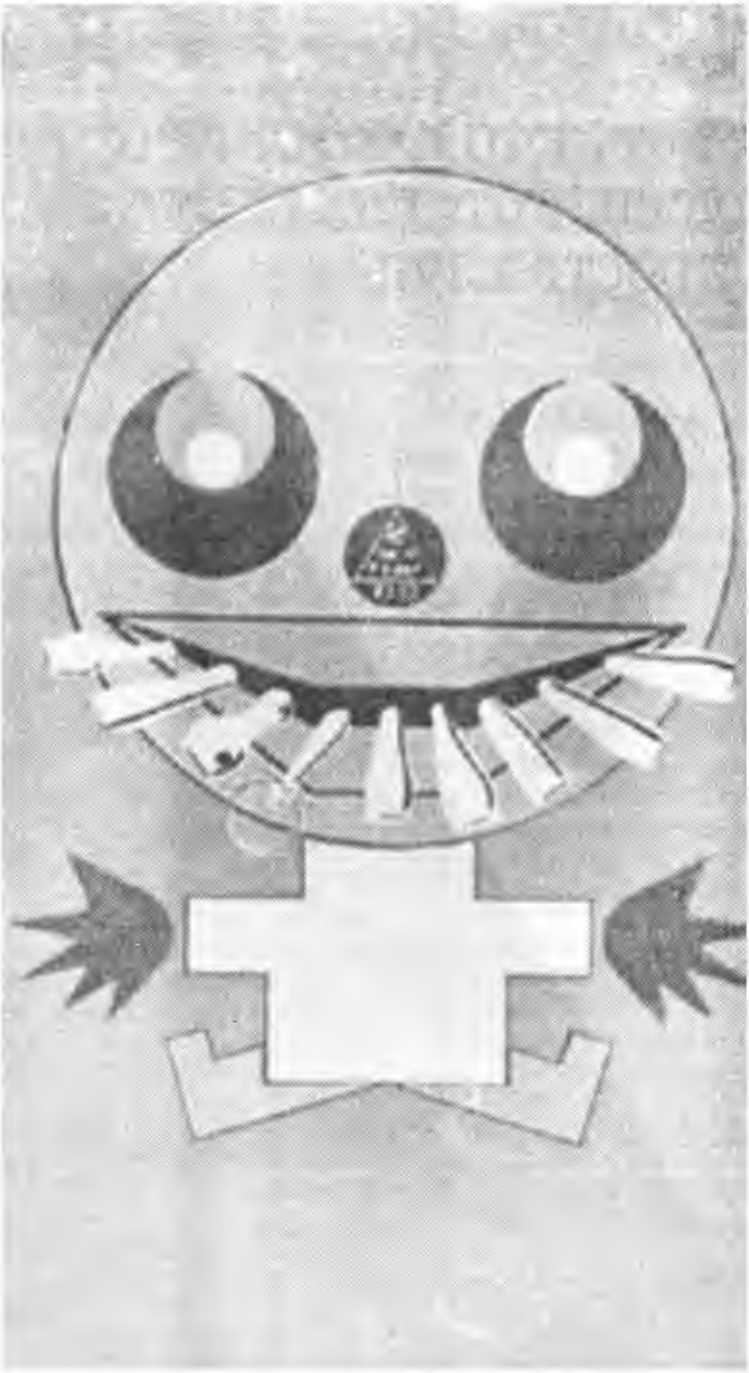
Особенно душил его сам председатель, доведя Маяковского до того, что однажды он в поезде «Красная стрела» Москва — Ленинград, стоя в коридоре международного спального вагона, держа в руке стакан чаю в тяжелом мельхиоровом подстаканнике, поставив толстую подошву своего башмака на медную панель отопления, яростно перетирая окурок боковыми зубами и глядя в окно на проносящиеся мимо парные телеграфные столбы — одна опора прямо, другая отставлена в сторону, что делало их

похожими на двух чечеточников, — вдруг начал читать только что сочиненные им злейшие эпиграммы...

Он прочел эти эпиграммы, окружив рот железными подковами какой-то страшной, беспощадной улыбки.

Валентин Катаев.
«Трава забвенья»

Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп



Из поэмы «Про это»

Путешествие с мамой

Не вы —
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьею засеяна.
Смотрите,
мачт корабельных щетина —
в Германию врезался Одера клин.
Слезайте, мама,
уже мы в Штеттине.
Сейчас,
мама,
несемся в Берлин.
Сейчас летите, мотором урча, вы:
Париж,
Америка,
Бруклинский мост,
Сахара,
и здесь
с негритоской курчавой
лакает семейкой чай негритос.
Помнете периной
и волю
и камень.
Коммуна —
и то завернется комом.
Столетия
жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!
Октябрь прогремел,
карающий,
судный.

Вы
под его огнепёрым крылом
Расставились,
разложили посудины.
Паучьих волос не расчешешь колом.
Исчезни, дом,
родимое место!
Прощайте! —
Отбросил ступéней последок.
— Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любвишка наседок!

Пресненские миражи

Бегу и вижу —
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками под мышками.
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошенная легкость!
Домами оскалила скáлы далекость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
и гóло.
И только из-за ставенек
в огне иголки елок.
Ногам вперекор,
тормозами на быстрые
вставали стены, окнами выстроясь.
По стеклам
тени
фигурками тира
вертелись в окне,
зазывали в квартиры.

С Невы не сводит глаз,
продрог,
стоит и ждет —
помогут.
За первый встречный за порог
закидываю ногу.
В передней пьяный проветривал бредни.
Стрезвел и дернул стремглав из передней.
Зал заливался минуты две:
— Медведь,
медведь,
медведь, медв-е-е-е-е... —

Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми

Потом, извертясь вопросительным знаком,
хозяин полглаза просунул:
— Однако!
Маяковский!
Хорош медведь! —
Пошел хозяин любезностями медоветь:
— Пожалуйста!
Прошу-с.
Ничего —
я боком.
Нечаянная радость-с, как сказано у Блока.
Жена — Фекла Двидна.
Дочка,
Точь-в-точь
в меня, видно —
семнадцать с половиной годочков.
А это...
Вы, кажется, знакомы?! —
Со страха к мышам ушедшие в норы,
из-под кровати полезли партнеры.
Усища —
к стеклам ламповым пыльники —
из-под столов пошли собутыльники.

Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.
Весь безлицый парад подсчитать ли?
Идут и идут процессией мирной.
Блестят из бород паутиной квартирной.
Все так и стоит столетья,
как было.
Не бьют —
и не тронулась быта кобыла.
Лишь вместо хранителей дýхов и фей
ангел-хранитель —
жилец в галифе.
Но самое страшное:
по росту,
по коже
одеждой,
сама походка моя! —
в одном
узнал —
близнецами похожи —
себя самого —
сам
я.
С матрацев,
вздымая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассиялся в лучики —
хочет обнять в самоварные ручки.
В точках от мух
веночки
с обоев
венчают голову сами собою.
Взыграли туш ангелочки-горнисты,
пророзовев из иконного глянца.
Исус,
приподняв
венок тернистый,
любезно кланяется.
Маркс,
впряженный в алую рамку,

и то тащил обывательства лямку.
Запели птицы на каждой на жердочке,
герани в ноздри лезут из кадочек.
Как были
сидя сняты
на корточках,
радушно бабушки лезут из карточек.
Раскланялись все,
осклабились враз;
кто басом фразу,
кто в дискант
дьячком.
— С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праз-
нич-
ком! —
Хозяин
то тронет стул,
то дунет,
сам со скатерти крошки вымел.
— Да я не знал!..
Да я б накануне...
Да, я думаю, занят...
Дом...
Со своими...

Бессмысленные просьбы

Мои свои?!
Д-а-а-а —
это особы.
Их ведьма разве сыщет на венике!
Мои свои
с Енисея
да с Оби
идут сейчас,
следят четвереньки.

Какой мой дом?!
Сейчас с него.
Подушкой-льдом
плыл Невой —
мой дом
меж дамб
стал льдом,
и там...
Я брал слова
то самые вкрадчивые,
то страшно рыча,
то вызвоня лирово.
От выгод —
на вечную славу сворачивал,
молил,
грозил,
просил,
агитировал.
— Ведь это для всех...
для самих...
для вас же...
Ну, скажем, «Мистерия» —
ведь не для себя ж?!
Поэт там и прочее...
Ведь каждому важен...
Не только себе ж —
ведь не личная блажь...
Я, скажем, медведь, выражаясь грубо...
Но можно стихи...
Ведь сдирают шкуру?!
Подкладку из рифм поставишь —
и шуба!..
Потом у камина...
там кофе...
Курят...
Дело пустяшно:
ну, минут на десять...
Но нужно сейчас,
пока не поздно...

Похлопать может...
Сказать —
надейся!..
Но чтоб теперь же...
чтоб это серьезно... —
Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.
Катали по́ столу хлебные мякиши.
Слова об лоб
и в тарелку —
горохом.
Один расчувствовался,
вином размягший:
— Пооооостой...
Пооооостой...
Очень даже и просто.
Я пойду!..
Говорят, он ждет...
на мосту...
Я знаю...
Это на углу Кузнецкого мо́ста.
Пустите!
Ну-кося! —
По углам —
зуд:
— Наззз-ю-зззюкался!
Будет ныть!
Поесть, попить,
попить, поесть —
и за 66!
Теорию к лешему!
Нэп —
практика.
Налей,
нарежь ему.
Футурист,
налягте-ка! —
Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
пошли греметь о челюсть челюстью.
Шли
из артезианских прорв

меж рюмкой
слова поэтических споров.
В матрац,
поздоровавшись,
влезли клопы.
На вещи насела столетняя пыль.
А тот стоит —
в перила вбит.
Он ждет,
он верит:
скоро!
Я снова лбом,
я снова в быт
вбиваюсь слов напором.
Опять
атакую и вкривь и вкось.
Но странно:
слова проходят насквозь.

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка.
Из омнибуса
вразвалку
сошел,
поплевывал
в Терек с берега,
совал ему
в пену
палку.
Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.

Как будто бы
Терек
сорганизовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.
Хочу отвернуть
заносчивый нос
и чувствую:
стыну на грани я,
овладевает
мною
гипноз,
воды
и пены играние.
Вот башня,
револьвером небу к виску,
разит
красотою нетроганой.
Поди,
подчини ее
преду искусств —
Петру Семенычу
Когану.
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,
а даром

реветь
старaться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
Я знаю мой голос:
паршивый тон,
но страшен
силою ярой.
Кто видывал,
не усомнится,
что
я
был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
взвинчена хоть,
величественно
делает пальчиком.
Но я ей
сразу:
— А мне начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с песен —
какой гонорар?!
А стирка —
в семью копейка.
А даром
немного дарит гора:
лишь воду —
поди,
попей-ка! —
Взъярилась царица,
к кинжалу рука.
Козой,
из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему,
вы ж знаете как —

под ручку...
любезно...
— Сударыня!
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас,
мне
много про вас
говаривал
некий Лермонтов.
Он клялся,
что страстью
и равных нет...
Таким мне
мерещился образ твой.
Любви я заждался,
мне 30 лет.
Полюбим друг друга.
Попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух.
От черта скраду
и от бога я!
Ну что тебе Демон?
Фантазия!
Дух!
К тому ж староват —
мифология.
Не кинь меня в пропасть,
будь добра.
От этой ли
струшу боли я?
Мне
даже
пиджак не жаль ободрать,

а грудь и бока —
тем более.
Отсюда
дашь
хороший удар —
и в Терек
замертво треснется.
В Москве
больнее спускают...
Куда!
ступеньки считаешь —
лестница.
Я кончил,
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак,
А мы...
соглашайся, Тамара!
История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.
Сам Демон слетел,
подслушал,
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка!

[1924]

РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»

Перья-облака́,
закат расканарейте!
Опускайся,
южной ночи гнет!
Пара
пароходов
говорит на рейде:
то один моргнет,
а то
другой моргнет.
Что сигналят?
Напрягаю я
морщины лба.
Красный раз...
угаснет,
и зеленый...
Может быть,
любовная мольба.
Может быть,
ревнует разозленный.
Может, просит:
— «Красная Абхазия»!
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань. —
Но в ответ
коварная
она:
— Как-нибудь
один
живи и грейся.

Я
теперь
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
трехтрубный крейсер.
— Все вы,
бабы,
трясогузки и канальи...
Что ей крейсер,
дылда и пачкун? —
Поскулил
и снова засигналил:
— Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и броня... —
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.

[1926]

ЕДУ

Билет —
щелк.
Щека —
чмок.
Свисток —
и рванулись туда мы,
куда,
как сельди,
в сети чулок
плывут
кругосветные дамы.
Сегодня приедет —
уродом урод,

а завтра —
узнать посмейте-ка:
в одно
разубран
и город и рот —
помады,
огней косметика.
Веселых
тянет в эту вот даль.
В Париже грустить?
Едва ли!
В Париже
площадь
и та Этуаль,
а звезды —
так сплошь этуали.
Засвистывай,
трись,
врезайся и режь
сквозь Льежи
и об Брюссели.
Но нож
и Париж,
и Брюссель,
и Льеж —
тому,
кто, как я, обрусели.
Сейчас бы
в сани
с ногами —
в снегу,
как в газетном листе б...
Свисти,
заноси снегами
меня,
прихерсонская степь...
Вечер,
поле,
огоньки,

дальняя дорога, —
сердце рвется от тоски,
а в груди —
тревога.
Эх, раз,
еще раз,
стих — в пляс.
Эх, раз,
еще раз,
рифм, хряск.
Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз...
Люди
разных стран и рас,
копая порядков грядки,
увидев,
как я
себя протряс,
скажут:
в лихорадке.

[1925]

ГОРОД

Один Париж —
адвокатов,
казарм,
другой —
без казарм и без Эррио.
Не оторвать
от второго
глаза —
от этого города серого.
Со стен обещают:
«Un verre de Koto
donne de l'energie»[1].

[1] Стакан Кото дает энергию *(франц.)*.

Вином любви
каким
и кто
мою взбудоражит жизнь?
Может,
критики
знают лучше.
Может,
их
и слушать надо.
Но кому я, к черту, попутчик!
Ни души
не шагает
рядом.
Как раньше,
свой
раскачивай горб
впереди
поэтовых арб —
неси,
один,
и радость,
и скорбь,
и прочий
людской скарб.
Мне скучно
здесь
одному
впереди, —
поэту
не надо многого, —
пусть
только
время
скорей родит
такого, как я,
быстроногого.
Мы рядом
пойдем
дорожной пыльцой

Одно
желанье
пучит:
мне скучно —
желаю
видеть в лицо,
кому это
я
попутчик?!
«Je suis un chameau»[1],
в плакате стоят
литеры,
каждая — фут.
Совершенно верно:
«je suis», —
это
«я»,
а «chameau» —
это
«я верблюд».
Лиловая туча,
скорей нагнись,
меня
и Париж полей,
чтоб только
скорей
зацвели огни
длиной
Елисейских полей.
Во всё огонь —
и небу в темь
и в чернь промокшей пыли.
В огне
жуками
всех систем
жужжат
автомобили.

---

[1] Я верблюд *(франц.)*.

Горит вода,
земля горит,
горит
асфальт
до жжения,
как будто
зубрят
фонари
таблицу умножения.
Площадь
красивей
и тысяч
дам-болонок.
Эта площадь
оправдала б
каждый город.
Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place de la Concorde[1].

[1925]

МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ

Превращусь
не в Толстого, так в то́лстого, —
ем,
пишу,
от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.

Вчера
океан был злой,
как черт,

[1] Площадь Согласия *(франц.)*.

сегодня
смиренней
голубицы на яйцах.
Какая разница!
Все течет...
Все меняется.

Есть
у воды
своя пора:
часы прилива,
часы отлива.
А у Стеклова
вода
не сходила с пера.
Несправедливо.

Дохлая рыбка
плывет одна.
Висят
плавнички,
как подбитые крылышки.
Плывет недели,
и нет ей —
ни дна,
ни покрышки.

Навстречу
медленней, чем тело тюленье,
пароход из Мексики,
а мы —
туда.
Иначе и нельзя.
Разделение
труда.

Это кит — говорят.
Возможно и так.
Вроде рыбьего Бедного —
обхвата в три.

Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.

Годы — чайки.
Вылетят в ряд —
и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?

Я родился,
рос,
кормили соскою, —
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

3/VII — Атлантический океан
[1925]

* * *

В полпредстве устроили ему вечер чтения. Было довольно много народу. Принимали его, в общем, средне... Маяковский сказал: «Когда рабочий принимается за работу, он снимает пиджак», снял пиджак и начал читать. Главным образом он читал свои стихи из Америки, в том числе «Домой!». Потом он обратился к Богатыреву и ко мне и сказал: «Тут сидят двое подлинных ценителей поэзии, и для них я прочту «Мелкая философия на глубоких местах».

Роман Якобсон. «Воспоминания».

* * *

Одно время, в 1923 году, Маяковский увлекался птицами и накупил их массу, самых разнообразных. Они быстро надоели ему, и он всех их выпустил на волю. Пришел к нам как-то обедать отец Осипа Максимовича Брика и направился прямо к птичкам. Их не оказалось. У него сделалось страшно удивленное лицо, он оглянулся на Маяковского и недоуменно спросил: «В сущности говоря, где птички?» Вопрос этот показался Маяковскому необычайно забавно-глубокомысленным. Он долго носился с этой фразой, пока наконец не нашел ей место в «Мелкой философии на глубоких местах.

(Л. Брик. «Из воспоминаний о стихах Маяковского», «Знамя», М. 1941, № 4).

КЕМП «НИТ ГЕДАЙГЕ[1]

Запретить совсем бы
ночи-негодяйке
выпускать
из пасти
столько звездных жал.
Я лежу, —
палатка
в кемпе «Нит гедайге».
Не по мне все это.
Не к чему...
и жаль...
Взвоют
и замрут сирены над Гудзоном,
будто бы решают:
выть или не выть?
Лучше бы не выли.
Пассажирам сонным
надо просыпаться,
думать,
есть,
любить...

[1] Не унывай *(идиш).*

Прямо
перед мордой
пролетает вечность —
бесконечночасый распустила хвост.
Были б все одеты,
и в бельé, конечно,
если б время
ткало
не часы,
а холст.
Впрячь бы это
время
в приводной бы ремéнь, —
спустят
с холостого —
и чеши и сыпь!
Чтобы
не часы показывали время,
а чтоб время
честно
двигало часы.
Ну, американец...
тоже...
чем гордится.
Втер очки Нью-Йорком.
Видели его.
Сотня этажишек
в небо городится.
Этажи и крыши —
только и всего.
Нами
через пропасть
прямо к коммунизму
перекинут мост,
длиною —
вó сто лет.
Что ж,
с мостища с этого
глядим с презрением вниз мы?
Кверху нос задрали?
Загордились?
Нет.

Мы
ничьей башки
мостами не морочим.
Что такое мост?
Приспособленье для простуд.
Тоже...
без домов
не проживете очень
на одном
таком
возвышенном мосту.
В мире социальном
те же непорядки:
три доллара за день,
на —
и отвяжись.
А у Форда сколько?
Что играться в прятки!
Ну, скажите, Ку́лидж, —
разве это жизнь?
Много ль
человеку
(даже Форду)
надо?
Форд —
в мильонах фордов,
сам же Форд — в аршин.
Мистер Форд,
для вашего,
для высохшего зада
разве мало
двух
просторнейших машин?
Лишек —
в М.К.Х.
Повесим ваш портретик.
Монумент
и то бы
вылепили с вас.
Кланялись бы детки,
вас
случайно встретив.

Мистер Форд —
отдайте!
Даст он...
Черта с два!

За палаткой
мир
лежит, угрюм и темен.
Вдруг
ракетой сон
звенит в унынье в это:
«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов...»
Ну, и сон приснит вам
полночь-негодяйка!
Только сон ли это?
Слишком громок сон.
Это
комсомольцы
кемпа «Нит гедайге»
песней
заставляют
плыть в Москву Гудзон.

20/IX — Нью-Йорк.
[1925]

ДОМОЙ!

Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен —
тот,
по-моему,
просто
глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают —
всю ночь надо мною

ногами куют.
Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:
«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...»
А зачем
любить меня Марките?!
У меня
и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)
за́сто франков
препроводят в кабинет.
Небольшие деньги —
поживи для шику —
нет,
интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую
шелка́ стихов.
Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил, —
я ж
с небес
поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне

без него любви.
Все равно —
сослался сам я
или послан к маме —
слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.
Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?
Вот лежу,
уехавший за воды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.

Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тя́гот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спе́ца
получало
любовищу сердце.
Я хочу,
чтоб в конце работы

завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб,
и выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
«Так, мол,
и так...
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»

[1925]

* * *

Первое стихотворение, которое я слышу в исполнении Маяковского, — «Домой».

У него глубокий бархатный бас, поражающий богатством оттенков и сдержанной мощью. Его артикуляция, его дикция безукоризненны, не пропадает ни одна буква, ни один звук.

Одно стихотворение — но сколько в нем смен настроений, ритмов, тембров, темпов и жестов! А строки

Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,

Маркита,
не любишь меня...

он даже напевал на мотив модного вальс-бостона.

Конец же:

Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят —
что ж?!
По родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь, —

он читал спокойно, грустно, все понижая голос, замедляя темп, сводя звук на полное пиано.

Впечатление, произведенное контрастом между всем стихотворением и этими заключительными строками, было так сильно, что я заплакала.

Он читает много, долго. Публика требует, просит. После «Левого марша», который он читает напоследок, шум, крики, аплодисменты сливаются в какой-то невероятный рев. Только когда погашены все огни в зале, темпераментные тифлисцы начинают расходиться.

После театра целой компанией, на фаэтонах, едем ужинать к художнику Кириллу Зданевичу. <...>

Молодой красивый Николай Шенгелая произносит горячий тост. Он говорит о поэзии, читает стихи, пьет за «сына Грузии Владимира Маяковского».

Маяковский слушает серьезно. Медленно наклонив голову, благодарит·

— Мадлобс... Мадлобели вар...

Утомленная этим длинным, сияющим, полным таких ошеломляющих впечатлений днем, я не принимаю участия в шуме, который царит за столом.

— О чем вы думаете, Галенька? — внезапно спрашивает меня Маяковский.

Я думаю о том, что последние строки стихотворения «Домой», которые еще звучат у меня в ушах, какой-то своей безнадежностью, грустью перекликаются с поэзией Есенина.

Я говорю ему это.

Он долго молчит, глядя перед собой, поворачивая своей большой рукой граненый стакан с красным вином. Потом говорит очень тихо, скорее себе, чем мне:

...и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.

— Вот с чем перекликаются эти стихи, детка.

Галина Катанян. «Азорские острова»

ИЗ ПИСЬМА МАЯКОВСКОГО РАВИЧУ

Одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов я приделал такой райский хвостик:

Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят —
что ж?!
По родной стране

пройду стороной,
как проходит
косой дождь.

Несмотря на всю романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал.

* * *

Никакой державный цензор так не расправлялся с Пушкиным, как Владимир Маяковский с самим собой.

Марина Цветаева. «Искусство при свете совести»

Я знаю силу слов...

Хорошее отношение к лошадям

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —

Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шёрсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошлá,
только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

[1918]

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце а́ло.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозля́сь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!

занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,

садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем

у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

[1920]

* * *

Высокий, наголо остриженный, Маяковский, стоя за маленьким столиком, отвечал на груду записок...

Было буднично и жарко. Маяковский пил воду алюминиевым стаканчиком из боржомной бутылки.

И вдруг я слышу в одной из записок упоминание моего имени. Кто-то из публики спрашивает у поэта, огулом упрекавшего в своем выступлении актеров за неумение читать новые стихи, как тот относится к моему чтению.

— Как отношусь? Да никак! — роняет Маяковский. — Я его не знаю.

— А я здесь, — вырывается у меня непроизвольно. Сказал — и сам удивился этому: почему сказал? Зачем? Но дело сделано: камень покатился с горы.

— Это вы, товарищ? — нагибается в оркестр Маяковский. — Так, может, вы сейчас прочтете что-нибудь?

Публика рьяно поддерживает это предложение.

Вихрь противоречивых мыслей проносится в голове. Но желание узнать мнение поэта — сильнее всего. Пусть я устал от проведенного концерта, пусть Маяковский публично раскритикует мое исполнение, — я поднимаюсь на сцену.

Не помню: не то называлось в записке, не то выкрики из публики заказали мне задорное «Солнце в гостях у Маяковского».

— А вы не слышали, как я его читаю? — спрашивает автор.

— Нет, исполнения этого стихотворения не слыхал.

— А вы не обидитесь, если после вас я сделаю свои замечания и прочту его по-своему? — продолжает он.

— Нет, не обижусь. Но вы разрешите и мне сделать свои замечания с точки зрения читателя, — перехожу я в наступление.

Маяковский косится:

— Пожалуйста.

Публика в восторге: аттракцион готов. Состязание на эстраде! Бойцы салютовали друг другу и стали в позицию!..

Итак, я исполняю заказанное стихотворение, кончая его бравурно «под занавес»:

...светить —
и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой —
и солнца!

Публика аплодирует

По совести говоря, читал я в тот раз неважно. Как всякий понимает, впервые читая перед автором, я волновался. От волнения был каким-то растрепанным, несобранным. Маяковский, при желании, мог обойтись со мной достаточно сурово. На эстраде, в полемике, он часто бывал и резким, и беспощадным. Но он был принципиален. Он знал, кого и за что бить. О моем чтении он высказался по-деловому.

Отметил, что «у артиста красивый голос», касательно же исполнения сказал, что «оно все-таки актерское» (он, видимо, считал актерством мою передачу диалога с солнцем). Попутно попрекнул он и Ильинского за то, что тот «свистит солнцу». Пожелал большей ритмической заостренности (сам он читал в «железном ритме»).

В связи с этим любопытно одно наблюдение. Как известно, исполнявшееся мною стихотворение Маяковского написано ямбом, в котором последовательно чередуются стихи четырехстопные и трехстопные. В литературе отмечалось, что здесь дважды мы находим ритмические перебои: так, стих —

медленно и верно

вследствие отсутствия анакрузы (начального неударного слога) имеет вид хореического стиха. Чтение Маяковского выправляло этот мнимый «перебой» ритма. Маяковский изобразительно растягивал произнесение первого слова (чтобы в самой интонации отразить «поступь событий» — медлительность описываемого акта), тогда как второе слово произносил твердо и четко. Таким образом, этот в начер-

тании хореический стих в произнесении поэта уподоблялся прочим ямбическим стихам:

м-эдленно и верно.

Слово жило для Маяковского не только логической, но и «изобразительной» стороной. «Перебой ритма» был знаком смыслового оттенка, ощущавшегося поэтом. Я запомнил это потому, что Маяковский именно этот стих обособленно показал мне на эстраде: «А это так надо читать».

Затем он упрекнул меня за то, что я не сказал заглавия: «У меня заглавие всегда входит конструктивной частью произносимого стихотворения». Это надо учесть исполнителям...

Тогда, в Евпатории, он произнес заглавие повторенного им после меня стихотворения, зычно возгласив первые слоги (выделив их как бы «жирным шрифтом» голоса):

НЕОБЫ

и после чуточной паузы рассыпался петитом:

чайное приключение...

Помнится, Маяковский сказал, что соответственно располагались шрифты при первой публикации вещи. Если это так, приходится пожалеть, что в дальнейших перепечатках это графическое своеобразие пропало. И в данном случае, как и всегда, графика Маяковского отражала интонационные пожелания автора, помогая исполнителю. Вопрос о «букве» Маяковского — это вопрос о мысли Маяковского. За всякой «буквой» у него живые звуки, интонация, мысль. Читал Маяковский превосходно. При этом он отнюдь не «играл» образов. Он с рельефностью

скульптуры передавал смысл произведения в четком каркасе ритма. Бросающейся в слух особенностью было неподражаемое переслаивание повышенного (патетического) тона — тоном разговорным, «низким».

Запомнился смелый оборот, когда после слов «в упор я крикнул солнцу», вместо естественно ожидаемого громкого обращения, поэт говорил «слазь!» простецким и потому уничижительным для солнца тоном. Подобным образом строилась и концовка. После высокопафосного подъема к словам «вот лозунг мой», мощно провозглашаемым, — поэт делал маленькую остановочку и добавлял, как нечто незначительное, — «и солнца», низводя этим светило до роли «энного спутника» к необъятному жизнеутверждающему «я».

Когда поэт кончил, я посетовал, что автор, считая, по-видимому, свою интерпретацию классической, дает так мало знаков для исполнителя. Кто прибегнет к только что показанному поэтом «речевому оксюморону» без особого авторского указания? Кто решится сказать «слазь» противоположно прямому смыслу глагола «крикнул»?

Маяковской ответил, что не считает такое чтение общеобязательным. Видимо, слегка задетый моим замечанием, он добавил примерно так: «Действительно, это пример довольно грубый. Это в балагане, намереваясь посмешить, актер зовет, обращаясь в кулису: цып-цып, а оттуда, вместо ожидаемой крошки, является нарочитый верзила. Но я не всегда читаю одинаково, — смотря по аудитории».

Георгий Артоболевский.
«Встреча на эстраде»

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.

Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.

Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит, когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката, —
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,
не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащённо
у таких, как мы,
на поэтическом песке.
Вред — мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную нуду.
Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.
Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,

ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия —
пресволочнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.
Например,
вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
выплывают
Red и White Star'ы[1]
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика.
Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..

[1] Красные и белые звезды *(англ.)*.

Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
— Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я. —
Было всякое:
и под окном стояние,
пи́сьма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч,
Нет,
не старость этому имя!
Ту́шу
вперед стремя́,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!

Entre nous[1]...
чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
Вы на Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нища́.

---

[1] Между нами *(фр.)*.

Между нами
— вот беда —
позатесался На́дсон.
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!
А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши, —
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?
Вот он
мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни о́тдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой
однаробразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!

Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!
Так...
ничего...
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
— Вот так-то, мол,
и так-то...
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и су́кна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.

(Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с пережавленным.
— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
а состязается —
с Державиным...
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!

Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши *кто* родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести...
пулею сражен...
Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.

Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
— ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!

[1924]

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
как говорится,
в мир в иной.
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом —
не смешок.
Вижу —
взрезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
— Прекратите!
Бросьте!
Вы в своем уме ли?

Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
— Этому вина
то...
да сё...
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина. —
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?
Класс — он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостóв —
стали б
содержанием
премного одарённей.
Вы бы
в день
писали
строк по стó,

утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.

У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов заупокойный лом,
с прошлых
с похорон
не переделавши почти.
В холм
тупые рифмы
загонять колом —
разве так
поэта
надо бы почтить?
Вам
и памятник еще не слит, —
где он,
бронзы звон
или гранита грань? —
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой:
«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха».
Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!

Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
— Не позволю
мямлить стих
и мять! —
Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много —
только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.
Это время —
трудновато для пера,
но скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал

путь,
чтобы протоптанней
и легше?
Слово —
полководец
человечьей силы.
Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.
Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

[1926]

* * *

Есенина я знаю давно — лет десять, двенадцать.

В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточ-

ным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло. Что-то вроде:

— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем... мы уж как-нибудь... по-нашему... в исконной, посконной...

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.

Но малый он был как будто смешной и милый. Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться.

Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал:

— Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак и галстук!

Есенин озлился и пошел задираться. Потом стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться, вроде:

Милый, милый, смешной дуралей... и т. д.

Небо — колокол, месяц — язык... и др.

Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами, и рядом с

Мать моя родина,
Я большевик...

появлялась апология «коровы». Вместо «памятника Марксу» требовался коровий памятник. Не молоконосной корове а ля Сосновский, а корове-символу, корове, упершейся рогами в паровоз.

Мы ругались с Есениным часто, кроя его, главным образом, за разросшийся вокруг него имажинизм.

Потом Есенин уехал в Америку и еще куда-то и вернулся с ясной тягой к новому.

К сожалению, в этот период с ним чаще приходилось встречаться в милицейской хронике, чем в поэзии. Он быстро и верно выбивался из списка здоровых (я говорю о минимуме, который от поэта требуется) работников поэзии.

В эту пору я встречался с Есениным несколько раз, встречи были элегические, без малейших раздоров.

Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина: от имажинизма к ВАППу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Была одна новая черта у самовлюбленнейшего Есенина: он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь.

В этом, по-моему, корень поэтической нервозности Есенина и его недовольства собой, распираемого вином и черствыми и неумелыми отношениями окружающих.

В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам (лефовцам): он шел к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться.

Он обрюзг немного и обвис, но все еще был по-есенински элегантен.

Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и от двух его темных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. С трудом увильнул от немедленного требования пить, подкрепляемого помахиванием густыми червонцами. Я весь день возвращался к его тяжелому виду и вечером, разумеется, долго говорил (к сожалению, у всех и всегда такое дело этим ограничивается) с товарищами, что надо как-то за Есенина взяться. Те и я ругали «среду» и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья-есенинцы.

Оказалось не так. Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подрассеялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.

Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих, именно — стих, подведет под петлю и револьвер.

Маяковский.
Из статьи «Как делать стихи»

* * *

Смерть Есенина имела неожиданные отклики. На литфаке ВХУТЕМАСа повесился крестьянский поэт Федоров, потом еще один — Егор Хвастунов, — на той же веревке, в точности повторив весь ритуал — напиться пьяным и написать перед смертью стихи. Ребята из этого «гнезда самоубийц» передавали друг другу свернутую в колечко веревку:

— Вот она, милая... намыленная еще Егоркой... Ждет нас... Мы еще немного ее подмылим...

Василий А. Катанян.
«Распечатанная бутылка».
Нижний Новгород, 1999 г.

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство.
Спасибо...
не тревожьтесь...
я постою...
У меня к вам
дело
деликатного свойства:
о месте
поэта
в рабочем строю.
В ряду
имеющих
лабазы и угодья
и я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.

Труд мой
любому
труду
родствен.
Взгляните —
сколько я потерял,
какие
издержки
в моем производстве
и сколько тратится
на материал.
Вам,
конечно, известно
явление «рифмы».
Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,
и тогда
через строчку,
слога повторив, мы
ставим
какое-нибудь:
ламцадрица-ца́.
Говоря по-вашему,
рифма —
вексель.
Учесть через строчку! —
вот распоряжение.
И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
склонений
и спряжений.
Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
нажал и сломал.

Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
рифма —
бочка.
Бочка с динамитом.
Строчка —
фитиль.
Строка додымит,
взрывается строчка, —
и город
на воздух
строфой летит.
Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы,
чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
пяток
небывалых рифм
только и остался
что в Венецуэле.
И тянет
меня
в холода и в зной.
Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!
Поэзия
— вся! —
езда в незнаемое.
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради

тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.
Конечно,
различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!
Тянет,
как фокусник,
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Что говорить
о лирических кастратах?!
Строчку
чужую
вставит — и рад.
Это
обычное
воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
сегодня
стихи и оды,
в аплодисментах
ревомые ревмя,
войдут
в историю
как накладные расходы

на сделанное
нами —
двумя или тремя.
Пуд,
как говорится,
соли столовой
съешь
и сотней папирос клуби,
чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианских
людских глубин.
И сразу
ниже
налога рост.
Скиньте
с обложенья
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
В вашей анкете
вопросов масса:
— Были выезды?
Или выездов нет? —
А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последние
15 лет?
У вас —
в мое положение войдите —
про слуг
и имущество
с этого угла.

А что,
если я
народа водитель
и одновре́менно —
народный слуга?
Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.
Машину
души
с годами изнашиваешь.
Говорят:
— в архив,
исписался,
пора! —
Все меньше любится,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега крушит.
Приходит
страшнейшая из амортизаций —
амортизация
сердца и души.
И когда
это солнце
разжиревшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек, —
я
уже
сгнию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.

Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и — знаю — не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз
я буду
— один! —
в непролазном долгу.
Долг наш —
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипеньи.
Поэт
всегда
должник вселенной,
платящий
на горе
проценты
и пени.
Я
в долгу
перед бродвейской лампионией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.
А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы — целься рифмой
и ритмом ярись?
Слово поэта —
ваше воскресение,

ваше бессмертие,
гражданин канцелярист.
Через столетья
в бумажной раме
возьми строку
и время верни!
И встанет
день этот
с фининспекторами,
с блеском чудес
и с вонью чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
в энкапеэс
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
на триста лет!
Но сила поэта
не только в этом,
что, вас
вспоминая,
в грядущем икнут.
Нет!
И сегодня
рифма поэта —
ласка
и лозунг,
и штык,
и кнут.
Гражданин фининспектор,
я выплачу пять,
все
нули
у цифры скрестя!
Я
по праву
требую пядь

в ряду
беднейших
рабочих и крестьян.
А если
вам кажется,
что всего делов —
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стило,
и можете
писать
сами!

[1926]

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
товарищ Уткин.
Мы спорим,
аж глотки просят лужения,
мы
задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение:

давайте,
устроим
веселый обед!

Расстелим внизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого —
отпилим зуб;
розданные
Луначарским
венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый поет
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.
Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи
предоставят слово —
я это слово возьму
и скажу:
— Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзии непролазных.

А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.
Многие
пользуются
напóстовской тряскою,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.
— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские... —
А я, по-вашему, что —
валютчик?
Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии нýдовой.
Засучу рукавчики:
работать?
драться?
Сделай одолжение,
а нý, давай!
Есть
перед нами
огромная работа —
каждому человеку
нужное стихачество.
Давайте работать
до седьмого пота
над поднятием количества,
над улучшением качества.
Я меряю
по коммуне
стихов сорта,

в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.
А в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,
по протекции
не свяжешь
рифм лычки.
Оставим
распределение
орденов и наградных,
бросим, товарищи,
наклеивать ярлычки.
Не хочу
похвастать
мыслью новенькой,
но
по-моему —
утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
это место,
где исчезнут чиновники
и где будет
много
стихов и песен.
Стоит
изумиться
рифмочек парой нам —
мы
почитаем поэтика гением.
Одного
называют

красным Байроном,
другого —
самым красным Гейнем.
Одного боюсь —
за вас и сам, —
чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.
Мы духом одно,
понимаете сами:
по линии сердца
нет раздела.
Если
вы не за нас,
а мы
не с вами,
то черта ль
нам
остается делать?
А если я
вас
когда-нибудь крою
и на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.
Товарищи,
бросим
замашки торгашьи
— моя, мол, поэзия —
мой лабаз! —

всё, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!
Что может быть
капризней славы
и пепельней?
В гроб, что ли,
брать,
когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
в высшей степени
на деньги,
на славу
и на прочую муру!
Чем нам
делить
поэтическую власть,
сгрудим
нежность слов
и слова-бичи,
и давайте
без завистей
и без фамилий
класть
в коммунову стройку
слова-кирпичи.
Давайте,
товарищи,
шагать в ногу.
Нам не надо
брюзжащего
лысого парика!
А ругаться захочется —
врагов много
по другую сторону
красных баррикад.

[1926]

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА МАЯКОВСКОГО ПИСАТЕЛЮ АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ ГОРЬКОМУ

Алексей Максимович,
как помню,
между нами
что-то вышло
вроде драки
или ссоры.
Я ушел,
блестя
потертыми штанами;
взяли Вас
международные рессоры.
Нынче —
иначе.
Сед височный блеск,
и взоры озарённей.
Я не лезу
ни с моралью,
ни в спасатели,
без иронии,
как писатель
говорю с писателем.
Очень жалко мне, товарищ Горький,
что не видно
Вас
на стройке наших дней.
Думаете —
с Капри,
с горки
Вам видней?
Вы
и Луначарский —
похвалы похвальные,
добряки,
а пишущий
бесстыж —

тычет
целый день
свои
похвальные
листы.
Что годится,
чем гордиться?
Продают «Цемент»
со всех лотков.
Вы
такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков
написал
благодарственный молебен о цементе.

Затыкаешь ноздри,
нос наморщишь,
идешь
верстой болотца длинненького.
Кстати,
говорят,
что Вы открыли мощи
этого...
Калинникова.
Мало знать
чистописаниев ремёсла,
расписать закат
или цветенье редьки.
Вот
когда
к ребру душа примерзла,
ты
ее попробуй отогреть-ка!
Жизнь стиха —
тоже тиха.
Что горенья?
Даже
нет и тленья

в их стихе
холодном
и лядащем.
Все
входящие
срифмуют впечатления
и печатают
в журнале
в исходящем.
А рядом
молотобойцев
ана́пестам
учит
профессор Шенге́ли.
Тут
не поймете просто-напросто,
в гимназии вы,
в шинке ли?
Алексей Максимович,
у вас
в Италии
Вы
когда-нибудь
подобное
видали?
Приспособленность
и ласковость дворовой,
деятельность
блюдо-рубле- и тому подобных «лиз»
называют многие
— «здоровый
реализм». —
И мы реалисты,
но не на подножном
корму,
не с мордой, упершейся вниз, —
мы в новом,
грядущем быту,
помноженном
на электричество
и коммунизм.

Одни мы,
как ни хвали́те халтуры,
но, годы на спины грузя,
тащим
историю литературы —
лишь мы
и наши друзья.
Мы не ласкаем
ни глаза,
ни слуха.
Мы —
это Леф,
без истерики —
мы
по чертежам
деловито
и сухо
строим
завтрашний мир.
Друзья —
поэты рабочего класса.
Их знание
невелико́,
но врезал
инстинкт
в оркестр разногласый
буквы
грядущих веков.
Горько
думать им
о Горьком-эмигранте.
Оправдайтесь,
гряньте!
Я знаю —
Вас ценит
и власть
и партия,
Вам дали б всё —
от любви
до квартир.

Прозаики
сели
пред Вами
на парте б:
— Учи!
Верти! —
Или жить вам,
как живет Шаляпин,
раздушенными аплодисментами оляпан?
Вернись
теперь
такой артист
назад
на русские рублики —
я первый крикну:
— Обратно катись,
народный артист Республики! —
Алексей Максимыч,
из-за ваших стекол
виден
Вам
еще
парящий сокол?
Или
с Вами
начали дружить
по саду
ползущие ужи?
Говорили
(объясненья ходкие!),
будто
Вы
не едете из-за чахотки.
И Вы
в Европе,
где каждый из граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютцей!

Не чище ль
наш воздух,
разреженный дважды
грозою
двух революций!
Бросить Республику
с думами,
с бунтами,
лысинку
южной зарей озарив, —
разве не лучше,
как Феликс Эдмундович,
сердце
отдать
временам на разрыв.
Здесь
дела по горло,
рукав по локти,
знамена неба
алы́,
и соколы —
сталь в моторном клёкоте —
глядят,
чтоб не лезли орлы.
Делами,
кровью,
строкою вот этою,
нигде
не бывшею в найме, —
я славлю
взвитое красной ракетою
Октябрьское,
руганное
и пропетое,
пробитое пулями знамя!

[1926]

* * *

Стала я замечать, что Луначарский с нами почти не здоровается. А раньше мы очень были им обласканы. В чем дело? Говорю об этом как-то при Шкловском, а Шкловский и спрашивает: «Ты разве не знаешь, Горький рассказывает всем, что Володя заразил какую-то девушку сифилисом и потом шантажировал ее родителей?»

— Как так?

— А я думал, вы знаете.

Мы удержали Володю за руки, чтобы не бежал прямо бить Горького. Я взяла с собой Витю и поехала объясняться.

Горький болен. Я оставила Шкловского в гостиной, а сама захожу в кабинет — сидит Горький за письменным столом. Перед ним стакан с молоком, белый хлеб. Смотрит на меня вопросительно. Чему бы, кажется, удивляться? Ходил же он раньше к нам в тетку играть, и я не удивлялась.

— Алексей Максимович, тут какое-то недоразумение. Вы рассказываете что-нибудь плохое о Вл. Вл-че?

— Я? Нет, конечно.

— Вы не говорили о нем то-то и то-то?

— Ничего подобного.

Я к двери: «Витя, Ал. Мак. все отрицает. Говорит — ничего подобного». Даже Шкловский возмутился такой наглостью.

— Алексей Максимович, помилуйте, да вы же мне сами говорили.

Горький не ожидал, что Шкловский за дверью.

— Ну что ж, ну и говорил. Я узнал об этом из достовернейшего источника. Мне сказал об этом врач.

— Но как же вы могли ему поверить? Ведь вы же знаете Володю, меня. Как не проверили, не спросили?!

— А какие у меня основания верить вам больше, чем врачу. А если б это и была даже сплетня, я счи-

таю все способы дозволенными для того, чтобы удалить этих прохвостов, издающих и печатающих только самих себя, от министра просвещения Луначарского. А Луначарский хоть и плохой министр, но министр.

В ответ на это я потеряла дар речи и сказала только — тогда дайте мне имя, фамилию и адрес этого доктора.

— Я не помню.

— Так вспомните.

— Сейчас не вспомню. На днях скажу через Шкловского.

Жду неделю, жду две. Посылаю Горькому письмо... Конечно, не было никакого врача в природе. Я рассказала всю историю Луначарскому и просила передать Горькому, что он не бит только благодаря своей старости и болезни.

Лиля Брик. «Горький»

ВЕРЛЕН И СЕЗАНН

Я стукаюсь
о стол,
о шкафа острия —
четыре метра ежедневно мерь.
Мне тесно здесь
в отеле Istria[1] —
на коротышке
rue Campagne-Première[2].
Мне жмет.
Парижская жизнь не про нас —
в бульвары
тоску рассыпай.
Направо от нас —
Boulevard Montparnasse[3],

---

[1] Истриа *(франц.)*.

[2] Название улицы в Париже *(франц.)*

[3] Бульвар Монпарнас *(франц.)*.

налево —
Boulevard Raspail[1].
Хожу и хожу,
не щадя каблука, —
хожу
и ночь и день я, —
хожу трафаретным поэтом, пока
в глазах
не встанут виденья.
Туман — парикмахер,
он делает гениев —
загримировал
одного
бородой —
Добрый вечер, m-r Тургенев.
Добрый вечер, m-me Виардо.
Пошел:
«За что боролись?
А Рудин?..
А вы,
именье
возьми подпальни»...
Мне
их разговор эмигрантский
нуден,
и юркаю
в кафе от скульни.
Да.
Это он,
вот эта сова —
не тронул
великого
тлен.
Приподнял шляпу:
«Comment ça va,
cher camarade Verlaine?[2]
Откуда вас знаю?

---

[1] Бульвар Распай *(франц.)*.

[2] Как поживаете, дорогой товарищ Верлен? *(франц.)*

Вас знают все.
И вот
довелось состукаться.
Лет сорок
вы тянете
свой абсент
из тысячи репродукций.
Я раньше
вас
почти не читал,
а нынче —
вышло из моды, —
и рад бы прочесть —
не поймешь ни черта:
по-русски дрянь —
переводы.
Не злитесь —
со мной,
должно быть, и вы
знакомы
лишь понаслышке.
Поговорим
о пустяках путевых,
о нашенском ремеслишке.
Теперь
плохие стихи —
труха.
Хороший —
себе дороже.
С хорошим
и я б
свои потроха
сложил
под забором
тоже.
Бумаги
гладь
облевывая
пером,
концом губы —
поэт,
как блядь рублевая,

живет
с словцом любым.
Я жизнь
отдать
за сегодня
рад.
Какая это громада!
Вы чуете
слово —
пролетариат? —
ему
грандиозное надо.
Из кожи
надо
вылазить тут,
а нас —
к журнальчикам
премией.
Когда ж поймут,
что поэзия —
труд,
что место нужно
и время ей.
«Лицом к деревне» —
заданье дано, —
за гусли,
поэты-други!
Поймите ж —
лицо у меня
одно —
оно лицо,
а не флюгер.
А тут и ГУС
отверзает уста:
вопрос не решен.
«Который?
Поэт?
Так ведь это ж —
просто кустарь,

простой кустарь,
без мотора».
Перо
такому
в язык вонзи,
прибей
к векам кунсткамер.
Ты врешь.
Еще
не найден бензин,
что движет
сердец кусками.
Идею
нельзя
замешать на воде.
В воде
отсыреет идейка.
Поэт
никогда
и не жил без идей.
Что я —
попугай?
Индейка?
К рабочему
надо
идти серьезней —
недооценили их мы.
Поэты,
покайтесь,
пока не поздно,
во всех
отглагольных рифмах.
У нас
поэт
событья берет —
опишет
вчерашний гул,
а надо
рваться
в завтра,
вперед,

чтоб брюки
трещали
в шагу.
В садах коммуны
— вспомнят о барде —
какие
птицы
зальются им?
Что
будет
с веток
товарищ Вардин
рассвистывать
свои резолюции?!
За глотку возьмем.
«Теперь поори,
несбитая быта морда!»
И вижу,
зависть
зажглась и горит
в глазах
моего натюрморта.
И каплет
с Верлена
в стакан слеза.
Он весь —
как зуб на сверлé.
Тут
к нам
подходит
Поль Сезанн:
«Я
так
напишу вас, Верлен».
Он пишет.
Смотрю,
как краска свежа.
Monsieur,
простите вы меня,
у нас
старикам,
как под хвост вожжа,

бывало
от вашего имени.
Бывало —
сезон,
наш бог — Ван-Гог,
другой сезон —
Сезанн.
Теперь
ушли от искусства
вбок —
не краску любят,
а сан.
Птенцы —
у них
молоко на губах, —
а с детства
к смирению падки.
Большущее имя взяли
АХРР,
а чешут
ответственным
пятки.
Небось
не напишут
мой портрет, —
не трут
понапрасну
кисти.
Ведь то же
лицо как будто, —
ан нет,
рисуют
кто поцекистей.
Сезанн
остановился на линии,
и весь
размерсился — тронутый.
Париж,
фиолетовый,
Париж в анилине,
вставал
за окном «Ротонды».

[1925]

У советских собственная гордость — на буржуев смотрим свысока...

Мое открытие Америки

МЕКСИКА

Два слова. Моя последняя дорога — Москва, Кенигсберг (воздух). Берлин, Париж, Сен-Назер, Жижон, Сантандер, Мыс-ла-Коронь (Испания), Гавана (остров Куба), Вера Круц, Мехико-сити, Ларедо (Мексика), Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Питсбург, Кливленд (Северо-Американские Соединенные Штаты), Гавр, Париж, Берлин, Рига, Москва.

Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг.

Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор — вещи, интересные сами по себе.

Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности.

Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее.

18 дней океана. Океан — дело воображения. И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, — только это воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан скучен. 18 дней мы

ползем, как муха по зеркалу. Хорошо поставленное зрелище было только один раз; уже на обратном пути из Нью-Йорка в Гавр. Сплошной ливень вспенил белый океан, белым заштриховал небо, сшил белыми нитками небо и воду. Потом была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в океане, — и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч. Потом — опять пловучие губки, летучие рыбки, летучие рыбки и опять пловучие губки Сарагоссова моря, а в редкие торжественные случаи — фонтаны китов. И все время надоедающая (даже до тошноты) вода и вода.

Океан надоедает, а без него скушно.

Потом уже долго-долго надо, чтобы гремела вода, чтоб успокаивающе шумела машина, чтоб в такт позванивали медяшки люков.

Пароход «Эспань» 14 000 тонн. Пароход маленький, вроде нашего «ГУМ'а». Три класса, две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета.

Газета «Атлантик». Впрочем, паршивая. На первой странице великие люди: Балиев да Шаляпин, в тексте описание отелей (материал, очевидно, заготовленный на берегу) да жиденький столбец новостей — сегодняшнее меню и последнее радио, вроде: «В Марокко все спокойно».

Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз:

Маркита,
Маркита,
Маркита моя!
Зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...

Классы — самые настоящие. В первом — купцы, фабриканты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди странные: турки по национальности, говорят только по-английски, живут всегда в Мексике, — представители французских фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Это — сегодняшние колонизаторы, мексиканские штучки. Как раньше за грошовые побрякушки спутники и потомки Колумба обирали индейцев, так сейчас за красный галстук, приобщающий негра к европейской цивилизации, на гаванских плантациях сгибают в три погибели краснокожих. Держатся обособленно. В третий и во второй идут только если за хорошенькими девочками. Второй класс — мелкие коммивояжеры, начинающие искусство и стукающая по ремингтонам интеллигенция. Всегда незаметно от боцманов, бочком втираются в палубы первого класса. Станут и стоят, — дескать, чем же я от вас отличаюсь: воротнички на мне те же, манжеты тоже. Но их отличают и почти вежливо просят уйти к себе. Третий — начинка трюмов. Ищущие работы из Одесс всего света — боксеры, сыщики, негры.

Сами наверх не суются. У заходящих с других классов спрашивают с угрюмой завистью: «Вы с преферанса?» Отсюда подымаются спертый запашище пота и сапожищ, кислая вонь просушиваемых пеленок, скрип гамаков и походных кроватей, облепивших всю палубу, зарезанный рев детей и шепот почти по-русски урезонивающих матерей: «Уймись, ты, киса́нка моя, заплака́нная».

Первый класс играет в покер и маджонг, второй — в шашки и на гитаре, третий — заворачивает руку за спину, закрывает глаза, сзади хлопают изо всех сил по ладони, — надо угадать, кто хлопнул из

всей гурьбы, и узнанный заменяет избиваемого. Советую вузовцам испробовать эту испанскую игру.

Первый класс тошнит куда хочет, второй — на третий, а третий — сам на себя.

Событий никаких.

Ходит телеграфист, орет о встречных пароходах. Можете отправить радио в Европу.

А заведующий библиотекой, ввиду малого спроса на книги, занят и другими делами: разносит бумажку с десятью цифрами... Внеси 10 франков и запиши фамилию; если цифра пройденных миль окончится на твою — получай 100 франков из этого морского тотализатора.

Мое незнание языка и молчание было истолковано как молчание дипломатическое, и один из купцов, встречая меня, всегда для поддержки знакомства с высоким пассажиром почему-то орал: «Хорош Плевна» — два слова, заученные им от еврейской девочки с третьей палубы.

Накануне приезда в Гавану пароход оживился. Была дана «Томбола» — морской благотворительный праздник в пользу детей погибших моряков.

Первый класс устроил лотерею, пил шампанское, склонял имя купца Макстона, пожертвовавшего 2000 франков, — имя это было вывешено на доске объявлений, а грудь Макстона под общие аплодисменты украшена трехцветной лентой с его, Макстоновой, фамилией, тисненной золотом.

Третий тоже устроил праздник. Но медяки, кидаемые первым и вторым в шляпы, третий собирал в свою пользу.

Главный номер — бокс. Очевидно, для любящих этот спорт англичан и американцев. Боксировать никто не умел. Противно — бьют морду в жару. В первой паре пароходный кок — голый, щуплый, воло-

сатый француз в черных дырявых носках на голую ногу.

Кока били долго. Минут пять он держался от умения и еще минут двадцать из самолюбия, а потом взмолился, опустил руки и ушел, выплевывая кровь и зубы.

Во второй паре дрался дурак-болгарин, хвастливо открывавший грудь, — с американцем-сыщиком. Сыщика, профессионального боксера, разбирал смех, — он размахнулся, но от смеха и удивления не попал, а сломал собственную руку, плохо сросшуюся после войны.

Вечером ходил арбитр и собирал деньги на поломанного сыщика. Всем объявлялось по секрету, что сыщик со специальным тайным поручением в Мексике, а слечь надо в Гаване, а безрукому никто не поможет, — зачем он американской полиции?

Это я понял хорошо, потому что и американец-арбитр в соломенном шлеме оказался одесским сапожником-евреем.

А одесскому еврею все надо, — даже вступаться за незнакомого сыщика под тропиком Козерога.

Жара страшная.

Пили воду — и зря: она сейчас же выпаривалась пóтом.

Сотни вентиляторов вращались на оси и мерно покачивали и крутили головой — обмахивая первый класс.

Третий класс теперь ненавидел первый еще и за то, что ему прохладнее на градус.

Утром, жареные, печеные и вареные, мы подошли к белой — и стройками и скалами — Гаване. Подлип таможенный катерок, а потом десятки лодок и лодчонок с гаванской картошкой — ананасами. Третий класс кидал деньгу, а потом выуживал ананас веревочкой.

На двух конкурирующих лодках два гаванца ругались на чисто русском языке: «Куда ты прешь со своей ананасиной, мать твою...»

Гавана. Стояли сутки. Брали уголь. В Вера-Круц угля нет, а его надо на шесть дней езды, туда и обратно по Мексиканскому заливу. Первому классу пропуска на берег дали немедленно и всем, с заносом в каюту. Купцы в белой чесуче сбегали возбужденно с дюжинами чемоданчиков — образцов подтяжек, воротничков, граммофонов, фиксатуаров и красных негритянских галстуков. Купцы возвращались ночью пьяные, хвастаясь дареными двухдолларовыми сигарами.

Второй класс сходил с выбором. Пускали на берег нравящихся капитану. Чаще — женщин.

Третий класс не пускали совсем — и он торчал на палубе, в скрежете и грохоте углесосов, в черной пыли, прилипшей к липкому поту, подтягивая на веревочке ананасы.

К моменту спуска полил дождь, никогда не виданный мной тропический дождина.

Что такое дождь?

Это — воздух с прослойкой воды.

Дождь тропический — это сплошная вода с прослойкой воздуха.

Я первоклассник. Я на берегу. Я спасаюсь от дождя в огромнейшем двухэтажном пакгаузе. Пакгауз от пола до потолка начинен «виски». Таинственные подписи: «Кинг Жорж», «Блэк энд уайт», «Уайт хорс» — чернели на ящиках спирта, контрабанды, вливаемой отсюда в недалекие трезвые Соединенные Штаты.

За пакгаузом — портовая грязь кабаков, публичных домов и гниющих фруктов.

За портовой полосой — чистый богатейший город мира.

Одна сторона — разэкзотическая. На фоне зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу, подымая ее за хвост над собственной головой. Другая сторона — мировые табачные и сахарные лимитеды с десятками тысяч негров, испанцев и русских рабочих.

А в центре богатств — американский клуб, десятиэтажный Форд, Клей и Бок — первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов над всеми тремя — над Северной, Южной и Центральной Америкой.

Им принадлежит почти весь гаванский Кузнецкий мост: длинная, ровная, в кафе, рекламах и фонарях Прадо; по всей Ведадо, перед их особняками, увитыми розовым коларио, стоят на ножке фламинго цвета рассвета. Американцев берегут на своих низеньких табуретах под зонтиками стоящие полицейские.

Все, что относится к древней экзотике, красочно поэтично и малодоходно. Например, красивейшее кладбище бесчисленных Гомецов и Лопецов с черными даже днем аллеями каких-то сплетшихся тропических бородатых деревьев.

Все, что относится к американцам, прилажено прилежно и организованно. Ночью я с час простоял перед окнами гаванского телеграфа. Люди разомлели в гаванской жаре, пишут, почти не двигаясь. Под потолком на бесконечной ленте носятся зажатые в железных лапках квитанции, бланки и телеграммы. Умная машина вежливо берет от барышни телеграмму, передает телеграфисту и возвращается от него с последними курсами мировых валют. И в полном контакте с нею, от тех же двигателей вертятся и покачивают головами вентиляторы.

Обратно я еле нашел дорогу. Я запомнил улицу по эмалированной дощечке с надписью «трафико». Как будто ясно — название улицы. Только через ме-

сяц я узнал, что «трафико» на тысячах улиц просто указывает направление автомобилей. Перед уходом парохода я сбежал за журналами. На площади меня поймал оборванец. Я не сразу мог понять, что он просит о помощи. Оборванец удивился:

— Ду ю спик инглиш? Парлата эспаньола? Парле ву франсе?

Я молчал и только под конец сказал ломано, чтоб отвязаться: «Ай эм реша!»

Это был самый необдуманный поступок. Оборванец ухватил обеими руками мою руку и заорал:

— Гип большевик! Ай эм большевик! Гип, гип!

Я скрылся под недоуменные и опасливые взгляды прохожих.

Мы отплывали уже под гимн мексиканцев.

Как украшает гимн людей, — даже купцы стали серьезны, вдохновенно повскакивали с мест и орали что-то вроде:

Будь готов, мексиканец,
вскочить на коня...

К ужину давали незнакомые мне еды — зеленый кокосовый орех с намазывающейся маслом сердцевиной и фрукт манго — шарж на банан, с большой волосатой косточкой.

Ночью я с завистью смотрел пунктир фонарей далеко по правой руке, — это горели железнодорожные огни Флориды.

На железных столбах в третьем классе, к которым прикручивают канаты, сидели вдвоем я и эмигрирующая одесская машинистка. Машинистка говорила со слезой:

— Нас сократили, я голодала, сестра голодала, двоюродный дядька позвал из Америки. Мы сорвались и уже год плаваем и ездим от земли к земле, от города к городу. У сестры — ангина и нарыв. Я звала вашего доктора. Он не пришел, а вызвал к себе. При-

шли, говорит — раздевайтесь. Сидит с кем-то и смеется. В Гаване хотели слезть зайцами — оттолкнули. Прямо в грудь. Больно. Так в Константинополе, так в Александрии. Мы — третьи... Этого и в Одессе не бывало. Два года ждать нам, пока пустят из Мексики в Соединенные Штаты... Счастливый! Вы через полгода опять увидите Россию.

Мексика. Вера-Круц. Жиденький бережок с маленькими низкими домишками. Круглая беседка для встречающих рожками музыкантов.

Взвод солдат учится и марширует на берегу. Нас прикрутили канатами. Сотни маленьких людей в три-четвертиаршинных шляпах кричали, вытягивали до второй палубы руки с носильщическими номерами, дрались друг с другом из-за чемоданов и уходили, подламываясь под огромной клажей. Возвращались, вытирали лицо и орали и клянчили снова.

— Где же индейцы? — спросил я соседа.

— Это индейцы, — сказал сосед.

Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майн-Риду. И вот стою, оторопев, как будто перед моими глазами павлинов переделывают в куриц.

Я был хорошо вознагражден за первое разочарование. Сейчас же за таможней пошла непонятная, своя, изумляющая жизнь.

Первое — красное знамя с серпом и молотом в окне двухэтажного дома.

Ни к каким советским консульствам это знамя никак не относится. Это «организация Проаля». Мексиканец въезжает в квартиру и выкидывает флаг.

Это значит:

«Въехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду». Вот и все.

Попробуй — вышиби.

В крохотной тени от стен и заборов ходят коричневые люди. Можно идти и по солнцу, но тогда тихо, тихо — иначе солнечный удар.

Я узнал об этом поздно и две недели ходил, раздувая ноздри и рот — чтобы наверстать нехватку разреженного воздуха.

Вся жизнь — и дела, и встречи, и еда — всё под холщовыми полосатыми навесами на улицах.

Главные люди — чистильщики сапог и продавцы лотерейных билетов. Чем живут чистильщики сапог — не знаю. Индейцы босые, а если и обуты, то во что-то не поддающееся ни чистке, ни описанию. А на каждого имеющего сапог — минимум 5 чистильщиков.

Но лотерейщиков еще больше. Они тысячами ходят с отпечатанными на папиросной бумаге миллионами выигрышных билетов, в самых мелких купюрах. А наутро уже выигрыши с массой грошовых выдач. Это уже не лотерея, а какая-то своеобразная, полукарточная, азартная игра. Билеты раскупают, как в Москве подсолнухи. В Вера-Круц не задерживаются долго: покупают мешок, меняют доллары, берут мешок с серебром за плечи и идут на вокзал покупать билет в столицу Мексики — Мехико-сити.

В Мексике все носят деньги в мешках.Частая смена правительств (за отрезок времени 28 лет — 30 президентов) подорвала доверие к каким бы то ни было бумажкам. Вот и мешки.

В Мексике бандитизм. Признаюсь, я понимаю бандитов. А вы, если перед вашими носами звенят золотым мешком, разве не покуситесь?

На вокзале увидел вблизи первых военных. Большая шляпа с пером, желтое лицо, шестивершковые усы, палаш до полу, зеленые мундиры и лакированные желтые краги.

Армия Мексики интересна. Никто, и военный министр тоже, не знает, сколько в Мексике солдат. Солдаты под генералами. Если генерал за президента, он, имея тысячу солдат, хвастается десятью ты-

сячами. А получив на десять, продает еду и амуницию девяти.

Если генерал против президента, он щеголяет статистикой в тысячу, а в нужный момент выходит драться с десятью.

Поэтому военный министр на вопрос о количестве войска отвечает:

— Кин сав, кин сав. Кто знает, кто знает. Может, 30 тысяч, но возможно — и сто.

Войско живет по-древнему — в палатках со скарбом, с женами и с детьми.

Скарб, жены и дети этакой махновщиной выступают во время междоусобных войн. Если у одной армии нет патронов, но есть маис, а другие без маиса, но с патронами — армии прерывают сражение, семьи ведут меновую торговлю, одни наедятся маисом, другие наполнят патронами сумки — и снова раздувают бой.

По дороге к вокзалу автомобиль спугнул стаю птиц. Есть чего испугаться.

Гусиных размеров, вороньей черноты, с голыми шеями и большими клювами, они подымались над нами.

Это «зопилоты», мирные вороны Мексики; ихнее дело — всякий отброс.

Отъехали в девять вечера.

Дорога от Вера-Круц до Мехико-сити, говорят, самая красивая в мире. На высоту 3000 метров вздымается она по обрывам, промежду скал и сквозь тропические леса. Не знаю. Не видал. Но и проходящая мимо вагона тропическая ночь необыкновенна.

В совершенно синей, ультрамариновой ночи черные тела пальм — совсем длинноволосые богемцы-художники.

Небо и земля сливаются. И вверху и внизу звезды. Два комплекта. Вверху неподвижные и общедос-

тупные небесные светила, внизу ползущие и летающие звезды светляков.

Когда озаряются станции, видишь глубочайшую грязь, ослов и длинношляпых мексиканцев в «сарапе» — пестрых коврах, прорезанных посередине, чтоб просунуть голову и спустить концы на живот и за спину.

Стоят, смотрят — а двигаться не их дело.

Над всем этим сложный, тошноту вызывающий запах, — странная помесь вони газолина и духа гнили банана и ананаса.

Я встал рано. Вышел на площадку.

Было все наоборот.

Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают.

На фоне красного восхода, сами окропленные красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках вслушивался нопаль, любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал могей. Его перегоняют в полупиво-полуводку — «пульке», спаивая голодных индейцев. А за нопалем и могеем, в пять человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темно-зеленый, в иголках и шишках.

По такой дороге я въехал в Мехико-сити.

НЬЮ-ЙОРК

— Москва. Это в Польше? — спросили меня в американском консульстве Мексики.

— Нет, — отвечал я, — это в СССР.

Никакого впечатления.

Визу дали.

Позднее я узнал, что, если американец заостривает только кончики, так он знает это дело лучше всех на свете, но он может никогда ничего не слы-

хать про иголь ушки. Иголь ушки — не его специальность, и он не обязан их знать.

Ларедо — граница С.А.С.Ш.

Я долго объясняю на ломанейшем (просто осколки) полуфранцузском, полуанглийском языке цели и права своего въезда.

Американец слушает, молчит, обдумывает, не понимает и, наконец, обращается по-русски:

— Ты — жид? — Я опешил.

В дальнейший разговор американец не вступил за неимением других слов.

Помучился и минут через десять выпалил:

— Великороссь?

— Великоросс, великоросс, — обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений. Голый анкетный интерес. Американец подумал и изрек еще через десять минут:

— На комиссию.

Один джентльмен, бывший до сего момента штатским пассажиром, надел форменную фуражку и оказался иммиграционным полицейским.

Полицейский всунул меня и вещи в автомобиль. Мы подъехали, мы вошли в дом, в котором под звездным знаменем сидел человек без пиджака и жилета.

За человеком были другие комнаты с решетками. В одной поместили меня и вещи.

Я попробовал выйти, меня предупредительными лапками загнали обратно.

Невдалеке засвистывал мой нью-йоркский поезд.

Сижу четыре часа.

Пришли и справились, на каком языке буду изъясняться.

Из застенчивости (неловко не знать ни одного языка) я назвал французский.

Меня ввели в комнату.

Четыре грозных дяди и француз-переводчик.

Мне ведомы простые французские разговоры о чае и булках, но из фразы, сказанной мне французом, я не понял ни черта и только судорожно ухватился за последнее слово, стараясь вникнуть интуитивно в скрытый смысл.

Пока я вникал, француз догадался, что я ничего не понимаю, американцы замахали руками и увели меня обратно.

Сидя еще два часа, я нашел в словаре последнее слово француза.

Оно оказалось:

— Клятва.

Клясться по-французски я не умел и поэтому ждал, пока найдут русского.

Через два часа пришел француз и возбужденно утешал меня:

— Русского нашли. Бон гарсон.

Те же дяди. Переводчик — худощавый флегматичный еврей, владелец мебельного магазина.

— Мне надо клясться, — робко заикнулся я, чтобы начать разговор.

Переводчик равнодушно махнул рукой:

— Вы же скажете правду, если не хотите врать, а если же вы захотите врать, так вы же все равно не скажете правду.

Взгляд резонный.

Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов: девичья фамилия матери, происхождение дедушки, адрес гимназии и т. п. Совершенно позабытые вещи!

Переводчик оказался влиятельным человеком, а, дорвавшись до русского языка, я, разумеется, понравился переводчику.

Короче: меня впустили в страну на 6 месяцев как туриста под залог в 500 долларов.

Автошарж «Я зимой. Я летом».1914 — 1915

Д. Д. Бурлюк. 1915

Художник
Г. Б. Якулов. 1917

Лида Чуковская. 1915

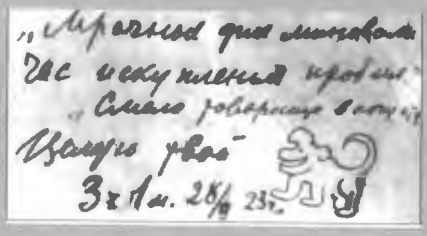
В. В. Хлебников.
1916

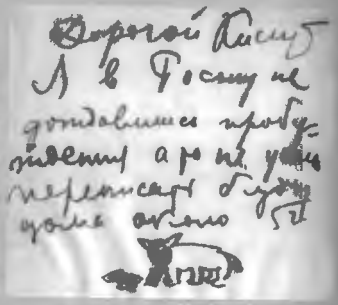
И. Е. Репин. 1915

К. И. Чуковский.
1915.
«Чуковский
в новой шляпе»

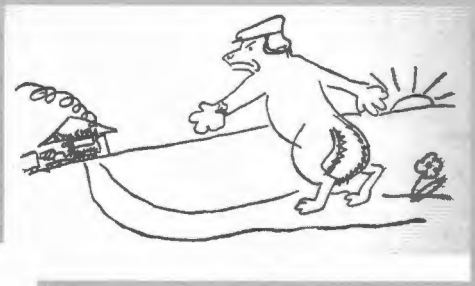
И. Е. Репин и К. И. Чуковский. 1915.
Репин о рисунках Маяковского:
«Какое сходство!.. И какой — не сердитесь на меня — реализм!..»

Л. Е. Брик. 1916



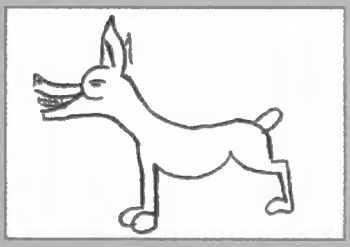


Свои письма и записки к Лиле Брик Маяковский «подписывал» рисунками



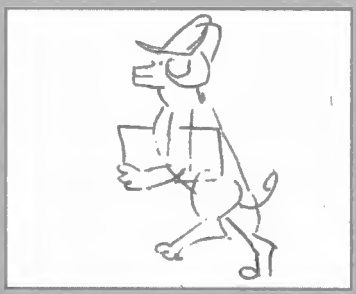
Вот деловой Щен.
Он торопится к поезду...

Веселый, с букетами

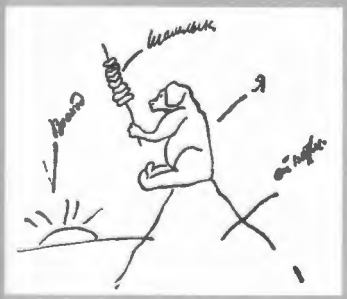


После урока английского языка

В Ростове испортился водопровод, и он пьет только нарзан и даже моется нарзаном



Вот он идет на работу



Вот он в Крыму, на вершине Ай-Петри, с шашлыком в руке

ЛУЧШИХ СОСОК
НЕ БЫЛО И НЕТ
ГОТОВ СОСАТЬ ДО СТАРЫХ ЛЕТ
ПРОДАЮТСЯ ВЕЗДЕ
РЕЗИНОТРЕСТ

Уже через полчаса вся русская колония сбежалась смотреть меня, вперебой поражая гостеприимством.

Владелец маленькой сапожной, усадив на низкий стул для примерок, демонстрировал фасоны башмаков, таскал студеную воду и радовался:

— Первый русский за три года! Три года назад поп заезжал с дочерьми, сначала ругался, а потом (я ему двух дочек в шантан танцевать устроил) говорит: «Хотя ты и жид, а человек симпатичный, значит, в тебе совесть есть, раз ты батюшку устроил».

Меня перехватил бельевщик, продал две рубашки по два доллара по себестоимости (один доллар — рубашка, один — дружба), потом, растроганный, повел через весь городок к себе домой и заставил пить теплое виски из единственного стакана для полоскания зубов — пятнистого и разящего одолью.

Первое знакомство с американским сухим противопитейным законом — «прогибишен». Потом я вернулся в мебельный магазин переводчика. Его брат отстегнул веревочку с ценой на самом лучшем зеленом плюшевом диване магазина, сам сел напротив на другом, кожаном с ярлыком: 99 долларов 95 центов (торговая уловка — чтобы не было «сто»).

В это время вошла четверка грустных евреев: две девушки и двое юношей.

— Испанцы, — укоризненно рекомендует брат. — Из Винницы и из Одессы. Два года сидели на Кубе в ожидании виз. Наконец, доверились аргентинцу — за 250 долларов взявшемуся перевезти.

Аргентинец был солиден и по паспорту имел четырех путешествующих детей. Аргентинцам не нужна виза. Аргентинец перевез в Соединенные Штаты четыреста или шестьсот детей — и вот попался на шестьсот четвертых.

Испанец сидит твердо, за него уже неизвестные сто тысяч долларов в банк кладут — значит, крупный.

А этих брат на поруки взял, только зря — досудят и все равно вышлют.

Это еще крупный промышленник — честный. А тут и мелких много, по сто долларов берутся из мексиканского Ларедо в американский переправить. Возьмут сто, до середины довезут, а потом топят. Многие прямо на тот свет эмигрировали. Это — последний мексиканский рассказ. Рассказ брата о брате, мебельщике, первый — американский. Брат жил в Кишиневе. Когда ему стало 14 лет, он узнал понаслышке, что самые красивые женщины — в Испании. Брат бежал в этот же вечер, потому что женщины были ему нужны самые красивые. Но до Мадрида он добрался только в 17 лет. В Мадриде красивых женщин оказалось не больше, чем в каждом другом месте, но они смотрели на брата даже меньше, чем аптекарши в Кишиневе. Брат обиделся и справедливо решил, что для обращения сияния испанских глаз в его сторону ему нужны деньги. Брат поехал в Америку еще с двумя бродягами, но зато с одной парой башмаков на всех троих. Он сел на пароход, не на тот, на который нужно, а на который сесть удалось. По прибытии Америка неожиданно оказалась Англией, и брат по ошибке засел в Лондоне. В Лондоне трое босых собирали окурки, трое голодных делали из окурочного табаку новые папиросы, а потом один (каждый по очереди), облекшись в башмаки, торговал по набережной. Через несколько месяцев табачная торговля расширилась за пределы окурковых папирос, горизонт расширился до понимания местонахождения Америки и благополучие — до собственных башмаков и до билета третьего класса в какую-то Бразилию. По дороге на пароходе выиграл

в карты некоторую сумму. В Бразилии торговлей и игрой он раздул эту сумму до тысяч долларов.

Тогда, взяв все имевшееся, брат отправился на скачки, пустив деньгу в тотализатор. Нерадивая кобыла поплелась в хвосте, мало беспокоясь об обнищавшем в 37 секунд брате. Через год брат, перемахнув в Аргентину, купил велосипед, навсегда презрев живую натуру.

Насобачившись на велосипеде, неугомонный кишиневец ввязался в велосипедные гонки.

Чтобы быть первым, пришлось сделать маленькую вылазку на тротуар, — минута была выиграна, зато случайно зазевавшаяся старуха свергнута гонщиком в канаву.

В результате весь крупный первый приз пришлось отдать помятой бабушке.

Брат с горя ушел в Мексику и разгадал нехитрый закон колониальной торговли, — надбавка 300: 100% — на наивность, 100% — на расходы и 100% — спертое при рассрочке платежа.

Сбив опять некоторую толику — перешли на американскую, всякой наживе покровительствующую сторону.

Здесь брат не погрязает ни в какое дело, он покупает мыловаренный завод за 6 и перепродает за 9 тысяч. Он берет магазин и передает его, за месяц учуяв крах. Сейчас он — уважаемейшее лицо города: он — председатель десятков благотворительных обществ, он, когда приезжала Павлова, за один ужин заплатил триста долларов.

— Вот он, — показал восхищенный рассказчик на улицу. Брат носился в новом авто, так и так пробуя его; он продавал свою машину за семь и бросался на эту в двенадцать.

На тротуаре подобострастно стоял человек, улыбался, чтобы видели золотые коронки, и, не останавливая глаз, стрелял ими за машиной.

— Это — молодой галантерейщик, — объяснили мне. — Он с братом здесь всего четыре года, а уже два раза в Чикаго за товаром ездил. А брат — ерунда, какой-то греческий, все поэзию пишет, его в соседний город учителем определили, все равно толку не будет. В радости русскому, с фантастическим радушием водил меня мой новый знакомец по улицам Ларедо. Он забегал передо мной, открывая двери, кормил меня длиннейшим обедом, страдал при едином намеке на оплату с моей стороны, вел меня в кино, смотря только на меня и радуясь, если я смеюсь, — все это без малейшего представления обо мне, только за одно слово — москвич.

Мы шли на вокзал по темным пустеньким улицам — по ним, как всегда в провинции, разыгралась свободная административная фантазия. В асфальте (чего я никогда не видел даже в Нью-Йорке) белые полосы точно указывали место перехода граждан, огромные белые стрелки давали направление несуществующим толпам и автомобилям, и за неуместный переход по пустеющим улицам взимался чуть не пятидесятирублевый штраф. На вокзале я понял все могущество мебельного брата. От Ларедо до Сан-Антонио всю ночь будят пассажиров, проверяют паспорта в погоне за безвизными перебежчиками. Но я был показан комиссару, и я безмятежно проспал первую американскую ночь, вселяя уважение пульмановским вагонным неграм.

Утром откатывалась Америка, засвистывал экспресс, не останавливаясь, вбирая хоботом воду на лету. Кругом вылизанные дороги, измурашенные фордами, какие-то строения технической фантастики. На остановках виднелись техасские ковбойские

дома с мелкой сеткой от комаров и москитов в окнах, с диванами-гамаками на огромных террасах. Каменные станции, перерезанные ровно пополам: половина для нас, белых, половина — для черных, «фор нигрос», с собственными деревянными стульями, собственной кассой — и упаси вас даже случайно залезть на чужую сторону!

Поезда бросались дальше. С правого боку взвивался аэро, перелетал на левую, вздымался опять, перемахнув через поезд, и несся опять по правой.

Это — сторожевые пограничные американские аэропланы.

Впрочем, почти единственно виденные мной в Соединенных Штатах.

Следующие я видел только в трехдневных аэрогонках в ночной рекламе над Нью-Йорком.

Как ни странно, авиация развита здесь сравнительно мало.

Могущественные железнодорожные компании даже каждую воздушную катастрофу смакуют и используют для агитации против полетов.

Так было с разорванным пополам (уже в мою бытность в Нью-Йорке) воздушным кораблем Шенандоу, когда тринадцать человек спаслись, а семнадцать вслизились в землю вместе с окрошкой оболочки и стальных тросов.

И вот в Соединенных Штатах почти нет пассажирских полетов.

Может, только сейчас мы накануне летающей Америки. Форд выпустил первый свой аэроплан и поставил его в Нью-Йорке в универсальном магазине Ванамекер, — там, где много лет назад был выставлен первый авто-фордик.

Ньюйоркцы влазят в кабину, дергают хвост, гладят крылья, — но цена в 25 000 долларов еще заставляет отступать широкого потребителя. А пока что

аэропланы взлетали до Сан-Антонио, потом пошли настоящие американские города. Мелькнула американская Волга — Миссисипи, огорошил вокзал в Сан-Луисе, и новью в просветах двадцатиэтажных небоскребов Филадельфии уже сияло настоящее дневное рекламное нежалеемое, неэкономимое электричество.

Это был разбег, чтобы мне не удивляться Нью-Йорку. Больше, чем вывороченная природа Мексики поражает растениями и людьми, ошарашивает вас выплывающий из океана Нью-Йорк своей навороченной стройкой и техникой. Я въезжал в Нью-Йорк с суши, ткнулся лицом только в один вокзал, но хотя и был приучаем трехдневным проездом по Техасу — глаза все-таки растопырил.

Много часов поезд летит по Гудзонову берегу шагах в двух от воды. По той стороне — другие дороги у самого подножья Медвежьих гор. Гуще прут пароходы и пароходики. Чаще через поезд перепрыгивают мосты. Непрерывней прикрывают вагонные окна встающие стены — пароходных доков, угольных станций, электрических установок, сталелитейных и медикаментных заводов. За час до станции въезжаешь в непрерывную гущу труб, крыш, двухэтажных стен, стальных ферм воздушной железной дороги. С каждым шагом на крыши нарастает по этажу. Наконец дома подымаются колодезными стенками с квадратами, квадратиками и точками окон. Сколько ни задирай головы — нет верхов. От этого становится еще теснее, как будто щекой трешься об этот камень. Растерянный, опускаешься на скамейку — нет надежд, глаза не привыкли видеть такое; тогда остановка — Пенсильвэния-стэйшен.

На платформе — никого, кроме негров-носильщиков. Лифты и лестницы вверх. Вверху — несколь-

ко ярусов галерей, балконов с машущими платками встречающей и провожающей массы.

Американцы молчат (или, может быть, люди только кажутся такими в машинном грохоте), а над американцами гудят рупоры и радио о прибытиях и отправлениях.

Электричество еще двоится и троится белыми плитками, выстилающими безоконные галереи и переходы, прерывающиеся справочными бюро, целыми торговыми рядами касс и никогда не закрывающимися всеми магазинами — от мороженных и закусочных до посудных и мебельных.

Едва ли кто-нибудь представляет себе ясно целиком весь этот лабиринт. Если вы приехали по делу в контору, находящуюся версты за три в Дантауне — в банковском, деловом Нью-Йорке, в каком-нибудь пятьдесят третьем этаже Вульворт Бильдинг, и у вас совиный характер — вам незачем вылазить из-под земли. Здесь же, под землей, вы садитесь в вокзальный лифт, и он взвивает вас в вестибюль Пенсильвэния-отель, гостиницы с двумя тысячами всевозможных номеров.

Все, что нужно торгующему гражданину: почты, банки, телеграфы, любые товары — все найдешь здесь, не выходя за пределы отеля.

Здесь же сидят какие-то смышленые маменьки с недвусмысленными дочерьми.

Иди танцуй.

Шум и табачный чад, как в долгожданном антракте громадного театра после длинной скучной пьесы.

Тот же лифт опустит вас к подземке (сабвей), берите экспресс, который рвет версты почище поезда. Слезаете вы в нужном вам доме. Лифт завинчивает вас в нужный этаж без всяких выходов на улицу. Та же дорога вывертит вас обратно на вокзал, под пото-

лок-небо пенсильванского вокзала, под голубое небо, по которому уже горят Медведицы, Козерог и прочая астрономия. И сдержанный американец может ехать в ежеминутных поездах к себе на дачную качалку-диван, даже не взглянув на гоморный и содомный Нью-Йорк.

Еще поразительнее возвышающийся несколькими кварталами вокзал Гранд-Централ.

Поезд несется по воздуху на высоте трех-четырех этажей. Дымящий паровоз сменен чистеньким, не плюющимся электровозом, — и поезд бросается под землю. С четверть часа под вами еще мелькают увитые зеленью решетки просветов аристократической тихой Парк-Авеню. Потом и это кончается, и полчаса длится подземный город с тысячами сводов и черных тоннелей, заштрихованных блестящими рельсами, долго бьется и висит каждый рев, стук и свист. Белые блестящие рельсы становятся то желтыми, то красными, то зелеными от меняющихся семафоров. По всем направлениям — задушенная сводами, кажущаяся путаница поездов. Говорят, что наши эмигранты, приехавшие из тихой русской Канады, сначала недоумевающе вперяются в окно, а потом начинают реветь и голосить:

— Пропали, братцы, живьем в могилу загнали, куда ж отсюда выберешься?

Приехали.

Над нами ярусы станционных помещений, под залами — этажи служб, вокруг — необозримое железо дорог, а под нами еще подземное трехэтажие саббея.

В одном из фельетонов «Правды» товарищ Поморский скептически высмеял вокзалы Нью-Йорка и поставил им в пример берлинские загоны — Цоо и Фридрихштрассе.

Не знаю, какие личные счеты у товарища Поморского с нью-йоркскими вокзалами, не знаю и технических деталей, удобства и пропускных способностей, но внешне — пейзажно, по урбанистическому ощущению, нью-йоркские вокзалы — один из самых гордых видов мира.

Я люблю Нью-Йорк в осенние деловые дни, в будни.

6 утра. Гроза и дождь. Темно и будет темно до полудня.

Одеваешься при электричестве, на улицах — электричество, дома в электричестве, ровно прорезанные окнами, как рекламный плакатный трафарет. Непомерная длина домов и цветные мигающие регуляторы, движения двоятся, троятся и десятерятся асфальтом, до зеркала вылизанным дождем. В узких ущельях домов в трубе гудит какой-то авантюристичный ветер, срывает, громыхает вывесками, пытается свалить с ног и убегает безнаказанный, никем не задержанный, сквозь версты десятка авеню, прорезывающих Мангеттен (остров Нью-Йорка) вдоль — от океана к Гудзону. С боков подвывают грозе бесчисленные голосенки узеньких стритов, также по линеечному ровно режущих Мангеттен поперек от воды к воде. Под навесами, — а в бездождный день просто на тротуарах, — валяются кипы свежих газет, развезенные грузовиками заранее и раскиданные здесь газетчиками.

По маленьким кафе холостые пускают в ход машины тел, запихивают в рот первое топливо — торопливый стакан паршивого кофе и заварной бублик, который тут же в сотнях экземпляров кидает бубликоделательная машина в кипящий и плюющийся котел сала.

Внизу сплошной человечиной течет, сначала до зари — черно-лиловая масса негров, выполняющих самые трудные, мрачные работы. Позже, к семи — непрерывно белые. Они идут в одном направлении сотнями тысяч к местам своих работ. Только желтые просмоленные дождевики бесчисленными самоварами шумят и горят в электричестве, намокшие, и не могут потухнуть даже под этим дождем.

Автомобилей, такси еще почти нет.

Толпа течет, заливая дыры подземок, выпирая в крытые ходы воздушных железных дорог, несясь по воздуху двумя по высоте и тремя параллельными воздушными курьерскими, почти безостановочными, и местными, через каждые пять кварталов останавливающимися поездами.

Эти пять параллельных линий по пяти авеню несутся на трехэтажной высоте, а к 120-й улице вскарабкиваются до восьмого и девятого, — и тогда новых, едущих прямо с площадей и улиц, вздымают лифты. Никаких билетов. Опустил в высокую, тумбой, копилку-кассу 5 центов, которые тут же увеличивает лупа и показывает сидящему в будке меняле, во избежание фальши.

5 центов — и езжай на любое расстояние, но в одном направлении.

Фермы и перекрытия воздушных дорог часто ложатся сплошным навесом во всю длину улицы, и вам не видно ни неба, ни боковых домов, — только грохот поездов по голове да грохот грузовозов перед носом, — грохот, в котором действительно не разберешь ни слова и, чтобы не разучиться шевелить губами, остается безмолвно жевать американскую жвачку, чуингам.

Утром и в грозу лучше всего в Нью-Йорке — тогда нет ни одного зеваки, ни одного лишнего. Только

работники великой армии труда десятимиллионного города.

Рабочая масса расползается по фабрикам мужских и дамских платьев, по новым роющимся тоннелям подземок, по бесчисленности портовых работ — и к 8 часам улицы заполняются бесчисленностью более чистых и холеных, с подавляющей примесью стриженых, голоколенных, с закрученными чулками сухопарых девиц — работниц контор и канцелярий и магазинов. Их раскидывают по всем этажам небоскребов Дантауна, по бокам коридоров, в которые ведет парадный ход десятков лифтов.

Десятки лифтов местного сообщения с остановкой в каждом этаже и десятки курьерских — без остановок до семнадцатого, до двадцатого, до тридцатого. Своеобразные часы указывают вам этаж, на котором сейчас лифт, — лампы, отмечающие красным и белым спуск и подъем.

И если у вас два дела — одно в седьмом, другое — в двадцать четвертом этаже, — вы берете местный (локал) до седьмого, и дальше, чтобы не терять целых шести минут, — пересядьте в экспресс.

До часу стрекочут машины, потеют люди без пиджаков, растут в бумагах столбцы цифр.

Если вам нужна контора, незачем ломать голову над ее устройством.

Вы звоните в какое-нибудь тридцатиэтажие:

— Алло! Приготовить к завтраму контору в 6 комнат. Посадить двенадцать машинисток. Вывеска — «Великая и знаменитая торговля сжатым воздухом для тихоокеанских подводных лодок». Два боя в коричневых гусарках — шапки со звездными лентами, и двенадцать тысяч бланков, вышеупомянутого названия.

— Гуд бай.

Завтра вы можете идти в свою контору, и ваши телефонные мальчики будут вас восторженно приветствовать:

— Гау-ду-ю-ду, мистер Маяковский.

В час перерыв: на час для служащих и минут на пятнадцать для рабочих.

Завтрак.

Каждый завтракает в зависимости от недельной зарплаты. Пятнадцатидолларовые — покупают сухой завтрак в пакете за никель и грызут его со всем молодым усердием.

Тридцатипятидолларовые идут в огромный механический трактир, всунув 5 центов, нажимают кнопку, и в чашку выплескивается ровно отмеренный кофе, а еще два-три никеля открывают на огромных, уставленных едой полках одну из стеклянных дверок сандвичей.

Шестидесятидолларовые — едят серые блины с патокой и яичницу по бесчисленным белым, как ванная, Чайльдсам — кафе Рокфеллера.

Стодолларовые и выше идут по ресторанам всех национальностей — китайским, русским, ассирийским, французским, индусским, — по всем, кроме американских безвкусных, обеспечивающих катары консервированным мясом Армора, лежащим чуть не с войны за освобождение.

Стодолларовые едят медленно — они могут и опоздать на работу, — и после ухода их под столом валяются пузырьки от восьмидесятиградусного виски (это прихваченный для компании); другой стеклянный или серебряный пузырек, плоский и формой облегающий ляжку, лежит в заднем кармане оружием любви и дружбы наравне с мексиканским кольтом.

Как ест рабочий?

Плохо ест рабочий.

Многих не видел, но те, кого видел, даже хорошо зарабатывающие, в пятнадцатиминутный перерыв успевают сглодать у станка или перед заводской стеной на улице свой сухой завтрак.

Кодекс законов о труде с обязательным помещением для еды пока на Соединенные Штаты не распространился.

Напрасно вы будете искать по Нью-Йорку карикатурной, литературой прославленной организованности, методичности, быстроты, хладнокровия.

Вы увидите массу людей, слоняющихся по улице без дела. Каждый остановится и будет говорить с вами на любую тему. Если вы подымете глаза к небу и постоите минуту, вас окружит толпа, с трудом усовещеваемая полицейским. Способность развлекаться чем-нибудь иным, кроме биржи, сильно мирит меня с нью-йоркской толпой.

Снова работа до пяти, шести, семи вечера.

От пяти до семи самое бушующее, самое непроходимое время.

Окончившие труд еще разбавлены покупщиками, покупщицами и просто фланерами.

На люднейшей 5-й авеню, делящей город пополам, с высоты второго этажа сотней катящихся автобусов вы видите политые прошедшим дождем и теперь сияющие лаком десятки тысяч в шесть-восемь рядов рвущихся в обе стороны автомобилей.

Каждые две минуты тушатся зеленые огни на бесчисленных уличных полицейских маяках и загораются красные.

Тогда машинный и человечий поток застывает на две минуты, чтобы пропустить рвущихся с боковых стритов.

Через две минуты опять на маяках загорается зеленый огонь, а дорогу боковым преграждает красный огонь на углах стритов.

Пятьдесят минут надо в этот час потратить на поездку, которая утром отняла бы четверть часа, и по две минуты надо простаивать пешеходу без всякой надежды пересечь немедля улицу.

Когда вы запаздываете перебежать и видите срывающуюся с цепи отстоявшую две минуты машинную лавину, вы, забыв про убеждения, скрываетесь под полицейское крыло, — крыло, так сказать: на самом деле это — хорошая рука одного из самых высоких людей Нью-Йорка с очень увесистой палкой — клобом.

Эта палка не всегда регулирует чужое движение. Иногда она (во время демонстрации, например) — способ вашей остановки. Добрый удар по затылку, и вам все равно: Нью-Йорк ли это или царский Белосток, — так рассказывали мне товарищи.

С шести-семи загорается Бродвей — моя любимейшая улица, которая в ровных, как тюремная решетка, стритах и авеню одна своенравно и нахально прет навкось. Запутаться в Нью-Йорке трудней, чем в Туле. На север с юга идут авеню, на запад с востока — стриты. 5-я авеню делит город пополам на Вест и Ист. Вот и все. Я на 8-й улице, угол 5-й авеню, мне нужна 53-я, угол 2-й, значит, пройди 45 кварталов и сверни направо, до угла 2-й.

Загорается, конечно, не весь тридцативерстный Бродвеище (здесь не скажешь: заходите, мы соседи, оба на Бродвее), а часть от 25-й до 50-й улицы, особенно Таймс-сквер, — это, как говорят американцы, Грэт-Уайт-Уэй — великий белый путь.

Он действительно белый, и ощущение действительно такое, что на нем светлей, чем днем, так как день весь светел, а этот путь светел, как день, да еще на фоне черной ночи. Свет фонарей для света, свет бегающих лампочками реклам, свет зарев витрин и окон никогда не закрывающихся магазинов, свет

ламп, освещающих огромные малеванные плакаты, свет, вырывающийся из открывающихся дверей кино и театров, несущийся свет авто и элевейтеров, мелькающий под ногами в стеклянных окнах тротуаров свет подземных поездов, свет рекламных надписей в небе.

Свет, свет и свет.

Можно читать газету, и притом у соседа, и на иностранном языке.

Светло и в ресторанах, и в театральном центре.

Чисто на главных улицах и в местах, где живут хозяева или готовящиеся к этому.

Там, куда развозят большинство рабочих и служащих, в бедных еврейских, негритянских, итальянских кварталах — на 2-й, на 3-й авеню, между первой и тридцатой улицами, — грязь почище минской. В Минске очень грязно.

Стоят ящики со всевозможными отбросами, из которых нищие выбирают не совсем объеденные кости и куски. Стынут вонючие лужи и сегодняшнего и позавчерашнего дождя.

Бумага и гниль валяются по щиколку — не образно по щиколку, а по-настоящему, всамделишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от блестящей 5-й авеню и Бродвея.

Ближе к пристаням еще темней, грязней и опасней.

Днем это интереснейшее место. Здесь что-нибудь обязательно грохочет — или труд, или выстрелы, или крики. Содрогают землю краны, разгружающие пароход, чуть не целый дом за трубу выволакивающие из трюма.

Ходят пикетчики в забастовку, не допуская штрейкбрехеров.

Сегодня, 10 сентября, нью-йоркский юнион моряков порта объявил забастовку в солидарность бас-

тующим морякам Англии, Австралии и Южной Африки, и в первый же день приостановилась выгрузка 30 огромных пароходов.

Третьего дня, несмотря на забастовку, на пароходе «Мажестик», приведенном штрейкбрехерами, приехал богатый адвокат, лидер (здешних меньшевиков) социалистической партии Морис Хилквит, и тысячи коммунистов и членов Ай-добль-добль-ю свистели ему с берега и кидали тухлые яйца.

Еще через несколько дней здесь стреляли в приехавшего на какой-то конгресс генерала — усмирителя Ирландии, — и его выводили задворками.

А утром снова входят и разгружаются по бесчисленным пристаням бесчисленных компаний «Ля Франс» «Аквитания» и другие гиганты по 50 000 тонн.

Авеню, прилегающие к пристаням, из-за паровозов, въезжающих с товарами прямо на улицу, из-за грабителей, начиняющих кабачки, — зовутся здесь «Авеню смерти».

Отсюда поставляются грабители-голдапы на весь Нью-Йорк: в отели вырезывать из-за долларов целые семьи, в собвей — загонять кассиров в угол меняльной будки и отбирать дневную выручку, меняя доллары проходящей, ничего не подозревающей публике.

Если поймают — электрический стул тюрьмы Синг-Синг. Но можно и вывернуться. Идя на грабеж, бандит заходит к своему адвокату и заявляет:

— Позвоните мне, сэр, в таком-то часу туда-то. Если меня не будет, значит надо нести за меня залог и извлекать из узилища.

Залоги большие, но и бандиты не маленькие и организованы неплохо.

Выяснилось, например, что дом, оцененный в двести тысяч долларов, уже служит залогом в два миллиона, уплаченных за разных грабителей.

В газетах писали об одном бандите, вышедшем из тюрьмы под залог 42 раза. Здесь на Авеню смерти орудуют ирландцы. По другим кварталам другие.

Негры, китайцы, немцы, евреи, русские — живут своими районами со своими обычаями и языком, десятилетия сохраняясь в несмешанной чистоте.

В Нью-Йорке, не считая пригородов, 1 700 000 евреев (приблизительно),

1 000 000 итальянцев,
500 000 немцев,
300 000 ирландцев,
300 000 русских,
250 000 негров,
150 000 поляков,
300 000 испанцев, китайцев, финнов.

Загадочная картинка: кто же такие, в сущности говоря, американцы, и сколько их стопроцентных?

Сначала я делал дикие усилия в месяц заговорить по-английски; когда мои усилия начали увенчиваться успехом, то близлежащие (близстоящие, сидящие) и лавочник, и молочник, и прачечник, и даже полицейский — стали говорить со мной по-русски.

Возвращаясь ночью элевейтером, эти нации и кварталы видишь как нарезанные: на 125-й встают негры, на 90-й русские, на 50-й немцы и т. д., почти точно.

В двенадцать выходящие из театров пьют последнюю соду, едят последний айскрим и лезут домой в час или в три, если часа два потрутся в фокстроте или последнем крике «чарлстон». Но жизнь не прекращается, — так же открыты всех родов магазины, так же носятся собвей и элевейтеры, так же можете найти кино, открытое всю ночь, и спите сколько влезет за ваши 25 центов.

Придя домой, если весной и летом, закройте окна от комаров и москитов и вымойте уши и ноздри и откашляйте угольную пыль. Особенно сейчас, когда четырехмесячная забастовка 158 000 шахтеров твердого угля лишила город антрацита и трубы фабрик коптят обычно запрещенным к употреблению в больших городах мягким углем.

Если вы исцарапались, залейтесь иодом: воздух нью-йоркский начинен всякой дрянью, от которой растут ячмени, вспухают и гноятся все царапины и которым все-таки живут миллионы ничего не имеющих и не могущих никуда выехать.

Я ненавижу Нью-Йорк в воскресенье: часов в 10 в одном лиловом трико подымает штору напротив какой-то клерк. Не надевая, видимо, штанов, садится к окну с двухфунтовым номером в сотню страниц — не то «Ворлд», не то «Таймса». Час читается сначала стихотворный и красочный отдел реклам универсальных магазинов (по которому составляется среднее американское миросозерцание), после реклам просматриваются отделы краж и убийств.

Потом человек надевает пиджак и брюки, из-под которых всегда выбивается рубаха. Под подбородком укрепляется раз навсегда завязанный галстук цвета помеси канарейки с пожаром и Черным морем. Одетый американец с час постарается посидеть с хозяином отеля или со швейцаром на стульях на низких приступочках, окружающих дом, или на скамейках ближайшего лысого скверика.

Разговор идет про то, кто ночью к кому приходил, не слышно ли было, чтобы пили, а если приходили и пили, то не сообщить ли о них на предмет изгона и привлечения к суду прелюбодеев и пьяниц.

К часу американец идет завтракать туда, где завтракают люди богаче его и где его дама будет млеть

и восторгаться над пулярдкой в 17 долларов. После этого американец идет в сотый раз в разукрашенный цветными стеклами склеп генерала и генеральши Грант или, скинув сапоги и пиджак, лежать в каком-нибудь скверике на прочитанном полотнище «Таймса», оставив после себя обществу и городу обрывки газеты, обертку чуингама и мятую траву.

Кто богаче — уже нагоняет аппетит к обеду, правя своей машиной, презрительно проносясь мимо дешевых и завистливо кося глаза на более роскошные и дорогие.

Особенную зависть, конечно, вызывают у безродных американцев те, у кого на автомобильной дверце баронская или графская золотая коронка.

Если американец едет с дамой, евшей с ним, он целует ее немедля и требует, чтобы она целовала его. Без этой «маленькой благодарности» он будет считать доллары, уплаченные по счету, потраченными зря и больше с этой неблагодарной дамой никуда и никогда не поедет, — и саму даму засмеют ее благоразумные и расчетливые подруги.

Если американец автомобилирует один, он (писаная нравственность и целомудрие) будет замедлять ход и останавливаться перед каждой одинокой хорошенькой пешеходкой, скалить в улыбке зубы и зазывать в авто диким вращением глаз. Дама, не понимающая его нервозности, будет квалифицироваться как дура, не понимающая своего счастия, возможности познакомиться с обладателем стосильного автомобиля.

Дикая мысль — рассматривать этого джентльмена как спортсмена. Чаще всего он умеет только править (самая мелочь), а в случае поломки — не будет даже знать, как накачать шину или как поднять домкрат. Еще бы — это сделают за него бесчислен-

ные починочные мастерские и бензинные киоски на всех путях его езды.

Вообще, в спортсменство Америки я не верю. Спортом занимаются главным образом богатые бездельницы.

Правда, президент Кулидж даже в своей поездке ежечасно получает телеграфные реляции о ходе бейсбольных состязаний между питсбургской командой и вашингтонской командой «сенаторов»; правда, перед вывешенными бюллетенями о ходе футбольных состязаний народу больше, чем в другой стране перед картой военных действий только что начавшейся войны, — но это не интерес спортсменов, это — хилый интерес азартного игрока, поставившего на пари свои доллары за ту или другую команду.

И если рослы и здоровы футболисты, на которых глядит тысяч семьдесят человек огромного нью-йоркского цирка, то семьдесят тысяч зрителей, это — в большинстве тщедушные и хилые люди, среди которых я кажусь Голиафом.

Такое же впечатление оставляют и американские солдаты, кроме вербовщиков, выхваляющих перед плакатами привольную солдатскую жизнь. Недаром эти холеные молодцы в минувшую войну отказывались влезть во французский товарный вагон (40 человек или 8 лошадей) и требовали мягкий, классный.

Автомобилисты и из пешеходов побогаче и поизысканнее в 5 часов гонят на светский или полусветский файф-о-клок.

Хозяин запасся бутылками матросского «джина» и лимонада «Джиннер Эйл», и эта помесь дает американское шампанское эпохи прогибишена.

Приходят девицы с завороченными чулками, стенографистки и модели.

Вошедшие молодые люди и хозяин, влекомые жаждой лирики, но мало разбирающиеся в ее тонкостях, острят так, что покраснеют и пунцовые пасхальные яйца, а потеряв нить разговора, похлопывают даму по ляжке с той непосредственностью, с которой, потеряв мысль, докладчик постукивает папиросой о портсигар.

Дамы показывают колени и мысленно прикидывают, сколько стоит этот человек.

Чтоб файф-о-клок носил целомудренный и артистический характер — играют в покер или рассматривают последние приобретенные хозяином галстуки и подтяжки. Потом разъезжаются по домам.

Переодевшись, направляются обедать.

Люди победнее (не бедные, а победнее) едят получше, богатые — похуже. Победнее едят дома свежекупленную еду, едят при электричестве, точно давая себе отчет в проглачиваемом.

Побогаче — едят в дорогих ресторанах поперченную портящуюся или консервную заваль, едят в полутьме потому, что любят не электричество, а свечи. Эти свечи меня смешат.

Все электричество принадлежит буржуазии, а она ест при огарках.

Она неосознанно боится своего электричества.

Она смущена волшебником, вызвавшим духов и не умеющим с ними справиться.

Такое же отношение большинства и к остальной технике.

Создав граммофон и радио, они откидывают его плебсу, говорят с презрением, а сами слушают Рахманинова, чаще не понимают, но делают его почетным гражданином какого-то города и преподносят ему в золотом ларце — канализационных акций на сорок тысяч долларов.

Создав кино, они отшвыривают его демосу, а сами гонятся за оперными абонементами в опере, где жена фабриканта Мак-Кормик, обладающая достаточным количеством долларов, чтобы делать все, что ей угодно, ревет белугой, раздирая вам уши. А в случае неосмотрительности капельдинеров закидывается гнилым яблоком и тухлым яйцом.

И даже когда человек «света» идет в кино, он бессовестно врет вам, что был в балете или в голом ревю.

Миллиардеры бегут с зашумевшей машинами, громимой толпами 5-й авеню, бегут за город в пока еще тихие дачные углы.

— Не могу же я здесь жить, — капризно сказала мисс Вандербильд, продавая за 6 000 000 долларов свой дворец на углу 5-й авеню и 53-й улицы, — не могу я здесь жить, когда напротив Чайльдс, справа — булочник, а слева — парикмахер.

После обеда состоятельным — театры, концерты и обозрения, — где билет первого ряда на голых дам стоит 10 долларов. Дуракам — прогулка в украшенном фонариками автомобиле в китайский квартал, где будут показывать обыкновенные кварталы и дома, в которых пьется обыкновеннейший чай — только не американцами, а китайцами.

Парам победнее — многоместный автобус на «Кони-Айланд» — Остров Увеселений. После долгой езды вы попадаете в сплошные русские (у нас американские) горы, высоченные колеса, вздымающие кабины, таитянские киоски, с танцами и фоном — фотографией острова, чертовы колеса, раскидывающие ступивших, бассейны для купающихся, катание на осликах — и все это в таком электричестве, до которого не доплюнуть и ярчайшей международной парижской выставке.

В отдельных киосках собраны все отвратительнейшие уроды мира — женщина с бородой, чело-

век-птица, женщина на трех ногах и т. п. — существа, вызывающие неподдельный восторг американцев.

Здесь же постоянно меняющиеся, за грош нанимаемые голодные женщины, которых засовывают в ящик, демонстрируя безболезненное прокалывание шпагами; других сажают на стул с рычагами и электрифицируют, пока от их прикосновения к другому не посыплются искры.

Никогда не видел, чтобы такая гадость вызывала бы такую радость.

Кони-Айланд — приманка американского девичества.

Сколько людей целовалось в первый раз по этим вертящимся лабиринтам и окончательно решало вопрос о свадьбе в часовой обратной поездке собвеем до города!

Таким идиотским карнавалом кажется, должно быть, счастливая жизнь нью-йоркским влюбленным.

Выходя, я решил, что неудобно покинуть луна-парк, не испытав ни одного удовольствия. Мне было все равно, что делать, и я начал меланхолически накидывать кольца на вертящиеся фигурки кукол.

Я предварительно осведомился о цене удовольствия. Восемь колец — 25 центов.

Кинув колец шестнадцать, я благородно протянул доллар, справедливо рассчитывая половину получить обратно.

Торговец забрал доллар и попросил показать ему мою мелочь. Не подозревая ничего недоброго, я вынул из кармана доллара на три центов.

Колечник сгреб мелочь с ладони в карман и на мои возмущенные возгласы ухватил меня за рукав, потребовав предъявления бумажек. В удивлении, я вытащил имеющиеся у меня десять долларов, кото-

рые моментально сграбастал ненасытный увеселитель, — и только после мольб моих и моих спутников он выдал мне 50 центов на обратный путь.

Итого, по утверждению владельца милой игрушки, я должен был закинуть двести сорок восемь колец, т. е., считая даже по полминуты на каждое, проработать больше двух часов.

Никакая арифметика не помогла, а на мою угрозу обратиться к полицейскому мне было отвечено долго не смолкавшим грохотом хорошего, здорового смеха.

Полицейский, должно быть, усвоил себе из этой суммы — колец сорок.

Позднее мне объяснили американцы, что продавца надо было бить правильным ударом в нос, еще не получив и требования на второй доллар.

Если вам и тогда не возвращают денег, то все же уважают вас как настоящего американца, веселого «аттабоя».

Воскресная жизнь кончается часа в два ночи, и вся трезвая Америка, довольно пошатываясь, во всяком случае, возбужденно идет домой.

Черты нью-йоркской жизни трудны. Легко наговорить ни к чему не обязывающие вещи, избитые, об американцах вроде: страна долларов, шакалы империализма и т. д.

Это только маленький кадр из огромной американской фильмы.

Страна долларов — это знает каждый ученик первой ступени. Но если при этом представляется та погоня за долларом спекулянтов, которая была у нас в 1919 году во время падения рубля, которая была в Германии в 1922 году во время тарахтения марки, когда тысячники и миллионеры утром не ели булки в надежде, что к вечеру она подешевеет, то такое представление будет совершенно неверным.

Скупые? Нет. Страна, съедающая в год одного мороженого на миллион долларов, может приобрести себе и другие эпитеты.

Бог — доллар, доллар — отец, доллар — дух святой.

Но это не грошовое скопидомство людей, только мирящихся с необходимостью иметь деньги, решивших накопить суммочку, чтобы после бросить наживу и сажать в саду маргаритки да проводить электрическое освещение в курятники любимых наседок. И до сих пор ньюйоркцы с удовольствием рассказывают историю 11-го года о ковбое Даймонд Джиме.

Получив наследство в 250 000 долларов, он нанял целый мягкий поезд, уставил его вином и всеми своими друзьями и родственниками, приехал в Нью-Йорк, пошел обходить все кабаки Бродвея, спустил в два дня добрых полмиллиона рублей и уехал к своим мустангам без единого цента, на грязной подножке товарного поезда.

Нет! В отношении американца к доллару есть поэзия. Он знает, что доллар — единственная сила в его стодесятимиллионной буржуазной стране (в других тоже), и я убежден, что, кроме известных всем свойств денег, американец эстетически любуется зелененьким цветом доллара, отождествляя его с весной, и бычком в овале, кажущимся ему его портретом крепыша, символом его довольства. А дядя Линкольн на долларе и возможность для каждого демократа пробиться в такие же люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей, которую может прочесть юношество. При встрече американец не скажет вам безразличное:

— Доброе утро.

Он сочувственно крикнет:

— Мек моней? (Делаешь деньги?) — и пройдет дальше.

Американец не скажет расплывчато:

— Вы сегодня плохо (или хорошо) выглядите.

Американец определит точно:

— Вы смотрите сегодня на два цента.

Или:

— Вы выглядите на миллион долларов.

О вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках, — поэт, художник, философ.

Американец определит точно:

— Этот человек стоит 1 230 000 долларов.

Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас принимают, куда вы уедете летом, и т. д.

Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке. Все — «бизнес», дело, — все, что растит доллар. Получил проценты с разошедшейся поэмы — бизнес, обокрал, не поймали — тоже.

К бизнесу приучают с детских лет. Богатые родители радуются, когда их десятилетний сын, забросив книжки, приволакивает домой первый доллар, вырученный от продажи газет.

— Он будет настоящим американцем.

В общей атмосфере бизнеса изобретательность растет.

В детском кемпе, в летнем детском пансионе-лагере, где закаляют детей плаванием и футболом, было запрещено ругаться при боксе.

— Как же драться, не ругаясь? — сокрушенно жаловались дети.

Один из будущих бизнесменов учел эту потребность.

На его палатке появилось объявление:

«За 1 никель выучиваю пяти русским ругательствам, за 2 никеля — пятнадцати».

Желающихся выучиться ругаться без риска быть понятым преподавателями — набилась целая палатка.

Счастливый владелец русских ругательств, стоя посредине, дирижировал:

— Ну, хором — «дурак»!

— Д у р а к!

— С в о л о ч ь!

— Не «тволоч», а «сволочь».

Над сукиным сыном пришлось биться долго. Несмышленые американыши выговаривали «зукин-синь», а подсовывать за хорошие деньги недоброкачественные ругательства честный молодой бизнесмен не хотел.

У взрослых бизнес принимает грандиозные эпические формы.

Три года тому назад кандидату в какие-то доходные городские должности — мистеру Ригельману надо было хвастнуть пред избирателями какой-нибудь альтруистической затеей. Он решил построить деревянный балкон на побережье для гуляющих по Кони-Айланду.

Владельцы прибрежной полосы запросили громадные деньги — больше, чем могла бы дать будущая должность. Ригельман плюнул на владельцев, песком и камнем отогнал океан, создал полосу земли шириной в 350 футов и на три с половиной мили оправил берег идеальным дощатым настилом.

Ригельмана выбрали.

Через год он с лихвой возместил убытки, выгодно продав, в качестве влиятельного лица, все выдающиеся бока своего оригинального предприятия под рекламу.

Если даже косвенным давлением долларов можно победить должность, славу, бессмертие, то, непосредственно положив деньги на бочку, купишь все.

Газеты созданы трестами; тресты, воротилы трестов запродались рекламодателям, владельцам универсальных магазинов. Газеты в целом проданы так прочно и дорого, что американская пресса считается неподкупной. Нет денег, которые могли бы перекупить уже запроданного журналиста.

А если тебе цена такая, что другие дают больше, — докажи, и сам хозяин набавит.

Титул — пожалуйста. Газеты и театральные куплетисты часто трунят над кинозвездой Глорией Свенсен, бывшей горничной, ныне стоящей пятнадцать тысяч долларов в неделю, и ее красавцем-мужем графом, вместе с пакеновскими моделями и анановскими туфлями вывезенным из Парижа.

Любовь — извольте.

Вслед за обезьяньим процессом газеты стали трубить о мистере Браунинге.

Этот миллионер, агент по продаже недвижимого имущества, под старость лет обуялся юношеской страстью.

Так как брак старика с девушкой вещь подозрительная, миллионер пошел на удочерение.

Объявление в газетах:

ЖЕЛАЕТ МИЛЛИОНЕР УДОЧЕРИТЬ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЮЮ

12 000 лестных предложений с карточками красавиц посыпались в ответ. Уже в 6 часов утра четырнадцать девушек сидело в приемной мистера Браунинга.

Браунинг удочерил первую (слишком велико нетерпение) — по-детски распустившую волосья, красавицу-чешку Марию Спас. На другой день газеты стали захлебываться Мариным счастьем.

В первый день куплено 60 платьев.

Привезено жемчужное ожерелье.

За три дня подарки перевалили за 40 000 долларов.

И сам папаша снимался, облапив дочку за грудь, с выражением лица, которое впору показывать из-под полы перед публичными домами Монмартра.

Отцовскому счастью помешало известие, что мистер пытался попутно удочерить и еще какую-то тринадцатилетнюю из следующей пришедшей партии. Проблематичным извинением могло бы, пожалуй, быть то, что дочь оказалась девятнадцатилетней женщиной.

Там на три меньше, здесь на три больше; «фифти-фифти», как говорят американцы, — в общем, какая разница?

Во всяком случае, папаша оправдывался не этим, а суммой счета и благородно доказывал, что сумма его расходов на этот бизнес определенно указывает, что только он является страдающей стороной.

Пришлось вмешаться прокуратуре. Дальнейшее мне неизвестно. Газеты замолчали, будто долларов в рот набрали.

Я убежден, что этот самый Браунинг сделал бы серьезные коррективы в советском брачном кодексе, ущемляя его со стороны нравственности и морали.

Ни одна страна не городит столько моральной, возвышенной, идеалистической ханжеской чуши, как Соединенные Штаты.

Сравните этого Браунинга, развлекающегося в Нью-Йорке, с какой-нибудь местечковой техасской сценкой, где банда старух в 40 человек, заподозрив женщину в проституции и в сожительстве с их мужьями, раздевает ее догола, окунает в смолу, вываливает в перо и в пух и изгоняет из городка сквозь главные сочувственно гогочущие улицы.

Такое средневековье рядом с первым в мире паровозом «Твенти-Сенчери» экспресса.

Типичным бизнесом и типичным ханжеством назовем и американскую трезвость, сухой закон «прогибишен».

Виски продают все.

Когда вы зайдете даже в крохотный трактирчик, вы увидите на всех столах надпись: «Занято».

Когда в этот же трактирчик входит умный, он пересекает его, идя к противоположной двери.

Ему заслоняет дорогу хозяин, кидая серьезный вопрос:

— Вы джентльмен?

— О да! — восклицает посетитель, предъявляя зелененькую карточку. Это члены клуба (клубов тысячи), говоря просто — алкоголики, за которых поручились. Джентльмена пропускают в соседнюю комнату — там с засученными рукавами уже орудуют несколько коктейльщиков, ежесекундно меняя приходящим содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей стойки.

Тут же за двумя десятками столиков сидят завтракающие, любовно оглядывая стол, уставленный всевозможной питейностью. Пообедав, требуют:

— Шу бокс! (Башмачную коробку!) — и выходят из кабачка, волоча новую пару виски. За чем же смотрит полиция?

За тем, чтобы не надували при дележе.

У последнего пойманного оптовика «бутлегера» было на службе 240 полицейских.

Глава борьбы с алкоголем плачется в поисках за десятком честных агентов и грозится, что уйдет, так как таковые не находятся.

Сейчас уже нельзя отменить закон, запрещающий винную продажу, так как это невыгодно прежде всего торговцам вином. А таких купцов и посредников — армия — один на каждые пятьсот человек. Та-

кая долларовая база делает многие, далее очень тонкие нюансы американской жизни простенькой карикатурной иллюстрацией к положению, что сознание и надстройка определяются экономикой.

Если перед вами идет аскетический спор о женской красе и собравшиеся поделились на два лагеря — одни за стриженых американок, другие за длинноволосых, то это не значит еще, что перед вами бескорыстные эстеты.

Нет.

За длинные волосы орут до хрипоты фабриканты шпилек, со стрижкой сократившие производство; за короткие волосы ратует трест владельцев парикмахерских, так как короткие волосы у женщин привели к парикмахерам целое второе стригущееся человечество.

Если дама не пойдет с вами по улице, когда вы несете сверток починенных башмаков, обернутых в газетную бумагу, то знайте — проповедь красивых свертков ведет фабрикант оберточной бумаги.

Даже по поводу такой сравнительно беспартийной вещи, как честность, имеющей целую литературу, — даже по этому поводу орут и ведут агитацию кредитные общества, дающие ссуду кассирам для внесения залогов. Этим важно, чтобы кассиры честно считали чужие деньги, не сбегали с магазинными кассами, и чтобы незыблемо лежал и не пропадал залог.

Такими же долларными соображениями объясняется и своеобразная осенняя оживленная игра.

14 сентября меня предупредили — снимай соломенную шляпу.

15-го на углах перед шляпными магазинами стоят банды, сбивающие соломенные шляпы, пробивающие шляпные твердые днища и десятками нанизывающие продырявленные трофеи на руку.

Осенью ходить в соломенных шляпах неприлично.

На соблюдении приличий зарабатывают и торговцы мягкими шляпами и соломенными. Что бы делали фабриканты мягких, если бы и зимой ходили в соломенных? Что бы делали соломенные, если бы годами носили одну и ту же шляпу?

А пробивающие шляпы (иногда и с головой) получают от фабрикантов на чуингам пошляпно.

Сказанное о нью-йоркском быте, это, конечно, не лицо. Так, отдельные черты — ресницы, веснушка, ноздря.

Но эти веснушки и ноздри чрезвычайно характерны для всей мещанской массы — массы, почти покрывающей всю буржуазию; массы, заквашенной промежуточными слоями; массы, захлестывающей и обеспеченную часть рабочего класса. Ту часть, которая приобрела в рассрочку домик, выплачивает из недельного заработка за «фордик» и больше всего боится стать безработным.

[1925 — 1926]

МЕКСИКА

О, как эта жизнь читалась взасос!
Идешь.
Наступаешь на́ ноги.
В руках
превращается
ранец в лассо,
а клячи пролеток —
мустанги.
Взаправду
игрушечный
рос магазин,
ревел
пароходный гудок.

Сейчас же
сбегу
в страну мокассин —
лишь сбондю
рубль и бульдог.
А сегодня —
это не умора.
Сколько миль воды
винтом нарыто, —
и встает
живьем
страна Фениамора
Купера
и Майн-Рида.
Рев сирен, кончается вода.
Мы прикручены
к земле
о локоть локоть.
И берет
набитый «Лефом»
чемодан
Монтигомо
Ястребиный Коготь.
Глаз торопится слезой налиться.
Как? чему я рад? —
— Ястребиный Коготь!
Я ж
твой «Бледнолицый
Брат».
Где товарищи?
чего таишься?
Помнишь,
из-за клумбы
стрелами
отравленными
в Кутаисе
били
мы
по кораблям Колумба? —

цедит
злобно
Коготь Ястребиный,
медленно,
как треснувшая крынка:
— Нету краснокожих — истребили
гачупи́ны с гри́нго.
Ну, а тех из нас,
которых
пульки
пощадили,
просвистевши мимо,
кабаками
кактусовый «пульке»
добивает
по 12-ти сантимов.
Заменила
чемоданов куча
стрелы,
от которых
никуда не деться... —
Огрызнулся
и пошел,
сомбреро нахлобуча
вместо радуги
из перьев
птицы Кетцаль.

Года и столетья!
Как ни коси́те
склоненные головы дней, —
корявые камни
Мехико-сити
прошедшее вышепчут мне.
Это
было
так давно,
как будто не было.
Бабушки столетних попугаев
не запомнят.

Здесь
из зыби озера
вставал Пуэбло,
дом-коммуна
в десять тысяч комнат.
И золото
между озерных зыбéй
лежало,
аж рыть не надо вам.
Чего еще,
живи,
бронзовей,
вторая сестра Элладова!
Но очень надо
за морем
белым,
чего индейцу не надо.
Жадна
у белого
Изабелла,
жена
короля Фердинанда.
Тяжек испанских пушек груз.
Сквозь пальмы,
сквозь кактусы лез
по этой дороге
из Вера-Круц
генерал
Эрнандо Кортéс.
Пришел.
Вода студеная
хочет
вскипеть кипятком
от огня.
Дерутся
72 ночи
и 72 дня.
Хранят
краснокожих
двумордые идолы.

От пушек
не видно вреда.
Как мышь на сало,
прельстясь на титулы,
своих
Монтецума предáл.
Напрасно,
разбитых
в отряды спаяв,
Гватёмок
в озерной воде
мок.
Что
против пушек
стреленка твоя!..
Под пытками
умер Гватемок.
И вот стоим,
индеец да я,
товарищ
далекого детства.
Он умер,
чтоб в бронзе
веками стоять
наискосок от полпредства.

Внизу
громыхает
столетий орда,
и горько стоять индейцу.
Чтó братьям его,
рабам,
чехарда
всех этих Хуэрт
и Диэцов?..
Прошла
годов трезначная сумма.
Героика
нынче не тема.

Пивною маркой стал Монтецума,
пивной маркой —
Гватемок.
Буржуи
всё
под одно стригут.
Вконец обесцветили мир мы.
Теперь
в утешенье земле-старику
лишь две
конкурентки фирмы.
Ни лиц пожелтелых,
ни солнца одёж.
В какую
огромную лупу,
в какой трущобе
теперь
найдешь
сарапе и Гваделупу?
Что Рига, что Мехико —
родственный жанр.
Латвия
тропического леса.
Вся разница:
зонтик в руке у рижан,
а у мексиканцев
«Смит и Вéссон».
Две Латвии
с двух земных боков —
различные собой они
лишь тем,
что в Мексике
режут быков
в театре,
а в Риге —
на бойне.
И совсем как в Риге,
около пяти,
проклиная
мамову опеку,

фордом
разжигая
жениховский аппетит,
кружат дочки
по Чапультапеку.
А то,
что тут урожай фуража,
что в пальмы земля разодета,
так это от солнца, —
сиди
и рожай
бананы и президентов.
Наверху министры
в бриллиантовом огне.
Под —
народ.
Голейший зад виднеется.
Без штанов,
во-первых, потому, что нет,
во-вторых, —
не полагается:
индейцы.
Обнищало
монтецумье племя,
и стоит оно
там,
где город
выбег
на окраины прощаться
перед вывеской
муниципальной:
«Без штанов
в Мехико-сити
вход воспрещается».

Пятьсот
по Мексике
нищих племен,
а сытый
с одним языком:

одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.
Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом!
Несись
по земле
из страны мексиканцев,
роднящий крик:
«Камарада!»
Голод
мастер людей равнять.
Каждый индеец,
кто гол.
В грядущем огне
родня-головня
ацтек,
метис
и креол.
Мильон не угробят богатых лопаты.
Страна!
Поди,
покори ее!
Встают
взамен одного Запаты
Гальваны,
Морено,
Карйо.
Сметай
с горбов
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис!
Скорей
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись!

Мехико-сити
20/VII 1925 г.

БРОДВЕЙ

Асфальт — стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки —
сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока —
стриты.
А между —
(куда их строитель завез!) —
дома
невозможной длины.
Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луны.
Янки
подошвами шлепать
ленив:
простой
и курьерский лифт.
В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —
отлив.
Скрежещет механика,
звон и гам,
а люди
немые в звоне.
И лишь замедляют
жевать чуингам,
чтоб бросить:
«Мек мóней?»
Мамаша
грудь
ребенку дала.

Ребенок,
с каплями из носу,
сосет
как будто
не грудь, а доллар —
занят
серьезным
бизнесом.
Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.
Хочешь под землю —
бери сабвей,
на небо —
бери элевейтер.
Вагоны
едут
и дымам под рост,
и в пятках
домовьих
трутся,
и вынесут
хвост
на Бру́клинский мост,
и спрячут
в норы
под Гу́дзон.
Тебя ослепило,
ты
осовел.
Но,
как барабанная дробь,
из тьмы
по темени:
«Кофе Максве́л
гуд
ту ди ласт дроп».
А лампы
как станут
ночь копать,

ну, я доложу вам —
пламечко!
Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за́ день
в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

6 августа — Нью-Йорк.
[1925]

БЛЭК ЭНД УАЙТ

Если
Гавану
окинуть мигом —
рай-страна,
страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.
Цветет
коларио
по всей Ведадо.
В Гаване
все
разграничено четко:

у белых доллары,
у черных — нет.
Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много
за жизнь
повымел Вилли —
одних пылинок
целый лес, —
поэтому
волос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.
Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор,
портовóй инспектор,
кинет
негру
цент на бегу.
От этой грязи скроешься разве?
Разве что
стали б
ходить на голове.
И то
намели бы
больше грязи:
волосьев тыщи,
а ног —
две.
Рядом
шла
нарядная Прадо.
То звякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.

Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаване как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.
Одно-
единственное
вызубрил Вилли
тверже,
чем камень
памятника Масео:
«Белый
ест
ананас спелый,
черный —
гнилью моченный.
Белую работу
делает белый,
черную работу —
черный».
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка
падала
из Виллиных рук.
И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Энри Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,

величественнейший из сахарных королей.
Негр
подходит
к туше дебелой:
«Ай бэг ёр пáрдон, мистер Брэгг!
Почему и сахар,
белый-белый,
должен делать
черный негр?
Черная сигара
не идет в усах вам —
она для негра
с черными усами.
А если вы
любите
кофий с сахаром,
то сахар
извольте
делать сами».
Такой вопрос
не проходит даром.
Король
из белого
становится желт.
Вывернулся
король
сообразно с ударом,
выбросил обе перчатки
и ушел.
Цвели
кругом
чудеса ботаники.
Бананы
сплетали
сплошной кров.
Вытер
негр
о белые подштанники

руку,
с носа утершую кровь.
Негр
посопел подбитым носом,
поднял щетку,
держась за скулу.
Откуда знать ему,
что с таким вопросом
надо обращаться
в Коминтерн,
в Москву?

5/VII — Гавана.
[1925]

БАРЫШНЯ И ВУЛЬВОРТ

Бродвей сдурел.
Бегня и гу́лево.
Дома́
с небес обрываются
и висят.
Но даже меж ними
заметишь Ву́льворт.
Корсетная коробка
этажей под шестьдесят.
Сверху
разведывают
звезд взводы,
в средних
тайпистки
стрекочут бешено.
А в самом нижнем —
«Дрогс со́да,
грет энд фе́ймус компани-не́йшенал».
А в окошке мисс
семнадцати лет
сидит для рекламы
и точит ножи.

Ржавые лезвия
фирмы «Жиллет»
кладет в патентованный
железный зажим
и гладит
и водит
кожей ремня.
Хотя
усов
и не полагается ей,
но водит
по губке,
усы возомня, —
дескать —
готово,
наточил и брей.
Наточит один
до сияния лучика
и новый ржавый
берет для возни.
Наточит,
вынет
и сделает ручкой.
Дескать —
зайди,
купи,
возьми.
Буржуем не сделаешься с бритвенной точки.
Бегут без бород
и без выражений на лице.
Богатств буржуйских особые источники:
работай на доллар,
а выдадут цент.
У меня ни усов,
ни долларов,
ни шевелюр, —
и в горле
застревают
английского огрызки.

Но я подхожу
и губами шевелю —
как будто
через стекло
разговариваю по-английски.
«Сидишь,
глазами буржуев охлопана.
Чем обнадежена?
Дура из дур».
А девушке слышится:
«О́пен,
опен ди дор».
«Что тебе заботиться
о чужих усах?
Вот...
посадили...
как дуру еловую».
А у девушки
фантазия раздувает паруса,
и слышится девушке:
«Ай ло́в ю».
Я злею:
«Выйдь,
окно разломай, —
а бритвы раздай
для жирных горл».
Девушке мнится:
«Май,
май гёрл».
Выходит
фантазия из рамок и мерок —
и я
кажусь
красивый и толстый.
И чудится девушке —
влюбленный клерк
на ней
жениться
приходит с Во́лстрит.

И верит мисс,
от счастья дрожа,
что я —
долларовый воротила,
что ей
уже
в других этажах
готовы бесплатно
и стол
и квартира.
Как врезать ей
в голову
мысли-ножи,
что русским известно другое средство,
как влезть рабочим
во все этажи
без грез,
без свадеб,
без жданий наследства.

[1925]

НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ

Возьми
разбольшущий
дом в Нью-Йорке,
взгляни
насквозь
на зданье на то.
Увидишь —
старейшие
норки да каморки —
совсем
дооктябрьский
Елец аль Конотоп.
Первый —
ювелиры,
караул бессменный,

замок
зацепился ставням о бровь.
В сером
герои кино,
полисмены,
лягут
собаками
за чужое добро.
Третий —
спят бюро-конторы.
Ест
промокашки
рабий пот.
Чтоб мир
не забыл,
хозяин который,
на вывесках
золотом
«Вильям Шпрот».
Пятый.
Подсчитав
приданые сорочки,
мисс
перезрелая
в мечте о женихах,
вздымая грудью
ажурные строчки,
почесывает
пышных подмышек меха.
Седьмой.
Над очагом
домашним
высясь,
силы сберегши
спортом смолоду,
сэр
своей законной мйссис,
узнав об измене,
кровавит морду.

Десятый.
Медовый.
Пара легла.
Счастливей,
чем Ева с Адамом были.
Читают
в «Таймсе»
отдел реклам:
«Продажа в рассрочку автомобилей».
Тридцатый.
Акционеры
сидят увлечены,
делят миллиарды,
жадны и озабочены.
Прибыль
треста
«Изготовленье ветчины
из лучшей
дохлой
чикагской собачины».
Сороковой.
У спальни
опереточной дивы.
В скважину
замочную,
сосредоточив прыть,
чтоб Ку́лидж дал развод,
детективы
мужа
должны
в кровати накрыть.
Свободный художник,
рисующий задочки,
дремлет в девяностом,
думает одно:
как бы ухажнуть
за хозяйской дочкой —
да так,
чтоб хозяину
всучить полотно.

А с крыши стаял
скатертный снег.
Лишь ест
в ресторанной выси
большие крохи
уборщик-негр,
а маленькие крошки —
крысы.
Я смотрю,
и злость меня берет
на укрывшихся
за каменный фасад.
Я стремился
за 7000 верст вперед,
а приехал
на 7 лет назад.

[1925]

ПАРИЖАНКА

Вы себе представляете
парижских женщин
с шеей разжемчуженной,
разбриллиантенной рукой...

Бросьте представлять себе!
Жизнь —
жестче —
у моей парижанки
вид другой.
Не знаю, право,
молода
или стара она,
до желтизны
отшлифованная
в лощеном хамье.

Служит
она
в уборной ресторана —
маленького ресторана —
Гранд-Шомьер.
Выпившим бургундского
может захотеться
для облегчения
пойти пройтись.
Дело мадмуазель
подавать полотенце,
она
в этом деле
просто артист.
Пока
у трюмо
разглядываешь прыщик,
она,
разулыбив
облупленный рот,
пудрой подпудрит,
духами попрыщет,
подаст пипифакс
и лужу подотрет.
Раба чревоугодий
торчит без солнца,
в клозетной шахте —
по суткам
клопея,
за пятьдесят сантимов!
(по курсу червонца
с мужчины
около
четырех копеек).
Под умывальником
ладони омывая,
дыша
диковиной
парфюмерных зелий,
над мадмуазелью
недоумевая,

хочу
сказать
мадмуазели:
— Мадмуазель,
ваш вид,
извините,
жалок.
На уборную молодость
губить не жалко вам?
Или
мне
наврали про парижанок,
или
вы, мадмуазель,
не парижанка.
Выглядите вы
туберкулезно
и вяло.
Чулки шерстяные...
Почему не шелка?
Почему
не шлют вам
пармских фиалок
благородные мусью
от полного кошелька? —
Мадмуазель молчала,
грохот наваливал
на трактир,
на потолок,
на нас.
Это,
кружа
веселье карнавалово,
весь
в парижанках
гудел Монпарнас.

Простите, пожалуйста,
за стих раскрежещенный
и
за описанные

вонючие лужи,
но очень
трудно
в Париже
женщине,
если
женщина
не продается,
а служит.

[1929]

NOTRE-DAME

Другие здания
лежат,
как грязная кора,
в воспоминании
о Notre-Dame'е.
Прошедшего
возвышенный корабль,
о время зацепившийся
и севший на мель.
Раскрыли дверь —
тоски тяжелей;
желе
из железа —
нелепее.
Прошли
сквозь монаший
служилый елей
в соборное великолепие.
Читал
письмена,
украшавшие храм,
про боговы блага
на небе.
Спускался в партер,
подымался к хорам,

смотрел удобства
и мебель.
Я вышел —
со мной
переводчица-дура,
щебечет
бантиком-ротиком:
«Ну, как вам
нравится архитектура?
Какая небесная готика!»
Я взвесил все
и обдумал, —
ну вот:
он лучше Блаженного Васьки.
Конечно,
под клуб не пойдет —
темноват, —
об этом не думали
классики.
Не стиль...
Я в этих делах не мастак.
Не дался
старью на съедение.
Но то хорошо,
что уже места
готовы тебе
для сидения.
Его
ни к чему
перестраивать заново —
приладим
с грехом пополам,
а в наших —
ни стульев нет,
ни орга́нов.
Копнёшь —
одни купола.
И лучше б оркестр,
да игра дорога —

сначала
не будет финансов, —
а то ли дело
когда орга́н —
играй
хоть пять сеансов.
Ясно —
репертуар иной —
фокстроты,
а не сопенье.
Нельзя же
французскому Госкино
духовные песнопения.
А для рекламы —
не храм,
а краса —
старайся
во все тяжкие.
Электрорекламе —
лучший фасад:
меж башен
пустить перетяжки,
да буквами разными:
«Signe de Zoro»[1],
чтоб буквы бежали,
как мышь.
Такая реклама
так заорет,
что видно
во весь Boulmiche[2].
А если
и лампочки
вставить в глаза
химерам
в углах собора,

---

[1] Знак Зоро *(франц.)*.
[2] Бульвар в Париже *(франц.)*.

тогда —
никто не уйдет назад:
подряд —
битковые сборы!
Да, надо
быть
бережливым тут,
ядром
чего
не попортив.
В особенности,
если пойдут
громить
префектуру
напротив.

[1925]

ВЕРСАЛЬ

По этой
дороге,
спеша во дворец,
бесчисленные Людовики
трясли
в шелках
золоченых каретц
телес
десятипудовики.
И ляжек
своих
отмахав шатуны,
по ней,
марсельезой пропет,
плюя на корону,
теряя штаны,
бежал
из Парижа
Капет.

Теперь
по ней
веселый Париж
гоняет,
авто рассияв, —
кокотки,
рантье, подсчитавший барыш,
американцы
и я.
Версаль.
Возглас первый:
«Хорошо жили стервы!»
Дворцы
на тыщи спален и зал —
и в каждой
и стол
и кровать.
Таких
вторых
и построить нельзя —
хоть целую жизнь
воровать!
А за дворцом,
и сюды
и туды,
чтоб жизнь им
была
свежа,
пруды,
фонтаны,
и снова пруды
с фонтаном
из медных жаб.
Вокруг,
в поощренье
жантильных манер,
дорожки
полны статуями —
везде Аполлоны,
а этих
Венер

безруких, —
так целые уймы.
А дальше —
жилья
для их помпадурш —
Большой Трианон
и Маленький.
Вот тут
помпадуршу
водили под душ,
вот тут
помпадуршины спаленки.
Смотрю на жизнь —
ах, как не нова!
Красивость —
аж дух выматывает!
Как будто
влип
в акварель Бенуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
Я все осмотрел,
поощупал вещи.
Из всей
красотищи этой
мне
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.
В него
штыка революции
клин
вогнали,
пляша под распевку,
когда
санкюлоты
поволокли
на эшафот
королевку.

Смотрю,
а все же —
завидные видики!
Сады завидные —
в розах!
Скорей бы
культуру
такой же выделки,
но в новый,
машинный рóзмах!
В музеи
вот эти
лачуги б вымести!
Сюда бы —
стальной
и стекольный
рабочий дворец
миллионной вместимости, —
такой,
чтоб и глазу больно.
Всем,
еще имеющим
купоны
и монеты,
всем царям —
еще имеющимся —
в назидание:
с гильотины неба,
головой Антуанéтты,
солнце
покатилось
умирать на зданиях.
Расплылась
и лип
и каштанов толпа,
слегка
листочки ворся.

Прозрачный
вечерний
небесный колпак
закрыл
музейный Версаль.

[1925]

КРАСАВИЦЫ

(раздумье на открытии Grand Opéra[1])

В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По гранд
по опере
гуляю грандом.
Смотрю
в антракте —
красавка на красавице.
Размяк характер —
всё мне
нравится.
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце.
Крашеные губки
розой убиганятся.
Ретушь —
у глаза.
Оттеняет синь его.
Спины
из газа
цвета лососиньего.
Упадая
с высоты,

[1]Большого оперного театра.

пол
метут
шлейфы.
От такой
красоты
сторонитесь, рефы.
Повернет —
в брильянтах уши.
Пошевéлится шаля —
на грудинке
ряд жемчужин
обнажают
шеншиля.
Платье —
пухом.
Не дыши.
Аж на старом
на морже
только фай
да крепдешин,
только
облако жоржет.
Брошки — блещут...
нá тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову.

[1929]

ПРОЩАНИЕ

(кафе)

Обыкновенно
мы говорим:
все дороги
приводят в Рим.

Не так
у монпарнасца.
Готов поклясться.
И Рем
и Ромул,
и Ремул и Ром
в «Ротонду» придут
или в «Дом»[1],
В кафе
идут
по сотням дорог,
плывут
по бульварной реке.
Вплываю и я:
«Garç on,
un grog
americain!»[2]
Сначала
слова
и губы
и скулы
кафейный гомон сливал.
Но вот
пошли
вылупляться из гула
и лепятся
фразой
слова.
«Тут
проходил
Маяковский давеча,
хромой —
не видали рази?» —
«А с кем он шел?» —
«С Николай Николаичем». —

[1]Кафе на Монпарнасе.

[2]Официант, грог по-американски! *(франц.)*.

«С каким?» —
«Да с великим князем!»
«С великим князем?
Будет врать!
Он кругл
и лыс,
как ладонь.
Чекист он,
послан сюда
взорвать...» —
«Кого?» —
«Буа-дю-Булонь[1]
Езжай, мол, Мишка...»
Другой поправил:
«Вы врете,
противно слушать!
Совсем и не Мишка он,
а Павел.
Бывало сядем —
Павлуша! —
а тут же
его супруга,
княжна,
брюнетка,
лет под тридцать...» —
«Чья?
Маяковского?
Он не женат». —
«Женат —
и на императрице». —
«На ком?
Ее же расстреляли...» —
«И он
поверил...
Сделайте милость!
Ее ж Маяковский спас
за трильон!

[1] Булонский лес.

Она же ж
омолодилась!»
Благоразумный голос:
«Да нет,
вы врете —
Маяковский — поэт». —
«Ну да, —
вмешалось двое саврасов, —
в конце
семнадцатого года
в Москве
чекой конфискован Некрасов
и весь
Маяковскому отдан.
Вы думаете —
сам он?
Сбондил до иот —
весь стих,
с запятыми,
скраден.
Достанет Некрасова
и продает —
червонцев по десять
на день».
Где вы,
свахи?
Подымись, Агафья!
Предлагается
жених невиданный,
Видано ль,
чтоб человек
с такою биографией
был бы холост
и старел невыданный?!
Париж,
тебе ль,
столице столетий,
к лицу
эмигрантская нудь?

Смахни
за ушми
эмигрантские сплетни.
Провинция! —
не продохнуть. —
Я вышел
в раздумье —
черт его знает!
Отплюнулся —
тьфу напасть!
Дыра
в ушах
не у всех сквозная —
другому
может запасть!
Слушайте, читатели,
когда прочтете,
что с Черчиллем
Маяковский
дружбу вертит
или
что женился я
на кулиджевской тете,
то, покорнейше прошу, —
не верьте.

[1925]

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...

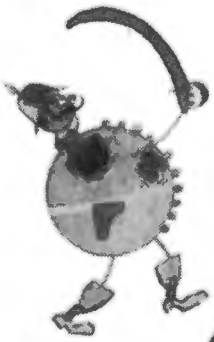
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый
движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским лёвою.
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан

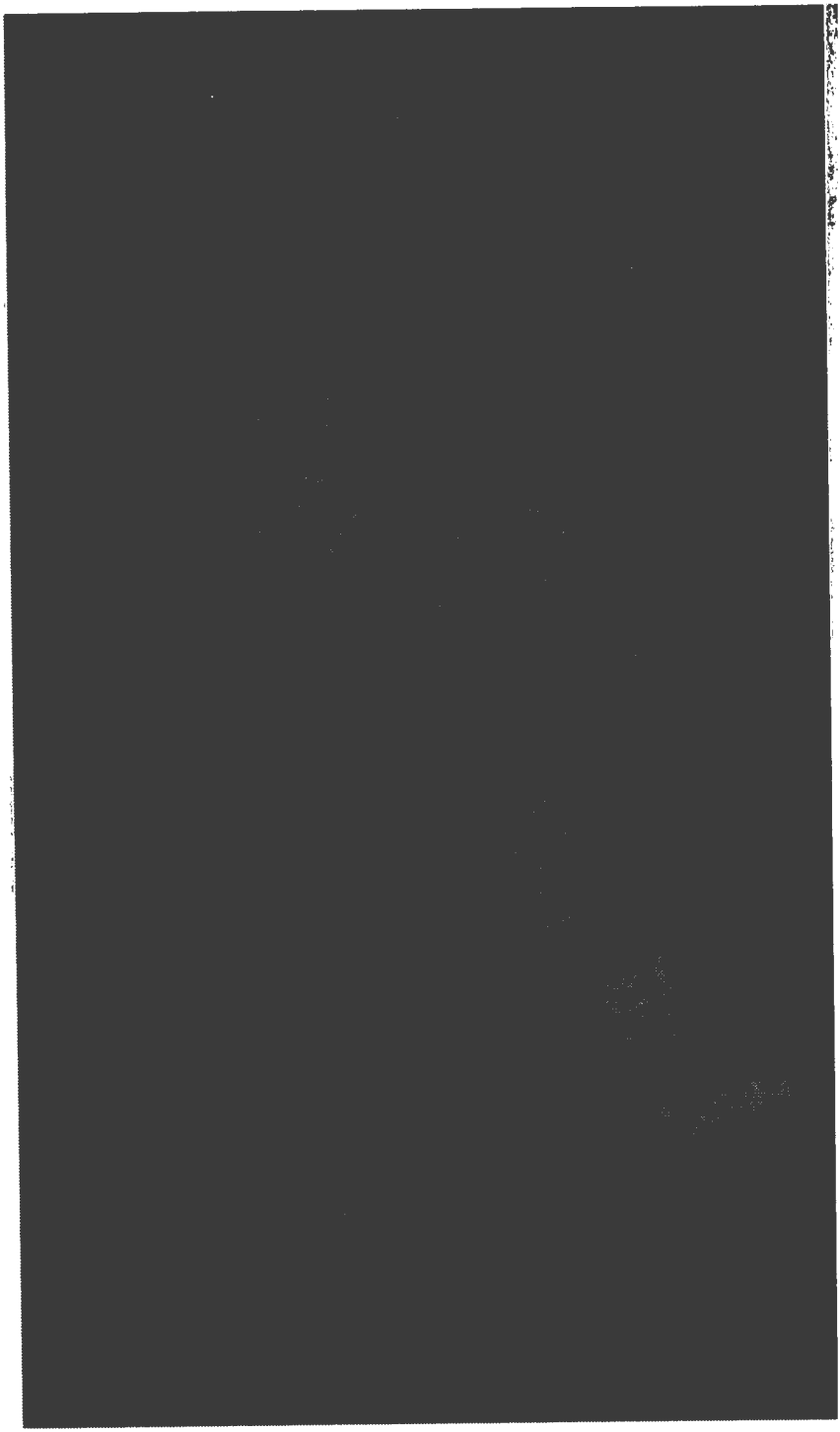
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,

сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

[1929]

Театр не отражающее зеркало, а — увеличивающее стекло





ФЕЕРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Девять картин

Работают

Присыпкин — Пьер Скрипкин — бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених.

Зоя Березкина — работница.

Эльзевира Давидовна — невеста, маникюрша, кассирша парикмахерской,
Розалия Павловна — мать-парикмахерша,
Давид Осипович — отец-парикмахер.
} Ренесанс

Олег Баян — самородок, из домовладельцев.

Милиционер.

Профессор.

Директор зоосада.

Брандмейстер.

Пожарные.

Шафер.

Репортер.

Рабочие аудитории.

Председатель горсовета.

Оратор.

Вузовцы.

Распорядитель празднества.

Президиум горсовета, охотники, дети, старики.

I

Центр — вертящаяся дверища универмага, бока остекленные, затоваренные витрины. Входят пустые, выходят с пакетами. По всему театру расхаживают частники-лотошники.

Пуговичный разносчик

Из-за пуговицы не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться! Нажатие большого и указательного пальца, и брюки с граждан никогда не свалятся.

Голландские, механические, самопришивающиеся пуговицы, 6 штук 20 копеек...

Пожалте, мусью!

Разносчик кукол

Танцующие люди
из балетных студий.
Лучшая игрушка в саду и дома,
танцует по указанию самого наркома!

Разносчица яблок

Ананасов!
нету...
Бананов!
нету...
Антоновские яблочки 4 штуки 15 копеек.
Прикажите, гражданочка!

Разносчик точильных камней

Германский
небьющийся
точильный брусок,
30 копеек
любой
кусок.
Точит
в любом
направлении и вкусе

бритвы,
ножи
и языки для дискуссий!
Пожалте, граждане!

Разносчик абажуров

Абажуры
любой
расцветки и масти.
Голубые для уюта,
красные для сладострастий.
Устраивайтесь, товарищи!

Продавец шаров

Шары-колбаски.
Летай без опаски.
Такой бы
шар
генералу Нобиле, —
они бы на полюсе
дольше по́были.
Берите, граждане...

Разносчик селедок

А вот
лучшие
республиканские селедки,
незаменимы
к блинам и водке!

Разносчица галантереи

Бюстга́льтеры на меху,
бюстга́льтеры на меху!

Продавец клея

У нас
и за границей,
а также повсюду

граждане
выбрасывают
битую посуду.
Знаменитый
экцельзиор,
клей-порошок,
клеит
и Венеру
и ночной горшок.
Угодно, сударыня?

Разносчица духов

Духи Коти́
на золотники!
Духи Коти́
на золотники!

Продавец книг

Что делает жена, когда мужа нету дома, 105 веселых анекдотов бывшего графа Льва Николаевича Толстого, вместо рубля двадцати — пятнадцать копеек.

Разносчица галантереи

Бюстгальтеры на меху,
бюстгальтеры на меху!

Входят Присыпкин, Розалия Павловна, Баян.

Разносчица

Бюстгальтеры...

Присыпкин
(восторженно)

Какие аристократические чепчики!

Розалия Павловна

Какие же это чепчики, это же...

Присыпкин

Что ж я, без глаз, что ли? А ежели у нас двойня родится? Это вот на Дороти, а это на Лилиан... Я их уже решил назвать аристократическо-кинематографически... так и будут гулять вместе. Во! Дом у меня должен быть полной чашей. Захватите, Розалия Павловна!

Баян
(подхихикивая)

Захватите, захватите, Розалия Павловна! Разве у них пошлость в голове? Оне молодой класс, оне всё по-своему понимают. Оне к вам древнее, незапятнанное пролетарское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли жалеете! Дом у них должен быть полной чашей.

Розалия Павловна, вздохнув, покупает.

Баян

Я донесу... они легонькие... не извольте беспокоиться... за те же деньги...

Разносчик игрушек

Танцующие люди из балетных студий...

Присыпкин

Мои будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе. Во! Захватите, Розалия Павловна!

Розалия Павловна

Товарищ Присыпкин...

Присыпкин

Не называйте меня товарищем, гражданка, вы еще с пролетариатом не породнились.

Розалия Павловна

Будущий товарищ, гражданин Присыпкин, ведь за эти деньги пятнадцать человек бороды побреют, не считая мелочей — усов и прочего. Лучше пива к свадьбе лишнюю дюжину. А?

Присыпкин
(строго)

Розалия Павловна! У меня дом...

Баян

У него дом должен быть полной чашей. И танцы и пиво у него должны бить фонтаном, как из рога изобилия.

Розалия Павловна покупает.

Баян
(схватывая сверточки)

Не извольте беспокоиться, за те же деньги.

Разносчик пуговиц

Из-за пуговицы не стоит жениться!
Из-за пуговицы не стоит разводиться!

Присыпкин

В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта и брючных неприятностей. Во! Захватите, Розалия Павловна!

Баян

Пока у вас нет профсоюзного билета, не раздражайте его, Розалия Павловна. Он — победивший класс, и он сметает всё на своем пути, как лава, и брюки у товарища Скрипкина должны быть полной чашей.

Розалия Павловна покупает со вздохом.

Баян

Извольте, я донесу за те же самые...

Продавец сельдей

Лучшие республиканские селедки!
Незаменимы
при всякой водке!

Розалия Павловна

(отстраняя всех, громко и повеселевши)

Селедка — это — да! Это вы будете иметь для свадьбы вещь. Это я да захвачу! Пройдите, мосье мужчины!

Сколько стоит эта килька?

Разносчик

Эта лососина стоит 2.60 кило.

Розалия Павловна

2.60 за этого шпрота-переростка?

Продавец

Что вы, мадам, всего 2.60 за этого кандидата в осетрины!

Розалия Павловна

2.60 за эти маринованные корсетные кости? Вы слышали, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, когда вы убили царя и прогнали господина Рябушинского! Ой, эти бандиты! Я найду мои гражданские права и мои селедки в государственной советской общественной кооперации!

Баян

Подождем здесь, товарищ Скрипкин. Зачем вам сливаться с этой мелкобуржуазной стихией и покупать сельдей в таком дискуссионном порядке? За ваши 15 рублей и бутылку водки я вам организую свадьбочку на ять.

Присыпкин

Товарищ Баян, я против этого мещанского быту — канареек и прочего... Я человек с крупными запросами... Я — зеркальным шкафом интересуюсь...

Зоя Березкина почти натыкается на говорящих, удивленно отступает, прислушиваясь.

Баян

Когда ваш свадебный кортэж...

Присыпкин

Что вы болтаете? Какой картеж?

Баян

Кортэж, я говорю. Так, товарищ Скрипкин, называется на красивых иностранных языках всякая, и особенно такая, свадебная торжественная поездка.

Присыпкин

А! Ну-ну-ну!

Баян

Так вот, когда кортэж подъедет, я вам спою эпиталаму Гименея.

Присыпкин

Чего ты болтаешь? Какие еще такие Гималаи?

Баян

Не Гималаи, а эпиталаму о боге Гименее. Это такой бог любви был у греков, да не у этих желтых, озверевших соглашателей Венизелосов, а у древних, республиканских.

Присыпкин

Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов! Понял?

Баян

Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество!.. Невеста вылазит из кареты, красная невеста... вся красная, — упарилась, значит; ее выводит красный посаженый отец, бухгалтер Ерыкалов, — он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический, — вводят это вас красные шафера, весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками.

Присыпкин
(сочувственно)

Во! Во!

Баян

Красные гости кричат «горько, горько», и тут красная *(уже супруга)* протягивает вам красные-красные губки...

Зоя
(растерянно хватает за рукава обоих. Оба снимают ее руки, сбивая щелчком пыль)

Ваня! Про что он? Чего болтает эта каракатица в галстуке? Какая свадьба? Нья свадьба?

Баян

Красное трудовое бракосочетание Эльзевиры Давидовны Ренесанс и...

Присыпкин

Я, Зоя Ванна, я люблю другую.
Она изячней и стройней,
и стягивает грудь тугую
жакет изысканный у ней.

Зоя

Ваня! А я? Что ж это значит: поматросил и бросил?

Присыпкин

(вытягивая отстраняющую руку)

Мы разошлись, как в море
корабли...

Розалия Павловна

(вырывается из магазина, неся сельди над головой)

Киты! Дельфины! *(Торговцу сельдями.)* А ну, покажи, а ну, сравни твою улитку! *(Сравнивает; сельдь лотошника больше; всплескивает руками.)* На хвост больше! За что боролись, а, гражданин Скрипкин? За что мы убили государя императора и прогнали господина Рябушинского, а? В могилу меня вкопает советская ваша власть... На хвост, на целый хвост больше!..

Баян

Уважаемая Розалия Павловна, сравните с другого конца, — она ж и больше только на головку, а зачем вам головка, — она ж несъедобная, отрезать и выбросить.

Розалия Павловна

Вы слышали, что он сказал? Головку отрезать. Это вам головку отрезать, гражданин Баян, ничего не убавится и ничего не сто́ит, а ей отрезать головку стоит десять копеек на кило́. Ну! Домой! Мне очень нужен профессиональный союзный билет в доме, но дочка на доходном предприятии — это тоже вам не бык на палочке.

Зоя

Жить хотели, работать хотели... Значит, всё...

Присыпкин

Гражданка! Наша любовь ликвидирована. Не мешайте свободному гражданскому чувству, а то я милицию позову.

Зоя, плачущая, вцепилась в рукав. Присыпкин вырывается. Розалия Павловна становится между ним и Зоей, роняя покупки.

Розалия Павловна

Чего надо этой лахудре? Чего вы цепляетесь за моего зятя?

Зоя

Он мой!

Розалия Павловна

А!.. Она-таки с дитём! Я ей заплачу́ алименты, но ей разобью морду!

Милиционер

Граждане, прекратите эту безобразную сцену!

II

Молодняцкое общежитие. Изобретатель сопит и чертит. Парень валяется; на краю кровати девушка. Очкастый ушел головой в книгу. Когда раскрываются двери, виден коридор с дверями и лампочки.

Босой парень
(орет)

Где сапоги? Опять сапоги сперли. Что ж мне, их на ночь в камеру хранения ручного и ножного багажа на Курский вокзал относить, что ли?

Уборщик

Это в них Присыпкин к своей верблюдихе на свидание затопал. Надевал — ругался. В последний раз, говорит. А вечером, говорит, явлюсь в обновленном виде, более соответствующем моему новому социальному положению.

Босой

Сволочь!

Молодой рабочий
(убирает)

И сор-то после него стал какой-то благородный, деликатный. Раньше што? Бутыль с-под пива да хвост воблы, а теперь баночки Тэжэ да ленточки раздушенные.

Девушка

Брось трепаться, парень галстук купил, так его уже Макдональдом ругаете.

Парень

Макдональд и есть! Не в галстуке дело, а в том, что не галстук к нему, а он к галстуку привязан. Даже не думает — головой пошевелить боится.

Уборщик

Лаком дырки покрывает; заторопился, дыру на чулке видать, так он ногу на ходу чернильным карандашом подмазывал.

Парень

Она у него и без карандаша черная.

Изобретатель

Может быть, не на том месте черная. Надо бы ему носки переодеть.

Уборщик

Сразу нашелся — изобретатель. Патент заявляй. Смотри, чтоб идею не сперли. *(Рванул тряпкой по столику, скидывает коробку, — разваливаются веером карточки. Нагибается собрать, подносит к свету, заливается хохотом, еле созывая рукой товарищей.)*

Все

(перечитывают, повторяют)

Пьер Скрипкин. Пьер Скрипкин!

Изобретатель

Это он себе фамилию изобрел. Присыпкин. Ну, что это такое Присыпкин? На что Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? А Пьер Скрипкин — это уже не фамилия, а романс!

Девушка

(мечтательно)

А ведь верно: Пьер Скрипкин — это очень изящно и замечательно. Вы тут гогочете, а он, может, культурную революцию на дому проделывает.

Парень

Мордой он уже и Пушкина превзошел. Висят баки, как хвост у собаки, даже не моет — растрепать боится.

Девушка

У Гарри Пиля тоже эта культура по всей щеке пущена.

Изобретатель

Это его учитель по волосатой части развивает.

Парень

И на чем только у этого учителя волоса держатся: головы никакой, а курчавости сколько угодно. От сырости, что ли, такие заводятся?

Парень с книгой

Н-е-ет. Он — писатель. Чего писал — не знаю, а только знаю, что знаменитый! «Вечорка» про него три раза писала: стихи, говорит, Апухтина за свои продал, а тот как обиделся, опровержение написал. Дураки, говорит, вы, неверно всё, — это я у Надсона списал. Кто из них прав — не знаю. Печатать его больше не печатают, а знаменитый он теперь очень — молодежь обучает. Кого стихам, кого пению, кого танцам, кого так... деньги занимать.

Парень с метлой

Не рабочее это дело — мозоль лаком нагонять.

Слесарь, засаленный, входит посредине фразы, моет руки, оборачивается.

Слесарь

До рабочего у него никакого касательства, расчет сегодня брал, женится на девице, парикмахеровой дочке — она же кассирша, она же маникюрша. Когти ему теперь стричь будет мадмуазель Эльзевира Ренесанс.

Изобретатель

Эльзевир — шрифт такой есть.

Слесарь

Насчет шрифтов не знаю, а корпус у нее — это верно. Карточку бухгалтеру для скорости расчетов показывал.

Ну и милка, ну и чудо, —
одни груди по два пуда.

Босой

Устроился!

Девушка

Ага! Завидки берут?

Босой

А что ж, я тоже, когда технооруком стану да ежедневные сапоги заведу, я тоже себе лучшую квартиренку пообнюхаю.

Слесарь

Я тебе вот что советую: ты занавесочки себе заведи. Раскрыл занавесочку — на улицу посмотрел. Закрыл занавесочку — взятку тяпнул. Это только работать одному скучно, а курицу есть одному веселее. Правильно? Из окопов такие тоже устраиваться бегали, только мы их шлепали. Ну что ж — пошел!

Босой

И пойду, и пойду. А ты что из себя Карла Либкнехта корчишь? Тебя из окна с цветочками помани, тоже небось припустишься... Герой!

Слесарь

Никуда не уйду. Ты думаешь, мне эта рвань и вонь нравится? Нет. Нас, видите ли, много. На всех на нас нэповских дочек не наготовишься. Настроим домов и двинем сразу... Сразу все. Но мы из этой окопной дыры с белыми флагами не вылезем.

Босой

Зарядил — окопы. Теперь не девятнадцатый год. Людя́м для себя жить хочется.

Слесарь

А что — не окопы?

Босой

Врешь!

Слесарь

Вшей сколько хошь.

Босой

Врешь!

Слесарь

А стреляют бесшумным порохом.

Босой

Врешь!

Слесарь

Вот уже Присыпкина из глазной двухстволки подстрелили.

Входит Присыпкин в лакированных туфлях, в вытянутой руке несет за шнурки стоптанные башмаки, кидает Босому. Баян с покупками. Заслоняет от Скрипкина откалывающего слесаря.

Баян

Вы, товарищ Скрипкин, внимания на эти грубые танцы не обращайте, оне вам нарождающийся тонкий вкус испортят.

Ребята общежития отворачиваются.

Слесарь

Брось кланяться! Набалдашник расколотишь.

Баян

Я понимаю вас, товарищ Скрипкин: трудно, невозможно, при вашей нежной душе, в ихнем грубом обществе. Еще один урок, оставьте ваше терпение не лопнутым. Ответственнейший шаг в жизни — первый фокстрот после бракосочетания. На всю жизнь должен впечатление оставить. Ну-с, пройдитесь с воображаемой дамой. Чего вы стучите, как на первомайском параде?

Присыпкин

Товарищ Баян, башмаки сниму: во-первых, жмут, во-вторых, стаптываются.

Баян

Вот, вот! Так, так, тихим шагом, как будто в лунную ночь в мечтах и меланхолии из пивной возвращаетесь. Так, так! Да не шевелите вы нижним бюстом, вы же не вагонетку, а мадмуазель везете. Так, так! Где рука? Низко рука!

Присыпкин

(скользит на воображаемом плече)

Не держится она у меня на воздухе.

Баян

А вы, товарищ Присыпкин, легкой разведкой лифчик обнаружьте и, как будто для отдохновения, большим пальчиком упритесь, и даме сочувствие приятно, и вам облегчение — о другой руке подумать можете. Чего плечьми затрясли? Это уже не фокстрот, это вы уже шиммское «па» продемонстрировать изволили.

Присыпкин

Нет. Это я так... на ходу почесался.

Баян

Да разве ж так можно, товарищ Присыпкин! Если с вами в вашем танцевальном вдохновении такой казус случится, вы закати́те глаза, как будто даму ревнуете, отступите по-испански к стене, быстро потритесь о какую-нибудь скульптуру *(в фешенебельном обществе, где вы будете вращаться, так этих скульптур и ваз разных всегда до черта наворочено)*. Потритесь, передернитесь, сверкните глазами и скажите: «Я вас поня́л, **коварррная**, вы мной играете... но...» и опять пусти́тесь в танец, как бы постепенно охлаждаясь и успокаиваясь.

Присыпкин

Вот так?

Баян

Браво! Хорошо! Талант у вас, товарищ Присыпкин! Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране — вам развер-

нуться негде. Разве наш Средний Козий переулок для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна, вам выход в Европу требуется, вам только Чемберленов и Пуанкарев сломить, и вы Мулен Ружи и Пантеоны красотой телодвижений восхищать будете. Так и запомните, так и замрите! Превосходно! А я пошел. За этими шаферами нужен глаз да глаз, до свадьбы задатком стакан и ни росинки больше, а работу выполнят, тогда хоть из горлышка. Оревуар. *(Уходит, крича из дверей.)* Не надевайте двух галстуков одновременно, особенно разноцветных, и зарубите на носу: нельзя навыпуск носить крахмальную рубаху!

Присыпкин меряет обновки.

Парень

Ванька, брось ты эту бузу, чего это тебя так расчучелило?

Присыпкин

Не ваше собачье дело, уважаемый товарищ! За што я боролся? Я за хорошую жизнь боролся. Вон она у меня под руками: и жена, и дом, и настоящее обхождение. Я свой долг, на случай надобности, всегда исполнить сумею. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Во! Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю. Во!

Слесарь

Боец! Суворов! Правильно!

Шел я верхом,
шел я низом,
строил мост в социализм,
не достроил и устал

и уселся у мостá.
Травка выросла у мóста.
По мостý идут овечки.
Мы желаем
очень просто
отдохнуть у этой речки...

Так, что ли?

Присыпкин

Да ну тебя! Отстань ты от меня с твоими грубыми агитками... Во! *(Садится на кровать, напевает под гитару.)*

На Луначарской улице
я помню старый дом —
с широкой чудной лестницей,
с изящнейшим окном.

Выстрел. Бросаются к двери.

Парень
(из двери)

Зоя Березкина застрелилась!

Все бросаются к двери.

Парень

Эх, и покроют ее теперь в ячейке!

Голоса

Скорее...
Скорее...
Скорую...
Скорую...

Голос

Скорая! Скорей! Что? Застрелилась! Грудь. Навылет. Средний Козий, 16.

Присыпкин один, спешно собирает вещи.

Слесарь

Из-за тебя, мразь волосатая, и такая баба убилась! Вон! *(Берет Присыпкина за пиджак, вышвыривает в дверь и следом выбрасывает вещи.)*

Уборщик

(бегущий с врачом, придерживает и приподымает Присыпкина, подавая ему вылетевшую шляпу)

И с треском же ты, парень, от класса отрываешься!

Присыпкин

(отворачиваясь, орет)

Извозчик, улица Луначарского, 17! С вещами!

III

Большая парикмахерская комната. Бока в зеркалах. Перед зеркалами бумажные цветища. На бритвенных столиках бутылки. Слева авансцены рояль с разинутой пастью, справа печь, заворачивающая трубы по всей комнате. Посредине комнаты круглый свадебный стол. За столом: ПьерСкрипкин, Эльзевира Ренесанс, двое шаферов и шаферищ, мамаша и папаша Ренесанс. Посаженый отец — бухгалтер и такая же мать. Олег Баян распоряжается в центре стола, спиной к залу.

Эльзевира

Начнем, Скрипочка?

Скрипкин

Обождать.

Пауза.

Эльзевира

Скрипочка, начнем?

Скрипкин

Обождать. Я желаю жениться в организованном порядке и в присутствии почетных гостей и особенно в присутствии особы секретаря завкома, уважаемого товарища Лассальченко... Во!

Гость
(вбегая)

Уважаемые новобрачные, простите великодушно за опоздание, но я уполномочен передать вам брачные пожелания нашего уважаемого вождя, товарища Лассальченко. Завтра, говорит, хоть в церковь, а сегодня, говорит, прийти не могу. Сегодня, говорит, партдень, и хочешь не хочешь, а в ячейку, говорит, пойтить надо. Перейдем, так сказать, к очередным делам.

Присыпкин

Объявляю свадьбу открытой.

Розалия Павловна

Товарищи и мусье, кушайте, пожалуйста. Где вы теперь найдете таких свиней? Я купила этот окорок три года назад на случай войны или с Грецией или с Польшей. Но... войны еще нет, а ветчина уже портится. Кушайте, мусье.

Все
(подымают стаканы и рюмки)

Горько! Горько!..

Эльзевира и Пьер целуются.

Горько! Г о-о-о-р ь-к-о-о!

Эльзевира повисает на Пьере. Пьер целует степенно. И с чувством классового достоинства.

Посаженый отец — бухгалтер

Бетховена!.. Шакеспеара!.. Просим изобразить кой-чего. Не зря мы ваши юбилеи ежедневно празднуем!

Тащат рояль.

Голоса

Под крылышко, под крылышко ее берите! Ух и зубов, зубов-то! Вдарить бы!

Присыпкин

Не оттопчите ножки моей рояли.

Баян

(встает, покачивается и расплескивает рюмку)

Я счастлив, я счастлив видеть изящное завершение на данном отрезке времени полного борьбы пути товарища Скрипкина. Правда, он потерял на этом пути один частный партийный билет, но зато приобрел много билетов государственного займа. Нам удалось согласовать и увязать их классовые и прочие противоречия, в чем нельзя не видеть вооруженному марксистским взглядом, так сказать, как в капле воды, будущее счастье человечества, именуемое в простонародье социализмом.

Все

Горько! Горько!

Эльзевира и Скрипкин целуются.

Баян

Какими капитальными шагами мы идем вперед по пути нашего семейного строительства! Разве когда мы с вами умирали под Перекопом, а многие да-

же умерли, разве мы могли предположить, что эти розы будут цвести и благоухать нам уже на данном отрезке времени? Разве когда мы стонали под игом самодержавия, разве хотя бы наши великие учителя Маркс и Энгельс могли бы предположительно мечтать или даже мечтательно предположить, что мы будем сочетать узами Гименея безвестный, но великий труд с поверженным, но очаровательным капиталом?

Все

Горько!.. Горько!..

Баян

Уважаемые граждане! Красота — это двигатель прогресса! Что бы я был в качестве простого трудящегося? Бочкин и — больше ничего! Что я мог в качестве Бочкина? Мычать! И больше ничего! А в качестве Баяна — сколько угодно! Например:

Олег Баян
от счастья пьян.

И вот я теперь Олег Баян, и я пользуюсь, как равноправный член общества, всеми благами культуры и могу выражаться, то есть нет — выражаться я не могу, но могу разговаривать, хотя бы как древние греки: «Эльзевира Скрипкина, передайте рыбки нам». И мне может вся страна отвечать, как какие-нибудь трубадуры:

Для промывки вашей глотки,
за изящество и негу
хвост сельдя и рюмку водки
преподносим мы Олегу.

Все

Браво! Ура! Горько!

Баян

Красота — это мать...

Шафер
(мрачно и вскакивая)

Мать! Кто сказал «мать»? Прошу не выражаться при новобрачных.

Шафера оттаскивают.

Все

Бетховена! Камаринского!

Тащат Баяна к роялю.

Баян

Съезжалися к загсу трамваи —
там красная свадьба была...

Все
(подпевают)

Жених был во всей прозодежде,
из блузы торчал профбилет!

Бухгалтер

Поня́л! Все поня́л! Это значит:

Будь здоров, Олег Баянчик,
кучерявенький баранчик...

Парикмахер
(с вилкой лезет к посаженой маме)

Нет, мадам, настоящих кучерявых теперь, после революции, нет. Шиньон гоффре делается так... Берутся щипцы *(вертит вилкой)*, нагреваются на слабом огне а ля этуаль *(тычет вилку в пламя печи)*, и взбивается на макушке эдакое волосяное суффле.

Посаженая

Вы оскорбляете мое достоинство как матери и как девушки... Пустите... Сукин сын!!!

Шафер

Кто сказал «сукин сын»? Прошу не выражаться при новобрачных!

Бухгалтер разнимает, подпевая, пытаясь крутнуть ручку кассового счетчика, с которым он вертится, как с шарманкой.

Эльзевира
(к Баяну)

Ах! Сыграйте, ах! Вальс «Тоска Макарова по Вере Холодной». Ах, это так шарман, ах, это просто петит истуар...

Шафер
(вооруженный гитарой)

Кто сказал «писуар»? Прошу при новобрачных...

Баян разнимает и набрасывается на клавиши.

Шафер
(приглядываясь, угрожающе)

Ты что же это на одной черной кости играешь? Для пролетариата, значит, на половине, а для буржуазии на всех?

Баян

Что вы, что вы, гражданин? Я на белых костях в особенности стараюсь.

Шафер

Значит, опять выходит, что белая кость лучше? Играй на всех!..

Баян

Да я на всех!

Шафер

Значит, с белыми вместе, соглашатель?

Баян

Товарищ... Так это же... цедура.

Шафер

Кто сказал «дура»? При новобрачных. Во!!! *(Грохает гитарой по затылку.)*

Парикмахер нацепливает на вилку волосы посаженой матери. Присыпкин оттесняет бухгалтера от жены.

Присыпкин

Вы что же моей жене селедку в грудь тычете? Это же ж вам не клумба, а грудь, и это же вам не хризантема, а селедка!

Бухгалтер

А вы нас лососиной угощали? Угощали? Да? А сами орете — да?

В драке опрокидывают газовую невесту на печь, печь опрокидывается, — пламя, дым.

Крики

Горим!!! Кто сказал «горим»?.. Пожар! Лососину... Съезжались из загса трамваи...

IV

В чернейшей ночи поблескивает от недалекого пламени каска пожарного. Начальник один. Подходят и уходят докладывающие пожарные.

1-й пожарный

Не совладать, товарищ начальник! Два часа никто не вызывал... Пьяные стервы!! Горит, как пороховой склад. *(Уходит.)*

Начальник

Чего ж ему не гореть? Паутина да спирт.

2-й пожарный

Затухает, вода на лету сосулится. Погреб водой залили глаже, чем каток. *(Уходит.)*

Начальник

Тела́ нашли?

3-й пожарный

Одного погрузили, вся коробка испорчена. Должно быть, балкой поломана. Прямо в морг. *(Уходит.)*

4-й пожарный

Погрузили... одно обгоревшее тело неизвестного пола с вилкой в голове.

1-й пожарный

Под печкой обнаружена бывшая женщина с проволочным венчиком на затылочных костях.

3-й пожарный

Обнаружен неизвестный довоенного телосложения с кассой в руках — очевидно, при жизни бандит.

2-й пожарный

Среди живых нет никого... Среди трупов недосчитывается один, так что согласно ненахождения полагаю — сгорел по мелочам.

1-й пожарный

Ну и иллюминация! Прямо театр, только все действующие лица сгорели.

3-й пожарный

Везла их со свадьбы карета,
карета под красным крестом.

Горнист скликает пожарных. Строятся. Маршируют через театр, выкрикивая.

Пожарные

Товарищи и граждане,
водка — яд.
Пьяные
республику
зазря спалят!
Живя с каминами,
живя с примусами,
сожжете дом
и сгорите сами!
Случайный
сон —
причина пожаров, —
на сон
не читайте
Надсона и Жарова!

V

Огромный до потолка зал заседаний, вздымающийся амфитеатром. Вместо людских голосов — радиораструбы, рядом несколько висящих рук по образцу высовывающихся из автомобилей. Над каждым раструбом цветные электрические лампы, под самым потолком экран. Посредине трибуна с микрофоном. По бокам трибуны распределители и регуляторы голосов и света. Два механика — старик и молодой — возятся в темной аудитории.

Старый

(сдувая разлохмаченной щеткой из перьев пыль с раструбов)

Сегодня важное голосование. Смажь маслом и проверь голосовательный аппарат земледельческих районов. Последний раз была заминка. Голосовали со скрипом.

Молодой

Земледельческие? Хорошо! Центральные смажу. Протру замшей горло смоленским аппаратам. На прошлой неделе опять похрипывали. Надо подвинтить руки служебным штатам столиц, а то у них какой-то уклончик: правая за левую цепляется.

Старый

Уральские заводы готовы. Металлургические курские включим, там провели новый аппарат на шестьдесят две тысячи голосов второй группы электростанции Запорожья. С ними ничего, работа легка.

Молодой

А ты еще помнишь, как раньше было? Смешно, должно быть?

Старый

Меня раз мамка на руках на заседание носила. Народу совсем мало — человек тысячу скопилось, сидят, как дармоеды, и слушают. Вопрос был какой-то важный и громкий, одним голосом прошел. Мать была против, а проголосовать не могла, потому что меня на руках держала.

Молодой

Ну конечно! Кустарничество!

Старый

Раньше такой аппарат и не годился бы. Бывало, человеку первому руку поднять надо, чтоб его заметили, так он ее под нос председателю тычет, к самой ноздре подносит обе, жалеет только, что не древняя богиня Изида, а то б в двенадцать рук голосовал. А многие спасались. Про одного рассказывали, что он какую-то важную дискуссию всю в уборной просидел — голосовать боялся. Сидел и задумывался, шкуру, значит, служебную берёг.

Молодой

Уберег?

Старый

Уберег!.. Только по другой специальности назначили. Видят любовь к уборным, так его там главным назначили при мыле и полотенцах. Готово?

Молодой

Готово!

Сбегают вниз к распределительным доскам и проводам. Человек в очках и бородке, распахнув дверь, прямым шагом входит на эстраду, спиной к аудитории, поднимает руки.

Оратор

Включить одновременно все районы федерации!

Старший и младший

Есть!

Одновременно загораются все красные, зеленые и синие лампочки аудитории.

Оратор

Алло! Алло! Говорит председатель института человеческих воскрешений. Вопрос опубликован телеграммами, обсужден, прост и ясен. На перекрестке 62-й улицы и 17-го проспекта бывшего Тамбова прорывающая фундамент бригада на глубине семи метров обнаружила засыпанный землей обледеневший погреб. Сквозь лед феномена просвечивает замороженная человеческая фигура. Институт считает возможным воскрешение индивидуума, замерзшего пятьдесят лет назад.

Урегулируем разницу мнений.

Институт считает, что каждая жизнь рабочего должна быть использована до последней секунды.

Просвечивание показало на руках существа мозоли, бывшие полстолетия назад признаком трудящегося. Напоминаем, что после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, создавших федерацию земли, декретом от 7 ноября 1965 года жизнь человека неприкосновенна. Довожу до вашего сведения возражения эпидемической секции, боящейся угрозы распространения бактерий, наполнявших бывшие существа бывшей России. С полным сознанием ответственности приступаю к решению. Товарищи, помните, помните и еще раз помните:

Мы
голосуем
человеческую жизнь!

Лампы тушатся, пронзительный звонок, на экране загорается резолюция, повторяемая оратором.

«Во имя исследования трудовых навыков рабочего человечества, во имя наглядного сравнительного изучения быта требуем воскрешения».

Голоса половины раструбов: «Правильно, принять!», часть голосов: «Долой!» Голоса смолкают мгновенно. Экран тухнет.

Второй звонок, загорается новая резолюция. Оратор повторяет:

«Резолюция санитарно-контрольных пунктов металлургических и химических предприятий Донбасса. Во избежание опасности распространения бактерий подхалимства и чванства, характерных для двадцать девятого года, требуем оставить экспонат в замороженном виде».

Голоса раструбов: «Долой!» Одинокие выкрики: «Правильно!»

Есть ли еще резолюции и дополнения?

Загорается третий экран, оратор повторяет:

«Земледельческие районы Сибири просят воскрешать осенью, по окончании полевых работ, для облегчения возможности присутствия широких масс желающих».

Подавляющее количество голосов-труб: «Долой!», «Отклонить!»
Лампы загораются.

Ставлю на голосование: кто за первую резолюцию, прошу поднять руки!

Подымается подавляющее большинство железных рук.

Опустить! Кто за поправку Сибири?

Подымаются две редких руки.

Собрание федерации приняло: «Вос-кре-сить!»

Рев всех раструбов: «Ура!!!» Голоса молкнут.

Заседание закрыто!

Из двух распахнувшихся дверей врываются репортеры. Оратор прорывается, бросая радостно во все стороны:

Воскресить! Воскресить!! Воскресить!!!

Репортеры вытаскивают из карманов микрофоны, на ходу крича:

1-й репортер

Алло!!! Волна 472 % метра... «Чукотские известия»... Воскресить!

2-й репортер

Алло! Алло!!! Волна 376 метров... «Витебская вечерняя правда»... Воскресить!

3-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 211 метров... «Варшавская комсомольская правда»... Воскресить!

4-й репортер

«Армавирский литературный понедельник». Алло! Алло!!!

5-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 44 метра. «Известия чикагского совета»... Воскресить!

6-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 115 метров... «Римская красная газета»... Воскресить!

7-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 78 метров... «Шанхайская беднота»... Воскресить!

8-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 220 метров... «Мадридская батрачка»... Воскресить!

9-й репортер

Алло! Алло! Алло! Волна 11 метров... «Кабульский пионер»... Воскресить!

Газетчики врываются с готовыми оттисками.

1-й газетчик

Разморозить
или не разморозить?
Передовицы
в стихах и в прозе!

2-й газетчик

Всемирная анкета
по важнейшей теме —
о возможности заноса
подхалимских эпидемий!

3-й газетчик

Статьи про древние
гитары и романсы
и прочие
способы
одурачивания массы!

4-й газетчик

Последние новости!!! Интервью! Интервью!

5-й газетчик

Научный вестник,
пожалуйста, не пугайтесь!
Полный перечень
так называемых ругательств!

6-й газетчик

Последнее радио!

7-й газетчик

Теоретическая постановка
исторического вопроса:
может ли
слона
убить папироса!

8-й газетчик

Грустно до слез,
смешно до колик:
объяснение
слова «алкоголик»!

VI

Матовая стеклянная двухстворчатая дверь, сквозь стены просвечивают металлические части медицинских приборов. Перед стеной старый профессор и пожилая ассистентка, еще сохранившая характерные черты Зои Березкиной. Оба в белом, больничном.

Зоя Березкина

Товарищ! Товарищ профессор, прошу вас, не делайте этого эксперимента. Товарищ профессор, опять пойдет буза...

Профессор

Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое «буза»? *(Ищет в словаре.)* Буза... Буза... Буза... Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков... Буза — это род деятельности людей, которые мешали всякому роду деятельности...

Зоя Березкина

Эта его «деятельность» пятьдесят лет назад чуть не стоила мне жизни. Я даже дошла до... попытки самоубийства.

Профессор

Самоубийство? Что такое «самоубийство»? *(Ищет в словаре.)* Самообложение, самодержавие, самореклама, самоуплотнение... Нашел «самоубийство». *(Удивленно.)* Вы стреляли в себя? Приговор? Суд? Ревтрибунал?

Зоя Березкина

Нет... Я сама.

Профессор

Сама? От неосторожности?

Зоя Березкина

Нет... От любви.

Профессор

Чушь... От любви надо мосты строить и детей рожать... А вы... Да! Да! Да!

Зоя Березкина

Освободите меня, я, право, не могу.

Профессор

Это и есть... Как вы сказали... Буза. Да! Да! Да! Да! Буза! Общество предлагает вам выявить все имеющиеся у вас чувства для максимальной легкости преодоления размораживаемым субъектом пятидесяти анабиозных лет. Да! Да! Да! Да! Ваше присутствие очень, очень важно. Я рад, что вы нашлись и пришли. Он — это он! А вы — это она! Скажите,

а ресницы у него были мягкие? На случай поломки при быстром размораживании.

Зоя Березкина

Товарищ профессор, как же я могу упомнить ресницы, бывшие пятьдесят лет назад...

Профессор

Как? Пятьдесят лет назад? Это вчера!.. А как я помню цвет волос на хвосте мастодонта полмиллиона лет назад? Да! Да! Да!.. А вы не помните — он сильно раздувал ноздри при вдыхании в возбужденном обществе?

Зоя Березкина

Товарищ профессор, как же я могу помнить?! Уже тридцать лет никто не раздувает ноздрей в подобных случаях.

Профессор

Так! Так! Так! А вы не осведомлены относительно объема желудка и печени, на случай выделения возможного содержания спирта и водки, могущих воспламениться при необходимом высоком вольтаже?

Зоя Березкина

Откуда я могу запомнить, товарищ профессор! Помню, был какой-то живот...

Профессор

Ах, вы ничего не помните, товарищ Березкина! По крайней мере был ли он порывист?

Зоя Березкина

Не знаю... Возможно, но... только не со мной.

Профессор

Так! Так! Так! Я боюсь, что мы отмораживаем его, а отмерзли пока что вы. Да! Да! Да!.. Ну-с, приступаем.

Нажимает кнопку, стеклянная стена тихо расходится. Посредине, на операционном столе, блестящий оцинкованный ящик человечьих размеров. У ящика краны, под кранами ведра. К ящику электропроводки. Цилиндры кислорода. Вокруг ящика шесть в р а ч е й, белых и спокойных. Перед ящиком на авансцене шесть фонтанных умывальников. На невидимой проволоке, как на воздухе, шесть полотенец.

Профессор

(переходя от врача к врачу, говорит)
(Первому.)

Ток включить по моему сигналу.

(Второму.)

Доведите теплоту до 36,4 — пятнадцать секунд каждая десятая.

(Третьему.)

Подушки кислорода наготове?

(Четвертому.)

Воду выпускать постепенно, заменяя лед воздушным давлением.

(Пятому.)

Крышку открыть сразу.

(Шестому.)

Наблюдать в зеркало стадии оживления.

Врачи наклоняют головы в знак ясности и расходятся по своим местам.

Начинаем!

Включается ток, вглядываются в температуру. Каплет вода. У маленькой правой стенки с зеркалом впившийся доктор.

6-й врач

Появляется естественная окраска!

Пауза

Освобожден ото льда!

Пауза

Грудь вибрирует!

Пауза

(Испуганно.)

Профессор, обратите внимание на неестественную порывистость...

Профессор

(подходит, вглядывается, успокоительно)

Движения нормальные, чешется, — очевидно, оживают присущие подобным индивидуумам паразиты.

6-й врач

Профессор, непонятная вещь: движением левой руки отделяется от тела...

Профессор

(вглядывается)

Он сросся с музыкой, они называли это «чуткой душой». В древности жили Страдивариус и Уткин. Страдивариус делал скрипки, а это делал Уткин, и называлось это гитарой.

Профессор оглядывает термометр и аппарат, регистрирующий давление крови.

1-й врач

36,1.

2-й врач

Пульс 68.

6-й врач

Дыхание выровнено.

Профессор

По местам!

Врачи отходят от ящика. Крышка мгновенно откинулась, из ящика подымается взъерошенный и удивленный Присыпкин, озирается, прижав гитару.

Присыпкин

Ну и выспался! Простите, товарищи, конечно, выпимши был! Это какое отделение милиции?

Профессор

Нет, это совсем другое отделение! Это — отделение ото льда кожных покровов, которые вы отморозили...

Присыпкин

Чего? Это вы чевой-то отморозили. Еще посмотрим, кто из нас были пьяные. Вы, как спецы-доктора, всегда сами около спиртов третесь. А я себя, как личность, всегда удостоверить сумею. Документы при мне. *(Выскакивает, выворачивает карманы.)* 17 руб. 60 коп. при мне. В МОПР? Уплатил. В Осоавиахим? Внес. «Долой неграмотность»? Пожалуйста. Это что? Выписка из загса! *(Свистнул.)* Да я же

вчера женился! Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Ну и всыплют мне дома! Расписка шаферов здесь. Профсоюзный билет здесь. *(Взгляд падает на календарь, трет глаза, озирается в ужасе.)* 12 мая 1979 года! Это ж за сколько у меня в профсоюз не плочено! Пятьдесят лет! Справок-то, справок спросют! Губотдел! ЦК! Господи! Жена!!! Пустите! *(Обжимает окружающим руки, бросается в дверь.)*

За ним беспокоящаяся Березкина. Доктора окружают профессора. Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.

Хором

Это что он такое руками делал? Совал и тряс, тряс и совал...

Профессор

В древности был такой антисанитарный обычай.

Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.

Присыпкин
(натыкаясь на Зою)

Какие вы, граждане, собственно, есть? Кто я? Где я? Не матушка ли вы Зои Березкиной будете?

Рев сирены обернул присыпкинскую голову.

Куда я попал? Куда меня попали? Что это?.. Москва?.. Париж?? Нью-Йорк?!. Извозчик!!!

Рев автомобильных сирен.

Ни людей, ни лошадей! Автодоры, автодоры, автодоры!!! *(Прижимается к двери, почесывается спиной, ищет пятерней, оборачивается, видит на белой стене переползающего с воротничка клопа.)*

Клоп, клопик, клопуля!!! *(Перебирает гитару, поет.)*

Не уходи, побудь со мною... *(Ловит клопа пятерней; клоп уполз.)* Мы разошлись, как в море корабли... Уполз!.. Один! Но нет ответа мне, снова один я... Один!!! Извозчик, автодоры... Улица Луначарского, 17! Без вещей!!! *(Хватается за голову, падает в обморок на руки выбежавшей из двери Березкиной.)*

VII

Середина сцены — треугольник сквера. В сквере три искусственных дерева. Первое дерево: на зеленых квадратах-листьях — огромные тарелки, на тарелках мандарины. Второе дерево — бумажные тарелки, на тарелках яблоки. Третье — зеленое, с елочными шишками, — открытые флаконы духов. Бока — стеклянные и облицованные стены домов. По сторонам треугольника — длинные скамейки. Входит репортер, за ним четверо: мужчины и женщины.

Репортер

Товарищи, сюда, сюда! В тень! Я вам расскажу по порядку все эти мрачные и удивительные происшествия. Во-первых... Передайте мне мандарины. Это правильно делает городское самоуправление, что сегодня деревья мандаринятся, а то вчера были одни груши — и не сочно, и не вкусно, и не питательно...

Девушка снимает с дерева тарелку с мандаринами, сидящие чистят, едят, с любопытством наклоняясь к репортеру.

1-й мужчина

Ну, скорей, товарищ, рассказывайте всё подробно и по порядку.

Репортер

Так вот... Какие сочные ломтики! Не хотите ли?.. Ну хорошо, хорошо, рассказываю. Подумаешь, нетерпение! Конечно, мне, как президенту репортажа, известно всё... Так вот, видите, видите?..

Быстрой походкой проходит человек с докторским ящиком с термометрами. Это — ветеринар.

Эпидемия распространяется. Будучи оставлено одно, это воскрешенное млекопитающее вступило в общение со всеми домашними животными небоскреба, и теперь все собаки взбесились. Оно выучило их стоять на задних лапах. Собаки не лают и не играют, а только служат. Животные пристают ко всем обедающим, подласкиваются и подлизываются. Врачи говорят, что люди, покусанные подобными животными, приобретут все первичные признаки эпидемического подхалимства.

Сидящие

О-о-о!!!

Репортер

Смотрите, смотрите!

Проходит шатающийся человек, нагруженный корзинками с бутылками пива.

Проходящий
(напевает)

В девятнадцатом веке
чу́дно жили человеки —
пили водку, пили пиво,
сизый нос висел, как слива!

Репортер

Смотрите, конченый, больной человек! Это один из ста семидесяти пяти рабочих второй медицинской лаборатории. В целях облегчения переходного существования врачами было предписано поить воскресшее млекопитающее смесью, отравляющей в огромных дозах и отвратительной в малых, так называемым пивом. У них от ядовитых испарений закружилась голова, и они по ошибке глотнули этой

прохладительной смеси. И с тех пор сменяют уже третью партию рабочих. Пятьсот двадцать рабочих лежат в больницах, но страшная эпидемия трехгорной чумы пенится, бурлит и подкашивает ноги.

Сидящие

А-а-а-а!!!

Мужчина
(мечтательно и томительно)

Я б себя принес в жертву науке, — пусть привьют и мне эту загадочную болезнь!

Репортер

Готов! И этот готов! Тихо... Не спугните эту лунатичку...

Проходит девушка, ноги заплетаются в «па» фокстрота и чарльстона, бормочет стихи по книжице в двух пальцах вытянутой руки. В двух пальцах другой руки воображаемая роза, подносит к ноздрям и вдыхает.

Несчастная, она живет рядом с ним, с этим бешеным млекопитающим, и вот ночью, когда город спит, через стенку стали доноситься к ней гитарные рокотанья, потом протяжные душу раздирающие придыхания и всхлипы нараспев, как это у них называется? «Романсы», что ли? Дальше — больше, и несчастная девушка стала сходить с ума. Убитые горем родители собирают консилиумы. Профессора говорят, что это приступы острой «влюбленности», — так называлась древняя болезнь, когда человечья половая энергия, разумно распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в одном воспалительном процессе, ведя к безрассудным и невероятным поступкам.

Девушка
(закрывает глаза руками)

Я лучше не буду смотреть, я чувствую, как по воздуху разносятся эти ужасные влюбленные микробы.

Репортер

Готова, и эта готова... Эпидемия океанится...

30 герлс проходят в танце.

Смотрите на эту тридцатиголовую шестидесятиножку! Подумать только — и это вздымание ног они *(к аудитории)* обзывали искусством!

Фокстротирующая пара

Эпидемия дошла... дошла... до чего дошла? *(Смотрит в словарь.)* До а-по-гея, ну... это уже двуполое четвероногое.

Вбегает директор зоологического сада с небольшим стеклянным ларчиком в руках. За директором толпа, вооруженная зрительными трубами, фотоаппаратами и пожарными лестницами.

Директор
(ко всем)

Видали? Видали? Где он? Ах, вы ничего не видали!! Отряд охотников донес, что его видели здесь четверть часа тому назад: он перебирался на четвертый этаж. Считая среднюю его скорость в час полтора метра, он не мог уйти далеко. Товарищи, немедленно обследуйте стены!

Наблюдатели развинчивают трубы, со скамеек вскакивают, вглядываются, заслоняя глаза. Директор распределяет группы, руководит поисками.

Голоса

Разве его найдешь!.. Нужно голого человека на матраце в каждом окне выставить — он на человека бежит...

Не орите, спугнете!!!

Если я найду, я никому не отдам...

Не смеешь: он коммунальное достояние...

Восторженный голос

Нашел!!! Есть! Ползет!..

Бинокли и трубы уставлены в одну точку. Молчание, прерываемое щелканием фото- и киноаппаратов.

Профессор

(придушенным шепотом)

Да... Это он! Поставьте засады и охрану. Пожарные, сюда!!!

Люди с сетками окружают место. Пожарные развинчивают лестницу, люди карабкаются гуськом.

Директор

(опуская трубу, плачущим голосом)

Ушел... На соседнюю стену ушел... SOS! Сорвется — убьется! Смельчаки, добровольцы, герои!!! Сюда!!!

Развинчивают лестницу перед второй стеной, вскарабкиваются. Зрители замирают.

Восторженный голос сверху

Поймал! Ура!!!

Директор

Скорей!!! Осторожней!!! Не упустите, не помните животному лапки...

По лестнице из рук в руки передают зверя, наконец очутившегося в директорских руках. Директор запрятывает зверя в ларец и подымает ларец над головой.

Спасибо вам, незаметные труженики науки! Наш зоологический сад осчастливлен, ошедеврен... Мы поймали редчайший экземпляр вымершего и популярнейшего в начале столетия насекомого. Наш город может гордиться — к нам будут стекаться ученые и туристы... Здесь, в моих руках, единственный живой «клопус нормалис». Отойдите, граждане: животное уснуло, животное скрестило лапки, животное хочет отдохнуть! Я приглашаю вас всех на торжественное открытие в зоопарк. Важнейший, тревожнейший акт поимки завершен!

VIII

Гладкие опаловые, полупрозрачные стены комнаты. Сверху из-за карниза ровная полоса голубоватого света. Слева большое окно. Перед окном рабочий чертежный стол. Радио. Экран. Три-четыре книги. Справа выдвинутая из стены кровать, на кровати, под чистейшим одеялом, грязнейший Присыпкин. Вентиляторы. Вокруг Присыпкина угол обгрязнен. На столе окурки, опрокинутые бутылки. На лампе обрывок розовой бумаги. Присыпкин стонет. Врач нервно шагает по комнате.

Профессор
(входит)

Как дела больного?

Врач

Больного — не знаю, а мои отвратительны! Если вы не устроите смену каждые полчаса, — он перезаразит всех. Как дыхнет, так у меня ноги подкашиваются! Я уж семь вентиляторов поставил: дыхание разгонять.

Присыпкин

О-о-о!

Профессор бросается к Присыпкину.

Присыпкин

Профессор, о профессор!!!

Профессор тянет носом и отшатывается в головокружении, ловя воздух руками.

Присыпкин

Опохмелиться...

Профессор наливает пива на донышко стакана, подает.

Присыпкин
(приподнимается на локтях. Укоризненно)

Воскресили... и издеваются! Что это мне — как слону лимонад!..

Профессор

Общество надеется развить тебя до человеческой степени.

Присыпкин

Черт с вами и с вашим обществом! Я вас не просил меня воскрешать. Заморозьте меня обратно! Во!!!

Профессор

Не понимаю, о чем ты говоришь! Наша жизнь принадлежит коллективу, и ни я, ни кто другой не могут эту жизнь...

Присыпкин

Да какая же это жизнь, когда даже карточку любимой девушки нельзя к стенке прикнопить? Все

кнопки об проклятое стекло обламываются... Товарищ профессор, дайте опохмелиться.

Профессор

(наливает стакан)

Только не дышите в мою сторону.

Зоя Березкина входит с двумя стопками книг. Врачи переговариваются с ней шепотом, выходят.

Зоя Березкина

(садится около Присыпкина, распаковывает книги)

Не знаю, пригодится ли это. Про что ты говорил, этого нет, и никто про это не знает. Есть про розы только в учебниках садоводства, есть грезы только в медицине, в отделе сновидений. Вот две интереснейшие книги приблизительно того времени. Перевод с английского: Хувер — «Как я был президентом».

Присыпкин

(берет книгу, отбрасывает)

Нет, это не для сердца, надо такую, чтоб замирало...

Зоя Березкина

Вот вторая — какого-то Муссолини: «Письма из ссылки».

Присыпкин

(берет, откидывает)

Нет, это ж не для души. Отстаньте вы с вашими грубыми агитками. Надо, чтоб щипало...

Зоя Березкина

Не знаю, что это такое? Замирало, щипало... щипало, замирало...

Присыпкин

Что ж это? За что мы старались, кровь проливали, когда мне, гегемону, значит, в своем обществе в новоизученном танце и растанцеваться нельзя?

Зоя Березкина

Я показывала ваше телодвижение даже директору центрального института движений. Он говорит, что видал такое на старых коллекциях парижских открыток, а теперь, говорит, про такое и спросить не у кого. Есть пара старух — помнят, а показать не могут по причинам ревматическим.

Присыпкин

Так для чего ж я себе преемственное изящное образование вырабатывал? Работать же я ж и до революции мог.

Зоя Березкина

Я возьму тебя завтра на танец десяти тысяч рабочих и работниц, будут двигаться по площади. Это будет веселая репетиция новой системы полевых работ.

Присыпкин

Товарищи, я протестую!!! Я ж не для того размерз, чтобы вы меня теперь засушили. *(Срывает одеяло, вскакивает, схватывает свернутую кипу книг и вытряхивает ее из бумаги. Хочет изодрать бумагу и вдруг вглядывается в буквы, перебегая от лампы к лампе.)* Где? Где вы это, взяли?..

Зоя Березкина

На улицах всем раздавали... Должно быть, в библиотеке в книги вложили.

Присыпкин

Спасен!!! Ура!!! *(Бросается к двери, как флагом развевая бумажкой.)*

Зоя Березкина
(одна)

Я прожила пятьдесят лет вперед, а могла умереть пятьдесят лет назад из-за такой мрази.

IX

Зоологический сад. Посредине на пьедестале клетка, задрапированная материями и флагами. Позади клетки два дерева. За деревьями клетки слонов и жирафов. Слева клетки трибуна, справа возвышение для почетных гостей. Кругом музыканты. Группами подходят зрители. Распорядители с бантами расставляют подошедших — по занятиям и росту.

Распорядитель

Товарищи иностранные корреспонденты, сюда! Ближе к трибунам! Посторонитесь и дайте место бразильцам! Их аэрокорабль сейчас приземляется на центральном аэродроме. *(Отходит, любуется.)*

Товарищи негры, стойте вперемежку с англичанами красивыми цветными группами, англосаксонская белизна еще больше оттенит вашу оливковость... Учащиеся вузов — налево, к вам направлены три старухи и три старика из союза столетних. Они будут дополнять объяснения профессоров рассказами очевидцев.

Въезжают в колясках старики и старухи.

1-я старуха

Как сейчас помню...

1-й старик

Нет — это я помню, как сейчас!

2-я старуха

Вы помните, как сейчас, а я помню, как раньше.

2-й старик

А я как сейчас помню, как раньше.

3-я старуха

А я помню, как еще раньше, совсем, совсем рано.

3-й старик

А я помню и как сейчас и как раньше.

Распорядитель

Тихо, очевидцы, не шепелявьте! Расступитесь, товарищи, дорогу детям! Сюда, товарищи! Скорее! Скорее!!

Дети

(маршируют колонной с песней)

Мы здорово
учимся
на бывшее «ять»!
Зато мы
и лучше всех
умеем
гулять.
Иксы
и игреки
давно
сданы.
Идем
туда,
где тигрики
и где
слоны!

Сюда,
где звери многие,
и мы
с людьём
в сад
зоологии
идем!
идем!!
идем!!!

Распорядитель

Граждане, желающие доставлять экспонатам удовольствия, а также использовать их в научных целях, благоволят приобретать дозированные экзотические продукты и научные приборы только у официальных служителей зоосада. Дилетантство и гипербола в дозах — смертельны. Просим пользоваться только этими продуктами и приборами, выпущенными центральным медицинским институтом и городскими лабораториями точной механики.

По саду и театру идут служители зоосада.

1-й служитель

В кулак
бактерии
рассматривать глупо!
Товарищи,
берите
микроскопы и лупы!

2-й служитель

Иметь
советует
доктор Тоболкин
на случай оплевания
раствор карболки.

3-й служитель

Кормление экспонатов —
незабываемая картина!
Берите
дозы
алкоголя и никотина!

4-й служитель

Поите алкоголем,
и животные обеспечены
подагрой,
идиотизмом
и расширением печени.

5-й служитель

Гвоздика огня
и дымная роза
гарантируют
100
процентов
склероза.

6-й служитель

Держите
уши
в полном вооружении.
Наушники
задерживают
грубые выражения.

Распорядитель
(расчищает проход к трибуне горсовета)

Товарищ председатель и его ближайшие сотрудники оставили важнейшую работу и под древний государственный марш прибыли на наше торжество. Приветствуем дорогих товарищей!

Все аплодируют, проходит группа с портфелями, степенно раскланиваясь и напевая.

Все

Службы
бремя
не сморщило нас.
Делу —
время,
потехе —
час!
Привет вам
от города,
храбрые ловцы!
Мы вами
го́рды,
мы —
города отцы!!!

Председатель

(входит на трибуну, взмахивает флагом, всё затихает)

Товарищи, объявляю торжество открытым. Наши года чреваты глубокими потрясениями и переживаниями внутреннего порядка. Внешние события редки. Человечество, истомленное предыдущими событиями, даже радо этому относительному покою. Однако мы никогда не отказываемся от зрелища, которое, будучи феерическим по внешности, таит под радужным оперением глубокий научный смысл. Прискорбные случаи в нашем городе, явившиеся результатом неосмотрительного допущения к пребыванию в нем двух паразитов, случаи эти моими силами и силами мировой медицины изжиты. Однако эти случаи, теплящиеся слабым напоминанием прошлого, подчеркивают ужас поверженного времени и

Обложка книги

Маяковский на Уолл-стрит в Нью-Йорке. 1925

Маяковский позирует Д. Бурлюку, третий — художник А. Маневич. Раковей-бич, близ Нью-Йорка, 1925

На репетиции «Клопа» в Государственном театре им. Вс. Мейерхольда: Д. Шестакович, Вс. Мейерхольд, В. Маяковский, А. Родченко. 1929

На репетиции «Клопа» в Государственном театре им. Вс. Мейерхольда: Д. Шестакович, Вс. Мейерхольд, В. Маяковский, А. Родченко. 1929

Маяковский на выставке «20 лет работы». Москва, 1930

Этот портрет к юбилею Маяковского был напечатан в журнале «Печать и революция» с таким приветствием: «Великого революционного поэта Владимира Маяковского поздравляем с двадцатилетием его работы!»
Но из отпечатанного тиража какой-то большой рапповский начальник распорядился эту фотографию выдрать, поскольку его возмутило, что «попутчика» посмели назвать «революционным», да еще и «великим» поэтом

14 апреля 1930

Улица Воровского в день похорон Маяковского.
17 апреля 1930

мощь и трудность культурной борьбы рабочего человечества.

Да закалятся ду́ши и сердца́ нашей молодежи на этих зловещих примерах!

Не могу не отметить благодарностью и предоставляю слово прославленному нашему директору, разгадавшему смысл странных явлений и сделавшему из пагубных явлений научное и веселое препровождение времени.

Ура!!!

Все кричат «ура», музыка играет туш, на трибуну влазит раскланивающийся директор зоологического сада.

Директор

Товарищи! Я обрадован и смущен вашим вниманием. Учитывая и свое участие, я не могу всё же не принести благодарности преданным труженикам союза охотников, являющимся непосредственными героями поимки, а также уважаемому профессору института воскрешений, поборовшему замораживающую смерть. Хотя я и не могу не указать, что первая ошибка уважаемого профессора была косвенной причиной известных бедствий. По внешним мимикрийным признакам — мозолям, одежде и прочему — уважаемый профессор ошибочно отнес размороженное млекопитающее к «гомо сапиенс» и к его высшему виду — к классу рабочих. Не приписываю успех исключительно своему долгому обращению с животными и проникновению в их психологию. Мне помог случай. Неясная, подсознательная надежда твердила: «Напиши, дай, разгласи объявления». И я дал:

«Исходя из принципов зоосада, ищу живое человечье тело для постоянных обкусываний и для содержания и развития свежеприобретенного насекомого в привычных ему, нормальных условиях».

Голос из толпы

Ах, кой ужас!

Директор

Я понимаю, что ужас, я сам не верил собственному абсурду, и вдруг... существо является! Его внешность почти человеческая... Ну, вот как мы с вами...

Председатель совета
(звонит в звонок)

Товарищ директор, я призываю вас к порядку!

Директор

Простите, простите! Я, конечно, сейчас же путем опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем дело со страшным человекообразным симулянтом и что это самый поразительный паразит. Не буду вдаваться в подробности, тем более что они вам сейчас откроются в этой в полном смысле поразительной клетке.

Их двое — разных размеров, но одинаковых по существу: это знаменитые «клопус нормалис» и... и «обывателиус вульгарис». Оба водятся в затхлых матрацах времени.

«Клопус нормалис», разжирев и упившись на теле одного человека, падает по́д кровать.

«Обывателиус вульгарис», разжирев и упившись на теле всего человечества, падает на́ кровать. Вся разница!

Когда трудящееся человечество революции обчесывалось и корчилось, соскребая с себя грязь, они свивали себе в этой самой грязи гнезда и домики, били жен и клялись Бебелем, и отдыхали и благодушествовали в шатрах собственных галифе. Но «обыватели́ус вульгарис» страшнее. С его чудовищной мимикрией он завлекает обкусываемых, прикиды-

ваясь то сверчком-стихоплетом, то романсоголосой птицей. В те времена даже одежда была у них мимикрирующая — птичье обличье — крылатка и хвостатый фрак с белой-белой крахмальной грудкой. Такие птицы свивали гнезда в ложах театров, громоздились на дубах опер, под Интернационал в балетах чесали ногу об ногу, свисали с веточек строк, стригли Толстого под Маркса, голосили и зазывали в возмутительных количествах и... простите за выражение, но мы на научном докладе... гадили в количествах, не могущих быть рассматриваемыми, как мелкая птичья неприятность.

Товарищи! Впрочем... убеждайтесь сами!

Делает знак, служители обнажают клетку; на пьедестале клопий ларец, за ним возвышение с двуспальной кроватью. На кровати П р и с ы п к и н с гитарой. Сверху клетки свешивается желтая абажурная лампа. Над головой Присыпкина сияющий венчик — веер открыток. Бутылки стоят и валяются на полу. Клетка окружена плевательными урнами. На стенах клетки — надписи, с боков фильтры и озонаторы. Надписи: 1. «Осторожно — плюется!» 2. «Без доклада не входить!» 3. «Берегите уши — оно выражается!» Музыка сыграла туш; освещение бенгальское; отхлынувшая толпа приближается, онемев от восторга.

П р и с ы п к и н

На Луначарской улице
я помню старый дом —
с широкой темной лестницей,
с завешенным окном!..

Д и р е к т о р

Товарищи, подходите, не бойтесь, оно совсем смирное. Подходите, подходите! Не беспокойтесь: четыре фильтра по бокам задерживают выражения на внутренней стороне клетки, и наружу поступают немногочисленные, но вполне достойные слова. Фильтры прочищаются ежедневно специальными

служителями в противогазах. Смотрите, оно сейчас будет так называемое «курить».

Голос из толпы

Ах, какой ужас!

Директор

Не бойтесь — сейчас оно будет так называемое «вдохновляться». Скрипкин, опрокиньте!

Скрипкин тянется к бутылке с водкой.

Голос из толпы

Ах, не надо, не надо, не мучайте бедное животное!

Директор

Товарищи, это же совсем не страшно: оно ручное! Смотрите, я его выведу сейчас на трибуну. *(Идет к клетке, надевает перчатки, осматривает пистолеты, открывает дверь, выводит Скрипкина, ставит его на трибуну, поворачивает лицом к местам почетных гостей.)* А ну, скажите что-нибудь коротенькое, подражая человечьему выражению, голосу и языку.

Скрипкин

(покорно становится, покашливает, подымает гитару и вдруг оборачивается и бросает взгляд на зрительный зал. Лицо Скрипкина меняется, становится восторженным. Скрипкин отталкивает директора, швыряет гитару и орет в зрительный зал)

Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю?! Граждане!..

Голоса гостей

— Детей, уведите детей...
— Намордник... намордник ему...
— Ах, какой ужас!
— Профессор, прекратите!
— Ах, только не стреляйте!

Директор с вентилятором, в сопровождении двух служителей, вбегает на эстраду. Служители оттаскивают Скрипкина. Директор проветривает трибуну. Музыка играет туш. Служители задергивают клетку.

Директор

Простите, товарищи... Простите... Насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли его в состояние галлюцинации. Успокойтесь. Ничего такого нет. Завтра оно успокоится... Тихо, граждане, расходитесь, до завтра.

Музыка, марш!

Конец

[1928—1929]

* * *

В маленькой столовой на Гендриковом переулке происходит чтение «Клопа». Владимир Владимирович читает в первый раз пьесу Мейерхольду.

Маяковский сидит за обеденным столом, спиной к буфетику, разложив перед собой рукопись. Мейерхольд — рядом с дверью в Володину комнату, на банкеточке. Народу немного — Зинаида Райх, Сема с Клавой, Женя, Жемчужный, мы с Катаняном, Лиля и Ося.

Маяковский кончает читать. Он не успевает закрыть рукопись, как Мейерхольд срывается с банкетки и бросается на колени перед Маяковским:

— Гений! Мольер! Мольер! Какая драматургия!

И гладит плечи и руки наклонившемуся к нему Маяковскому, целует его.

Галина Катанян. «Азорские острова»

* * *

Вчера Владимир Маяковский читал нам только что законченную им пьесу под названием «Клоп». Пьесой этой Маяковский говорит новое слово в области драматургии, и вместе с тем произведение это поражает особо виртуозной обработкой словесного материала. Вспоминаются замечательнейшие страницы Гоголя, от которых, когда их читаешь, получаешь какое-то особое впечатление: это не проза и не стихи. Строению словесного материала придано такое своеобразие, которое заставит писать целые главы исследовательского материала... Действие развивается с необычайной стремительностью. Девять картин пьесы насыщены замечательной бодростью и юмором. В сценической технике построения пьесы чрезвычайно много нового. Пьеса займет особое место не только в репертуаре нашего театра, но и в современном репертуаре вообще.

Всеволод Мейерхольд. «Новая пьеса Маяковского»

Баня

ДРАМА В ШЕСТИ ДЕЙСТВИЯХ С ЦИРКОМ И ФЕЙЕРВЕРКОМ

Действующие лица

Товарищ Победоносиков — главный начальник по управлению согласованием, главначпупс.

Поля — его жена.

Товарищ Оптимистенко — его секретарь.

Исак Бельведонский — портретист, баталист, натуралист.

Товарищ Моментальников — репортер.

Мистер Понт Кич — иностранец.

Товарищ Ундертон — машинистка.

Растратчик Ночкин.

Товарищ Велосипедкин — легкий кавалерист.

Товарищ Чудаков — изобретатель.

Мадам Мезальянсова — сотрудница ВОКС.

Товарищ Фоскин
Товарищ Двойкин
Товарищ Тройкин
} Рабочие

Просители.

Преддомком.

Режиссер.

Иван Иванович

Учрежденская толпа.

Милиционер.

Капельдинер.

Фосфорическая женщина.

I действие

Справа стол, слева стол. Свисающие отовсюду и раскиданные везде чертежи. Посредине товарищ Фоскин запаивает воздух паяльной лампой. Чудаков переходит от лампы к лампе, пересматривая чертеж.

Велосипедкин
(вбегая)

Что, всё еще в Каспийское море впадает подлая Волга?

Чудаков
(размахивая чертежом)

Да, но это теперь ненадолго. Часы закладывайте и продавайте.

Велосипедкин

Хорошо, что я их еще и не купил.

Чудаков

Не покупай! Не покупай ни в коем случае! Скоро эта тикающая плоская глупость станет смешней, чем лучина на Днепрострое, беспомощней, чем бык в Автодоре.

Велосипедкин

Унасекомили, значит, Швейцарию?

Чудаков

Да не щелкай ты языком на мелких сегодняшних политических счетах! Моя идея грандиознее. Волга человечьего времени, в которую нас, как бревна в сплав, бросало наше рождение, бросало барахтаться и плыть по течению, — эта Волга отныне подчиняется нам. Я заставлю время и стоять и мчать в любом направлении и с любой скоростью. Люди смогут вы-

лазить из дней, как пассажиры из трамваев и автобусов. С моей машиной ты можешь остановить секунду счастья и наслаждаться месяц, пока не надоест. С моей машиной ты можешь взвихрить растянутые тягучие годы горя, втянуть голову в плечи, и над тобой, не задевая и не раня, сто раз в минуту будет проноситься снаряд солнца, приканчивая черные дни. Смотри, фейерверочные фантазии Уэльса, футуристический мозг Эйнштейна, звериные навыки спячки медведей и йогов — всё, всё спрессовано, сжато и слито в этой машине.

Велосипедкин

Почти ничего не понимаю и, во всяком случае, совсем ничего не вижу.

Чудаков

Да напяль же ты очки! Тебя слепят эти планки платины и хрусталя, этот блеск лучевых сплетений. Видишь? Видишь?..

Велосипедкин

Ну, вижу...

Чудаков

Смотри, ты призаметил эти две линейки, горизонтальную и вертикальную, с делениями, как на весах?

Велосипедкин

Ну, вижу...

Чудаков

Этими линейками ты отмеряешь куб необходимого пространства. Смотри, ты видишь этот колесный регулятор?

Велосипедкин

Ну, вижу...

Чудаков

Этим ключом ты изолируешь включенное пространство и отсекаешь от всех тяжестей все потоки земного притяжения и вот этими странноватыми рычажками включаешь скорость и направление времени.

Велосипедкин

Понимаю! Здорово! Необычайно!!! Это значит — собирается, например, всесоюзный съезд по вопросу об успокоении возбуждаемых вопросов, ну, и, конечно, предоставляется слово для приветствия от Государственной академии научных художеств государственному товарищу Когану, и как только он начал: «Товарищи, сквозь щупальцы мирового империализма красной нитью проходит волна...» — я его отгораживаю от президиума и запускаю время со скоростью полтораста минут в четверть часа. Он себе потеет, приветствует, приветствует и потеет часа полтора, а публика глядит: академик только рот разинул — и уже оглушительные аплодисменты. Все облегченно вздохнули, подняли с кресел свеженькие зады и айда работать. Так?

Чудаков

Фу, какая гадость! Чего ты мне какого-то Когана суешь? Я тебе объясняю это дело вселенской относительности, дело перевода определения времени из метафизической субстанции, из ноумена в реальность, подлежащую химическому и физическому воздействию.

Велосипедкин

А я что говорю? Я это и говорю: ты себе построй реальную станцию с полным химическим и физическим воздействием, а мы от нее проведем провода, ну, скажем, на все куриные инкубаторы, в пятнадцать минут будем взращивать полупудовую курицу, а потом ей под крылышко штепсель, выключим время — и сиди, курица, и жди, пока тебя не поджарили и не съели.

Чудаков

Какие инкубаторы, какие курицы?!! Я тебе...

Велосипедкин

Да, ладно, ладно, ты думай себе хоть про слонов, хоть про жирафов, если тебе про мелкую скотину и думать унизительно. А мы всё это к нашим серењким цыплятам сами приспособим...

Чудаков

Ну, что за пошлятина! Я чувствую, что ты со своим практическим материализмом скоро из меня самого курицу сделаешь. Чуть я размахнусь и хочу лететь — ты из меня перья выщипываешь.

Велосипедкин

Ну, ладно, ладно, не горячись. А если я у тебя даже какое перо и выщипал, ты извини, я тебе его обратно вставлю. Летай, пари, фантазируй, мы твоему энтузиазму помощники, а не помеха. Ну, не злись, парнишка, запускай, закручивай свою машину. Чего помочь-то?

Чудаков

Внимание! Я только трону колесо, и время рванется и пустится сжимать и менять пространство,

заключенное нами в клетку изоляторов. Сейчас я отбиваю хлеб у всех пророков, гадалок и предсказателей.

Велосипедкин

Постой, Чудаков, дай я стану сюда, может, я через пять минут выйду из комсомольца в этакие бородатые Марксы. Или нет, буду старым большевиком с трехсотлетним стажем. Я тебе тогда всё сразу проведу.

Чудаков
(оттягивая, испуганно)

Осторожно, сумасшедший! Если в идущих годах здесь проляжет стальная ферма подземной дороги, то, вмещаясь своим щуплым тельцем в занятое сталью пространство, ты моментально превратишься в зубной порошок. И, может быть, в грядущем вагоны сверзятся с рельс, а здесь небывалым времятрясением в тысячу баллов к чертовой бабушке разворотит весь подвал. Сейчас опасно пускаться туда, надо подождать идущих оттуда. Поворачиваю медленно-медленно — всего в минуту пять лет...

Фоскин

Постой, товарищ, обожди минуточку. Тебе всё равно крутить машину. Сделай одолжение, сунь в твою машину мою облигацию — не зря я в нее вцепился и не продаю, — может, она через пять минут уже сто тысяч выиграет.

Велосипедкин

Догадался! Тогда туда весь Наркомфин с Брюхановым засунуть надо, а то же ж ты выиграешь, а они всё равно тебе не поверят — таблицу спросят.

Чудаков

Ну вот, я вам в будущее дверь пробиваю, а вы на рубли сползли... Фу, исторические материалисты!

Фоскин

Дура, я ж для тебя с выигрышем тороплюсь. У тебя на твой опыт есть деньги?

Чудаков

Да... Деньги есть?

Велосипедкин

Деньги?

Стук в дверь. Входят Иван Иванович, Понт Кич, Мезальянсова и Моментальников.

Мезальянсова
(Чудакову)

Ду ю спик инглиш? Ах, так шпрехен зи дейч? Парле ву франсе, наконец? Ну, я так и знала! Это утомительно очень. Я принуждена делать традюксион с нашего на рабоче-крестьянский. Мосье Иван Иванович, товарищ Иван Иванович! Вы, конечно, знаете Иван Ивановича?

Иван Иванович

Здравствуйте, здравствуйте, дорогой товарищ! Не стесняйтесь! Я показываю наши достижения, как любит говорить Алексей Максимыч. Я сам иногда... но, понимаете, эта нагрузка! Нам, рабочим и крестьянам, очень, очень нужен свой, красный Эдисон. Конечно, кризис нашего роста, маленькие недостатки механизма, лес рубят — щепки летят... Еще одно усилие — и это будет изжито. У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона! Ну, я скажу Николаю Ивано-

вичу, он не откажет. Но если он откажет, можно пойти к самому Владимиру Панфилычу, он, конечно, пойдет навстречу. Ведь даже и Семен Семенович мне постоянно говорит: «Нужен, — говорит, — нам, рабочим и крестьянам, нужен красный, свой, советский Эдисон». Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!
Аппетит наш невелик.
Лишь зад-да-да-да-данье нам дадите, —
всё исполним в тот же миг.

Мезальянсова

Мосье Моментальников, товарищ Моментальников! Сотрудник! Попутчик! Видит — советская власть идет, — присоединился. Видит — мы идем, — зашел. Увидит — они идут, — уйдет.

Моментальников

Совершенно, совершенно верно, — сотрудник! Сотрудник дореволюционной и пореволюционной прессы. Вот только революционная у меня, понимаете, как-то выпала. Здесь белые, там красные, тут зеленые, Крым, подполье... Пришлось торговать в лавочке. Не моя, — отца или даже, кажется, просто дяди. Сам я рабочий по убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить большое количество интеллигенции моего толка. Эчеленца, прикажите, — аппетит наш невелик!

Понт Кич

Кхе! Кхе!

Мезальянсова

Пардон! Простите! Мистер Понт Кич, господин Понт Кич. Британский англосакс.

Иван Иванович

Вы были в Англии? Ах, я был в Англии!.. Везде англичане... Я как раз купил кепку в Ливерпуле и осматривал дом, где родился и жил Антидюринг. Удивительно интересно! Надо открыть широкую кампанию.

Мезальянсова

Мистер Понт Кич, известный, известный и в Лондоне и в Сити филателист. Филателист *(сконапель, марколюб — по-русски)*, и он очень, очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Очень, очень культурный и общительный человек. Даже меценат. Сконапель... ну, как это вам перевести?.. помогает, там, киноработникам, изобретателям... ну, такой, такой вроде как будто РКИ, только наоборот... Ву компрэнэ? Он уже смотрел на Москву с небоскреба «Известий» *(Нахрихтен)*, он уже был у Анатоль Васильча, а теперь, говорит, к вам... Такой культурный, общительный, даже нам ваш адрес сказал.

Фоскин

Носатая сволочь: с нюхом!

Мезальянсова

Плиз, сэр!

Понт Кич

Ай Иван в дверь ревел, а звери обедали. Ай шел в рай менекен, а енот в Индостан, переперчил ой звери изобретейшен.

Мезальянсова

Мистер Понт Кич хочет сказать на присущем ему языке, что на его туманной родине все, от Макдональда до Черчилля, совершенно как звери, заинтересованы вашим изобретеньем, и он очень, очень просит...

Чудаков

Ну, конечно, конечно! Мое изобретенье принадлежит всему человечеству, и я, конечно, сейчас же... Я очень, очень рад. *(Отводит иностранца, доставшего блокнот, показывает и объясняет.)* Это вот так. Да... да... да... Здесь два рычажка, а на параллельной хрустальной измерительной линейке... Да... да... да... вот сюда! А это вот так... Ну да...

Велосипедкин

(отводя Ивана Ивановича)

Товарищ, надо помочь парню. Я ходил всюду, куда «без доклада не входить», и часами торчал везде, где «кончил дело...» и так далее, и почти ночевал под вывеской «если вы пришли к занятому человеку, то уходите» — и никакого толку. Из-за волокиты и трусости ассигновать десяток червонцев гибнет, может быть, грандиозное изобретенье. Товарищ, вы должны с вашим авторитетом...

Иван Иванович

Да, это ужасно! Лес рубят — щепки летят. Я сейчас же прямо в Главное управление по согласованию. Я скажу сейчас же Николаю Игнатьичу... А если он откажет, я буду разговаривать с самим Павлом Варфоломеичем... У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона! Маленькие недостатки механизма... Ах,

какие механизмы в Швейцарии! Вы бывали в Швейцарии? Я был в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!

Понт Кич

(кладя блокнот в карман и пожимая Чудакову руку)

Дед свел в рай трам из двери в двери лез и не дошел туго. Дуй Иван. Червонцли?..

Мезальянсова

Мистер Понт Кич говорит, что если вам нужны червонцы...

Велосипедкин

Ему? Ему не нужны, ему наплевать на червонцы. Я только что для него сбегал в Госбанк и пришел весь в червонцах. Даже противно. Сквозь карман жмут. Вот тут натыканы купюры по два, вот тут по три, а в этих двух карманах так одни десятичервонцевые. Ол райт! Гуд бай! *(Трясет Кичу руку, обнимает его обеими руками и восхищенно проводит к дверям.)*

Мезальянсова

Я очень прошу вас чуточку такта: с вашими комсомольскими замашками назреет, если еще не назрел, громадный международный конфликт. Гуд бай — до свидания!

Иван Иванович

(похлопывая по плечу Чудакова и прощаясь)

Я тоже в ваши годы... Лес рубят — щепки летят. Нам нужен, нужен советский Эдисон. *(Уже из дверей.)* У вас нет телефона? Ну, ничего, я обязательно скажу Никандру Пирамидоновичу.

Моментальников
(семенит, напевая)

Эчеленца, прикажите...

Чудаков
(к Велосипедкину)

Это хорошо, что есть деньги.

Велосипедкин

Денег нет!

Чудаков

То есть, как же это нет денег? Я не понимаю, зачем тогда хвастаться и говорить... А тем более отказываться, когда делаются солидные предложения со стороны иностранных...

Велосипедкин

Хоть ты и гений, а дурак! Ты хочешь, чтобы твоя идея обжелезилась и влетела к нам из Англии прозрачным, командующим временами дредноутом невидимо бить по нашим заводам и Советам?

Чудаков

А ведь верно, верно... Как же это я ему всё рассказал? А он еще в блокнот вписывал! А ты чего же меня не одернул? Сам еще к двери ведешь, обнимаешься!

Велосипедкин

Дура, я его недаром обнимал. Бывшая беспризорщина пригодилась. Я не его — я карман его обнимал. Вот он, блокнот английский. Потерял блокнот англичанин.

Чудаков

Браво, Велосипедкин! Ну, а деньги?

Велосипедкин

Чудаков, я пойду на всё. Я буду грызть глотки и глотать кадыки. Я буду драться так, что щеки будут летать в воздухе. Я убеждал, я орал на этого Оптимистенко. Он гладкий и полированный, как дачный шар. На его зеркальной чистоте только начальство отражается, и то вверх ногами. Я почти разагитировал бухгалтера Ночкина. Но что можно сделать с этим проклятым товарищем Победоносиковым? Он просто плющит каждого своими заслугами и стажем. Ты знаешь его биографию? На вопрос: «Что делал до 17 года?» — в анкетах ставил: «Был в партии». В какой — неизвестно, и неизвестно, что у него — «бе» или «ме» в скобках стояло, а может, и ни бе, ни ме не было. Потом он утек из тюрьмы, засыпав страже табаком глаза. А сейчас, через двадцать пять лет, само время засыпало ему глаза табаком мелочей и минут, глаза его слезятся от довольства и благодушия. Что можно увидеть такими глазами? Социализм? Нет, только чернильницу да пресс-папье.

Фоскин

Товарищи, что же я, слюной буду запаивать, что ли? Тут еще двух поставить надо. Двести шестьдесят рублей минимаксом.

Поля

(вбегает, размахивая пачкой)

Деньги — смешно!

Велосипедкин

(Фоскину, передает деньги. Фоскин выбегает)

Ну, гони! На такси гони! Хватай материал, помощников — и обратно. *(К Поле.)* Ну, что, уговорила начальство по семейной линии?

Поля

Разве с ним можно просто? Смешно! Он шипит бумажным удавом каждый раз, когда возвращается домой, беременный резолюциями. Не смешно. Это Ночкин... это такой бухгалтерчик в его учреждении, я его и вижу-то первый раз... Прибегает сегодня в обед, пакет сует, передайте, говорит... секретно... Смешно! А мне, говорит, к ним нельзя... по случаю возможности подозрения в соучастии. Не смешно.

Чудаков

Может быть, эти деньги...

Велосипедкин

Да. Тут есть над чем подумать, что-то мне кажется... Ладно! Всё равно! Завтра разберемся.

Входят Фоскин, Двойкин и Тройкин.

Готово?

Фоскин

Есть!

Велосипедкин

(сгребая всех)

Ну, айда! Валяй, товарищи!

Чудаков

Так, так... Проводки спаяны. Изоляционные перегородки в порядке. Напряжение выверено. Кажет-

ся, можно. Первый раз в истории человечества... Отойдите! Включаю... Раз, два, три!

Бенгальский взрыв, дым. Отшатываются, через секунду приливают к месту взрыва. Чудаков выхватывает, обжигаясь, обрывок прозрачной стеклянистой бумаги с отбитым, рваным краем.

Чудаков

Прыгайте! Гогочите! Смотрите на это! Это — письмо! Это написано пятьдесят лет тому вперед. Понимаете — тому вперед!!! Какое необычайнейшее слово! Читайте!

Велосипедкин

Чего читать-то?.. «Бе дэ 5 — 24 — 20». Это что, телефон, что ли, какого-то товарища Бедэ?

Чудаков

Не «бе дэ», а «бу-ду». Они пишут одними согласными, а 5 — это указание порядковой гласной. А — е — и — о — у: «Буду». Экономия двадцать пять процентов на алфавите. Понял? 24 — это завтрашний день. 20 — это часы. Он, она, оно — будет здесь завтра — в восемь вечера. Катастрофа? Что?.. Ты видишь, видишь этот обожженный, снесенный край? Это значит — на пути времени встретилось препятствие, тело, в один из пятидесяти годов занимавшее это сейчас пустое пространство. Отсюда и взрыв. Немедля, чтоб не убить идущее оттуда, нужны люди и деньги... Много! Надо немедля вынести опыт возможно выше, на самый пустой простор. Если мне не помогут, я на собственной спине выжму эту махину. Но завтра всё будет решено. Товарищи, вы со мной!

Бросаются к двери.

Велосипедкин

Пойдем, товарищи, возьмем их за воротник, заставим! Я буду жрать чиновников и выплевывать пуговицы.

Дверь распахивается навстречу.

Преддомкома

Я сколько раз вам говорил: выметайтесь вы отсюда с вашей частной лавочкой. Вы воняете вверх ответственному съемщику, товарищу Победоносикову. *(Замечает Полю.)* И... и... вы-ы... здесь? Я говорю, бог на помощь вашей общественной деятельности. У меня для вас отложен чудный вентиляторчик. До свиданьица.

II действие

Канцелярская стена приемной. Справа дверь со светящейся вывеской «Без доклада не входить». У двери за столом Оптимистенко принимает длинный, во всю стену, ряд просителей. Просители копируют движения друг друга, как валящиеся карты. Когда стена освещается изнутри, видны только черные силуэты просителей и кабинет Победоносикова.

Оптимистенко

В чем дело, гражданин?

Проситель

Я вас прошу, товарищ секретарь, увяжите, пожалуйста, увяжите!

Оптимистенко

Это можно. Увязать и согласовать — это можно. Каждый вопрос можно и увязать и согласовать. У вас есть отношение?

Проситель

Есть отношение... такое отношение, что прямо проходу не дает. Материт и дерется, дерется и материт.

Оптимистенко

Это кто же, вопрос вам проходу не дает?

Проситель

Да не вопрос, а Пашка Тигролапов.

Оптимистенко

Виноват, гражданин, как же это можно Пашку увязать?

Проситель

Это верно, одному его никак не можно увязать. Но вдвоем-втроем, ежели вы прикажете, так его и свяжут и увяжут. Я вас прошу, товарищ, увяжите вы этого хулигана. Вся квартира от его стонет...

Оптимистенко

Тьфу! Чего же вы с такими мелочами в крупное государственное учреждение лезете? Обратитесь в милицию... Вам чего, гражданочка?

Просительница

Согласовать, батюшка, согласовать.

Оптимистенко

Это можно — и согласовать можно, и увязать. Каждый вопрос можно и увязать, и согласовать. У вас есть заключение?

Просительница

Нет, батюшка, нельзя ему заключение давать. В милиции сказали, можно, говорят, его на неделю заключить, а я чего, батюшка, кушать-то буду? Он из заключения выйдет, он ведь опять меня побьет.

Оптимистенко

Виноват, гражданочка, вы же заявляли, что вам согласовать треба. А чего ж вы мне мужем голову морочите?

Просительница

Меня с мужем-то и надо, батюшка, согласовать, несогласно мы живем, пьет он очень вдумчиво. А тронуть его боимся, как он партейный.

Оптимистенко

Тьфу! Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное государственное учреждение. Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется — фордизмы разные, то, сё...

Вбегают Чудаков и Велосипедкин.

О! А вы ж куда ж?

Велосипедкин

(пытаясь отстранить Оптимистенко)

К товарищу Победоносикову экстренно, срочно, немедленно!

Чудаков

(повторяет)

Срочно... немедленно...

Оптимистенко

Ага-га! Я вас узнаю. Это вы сами или ваш брат? Тут ходил молодой человек.

Чудаков

Это я сам и есть.

Оптимистенко

Да нет... Он же ж без бороды.

Чудаков

Я был даже и без усов, когда начал толкаться к вам. Товарищ Оптимистенко, с этим необходимо покончить. Мы идем к самому главначпупсу, нам нужен сам Победоносиков.

Оптимистенко

Не треба. Не треба вам его беспокоить. Я же ж вас могу собственнолично вполне удовлетворить. Всё в порядке. На ваше дело имеется полное решение.

Чудаков
(переспрашивает радостно)

Вполне удовлетворить? Да?

Велосипедкин
(переспрашивает радостно)

Полное решение? Да? Сломили, значит, бюрократов? Да? Здóрово!

Оптимистенко

Да что вы, товарищ! Какой же может быть бюрократизм перед чисткóй? У меня всё на индикаторе без входящих и исходящих, по новейшей карточной

системе. Раз — нахожу ваш ящик. Раз — хватаю ваше дело. Раз — в руках полная резолюция — вот, вот!

Все втыкаются.

Я ж говорил — полное решение. Вот! От-ка-зать.

Первый план тухнет. Внутренность кабинета.

Победоносиков

(перелистывает бумаги, дозванивается по вертушке. Мимоходом диктует)

«...Итак, товарищи, этот набатный, революционный призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы Ильича свяжут «Площадь имени десятилетия советской медицины» с бывшим оплотом буржуазии «Сенным рынком»... *(К телефону.)* Да. Алло, алло!.. *(Продолжает.)* «Кто ездил в трамвае до 25 октября? Деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько ездили? Они ездили за пять копеек станцию. В чем ездили? В желтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми советскими удобствами. В красном трамвае. За сколько? Всего за десять копеек. Итак, товарищи...» *(Звонок по телефону. В телефон.)* Да, да, да. Нету? На чем мы остановились?

Машинистка Ундертон

На «Итак, товарищи...»

Победоносиков

Да, да... «Итак, товарищи, помните, что Лев Толстой — величайший и незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух

миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий — Большая медведица. Лев Толстой...»

Ундертон

Простите, товарищ Победоносиков. Вы там про трамвай писали, а здесь вы почему-то Льва Толстого в трамвай на ходу впустили. Насколько можно понимать, тут какое-то нарушение литературно-трамвайных правил.

Победоносиков

Что? Какой трамвай? Да, да... С этими постоянными приветствиями и речами... Попрошу без замечаний в рабочее время! Для самокритики вам отведена стенная газета. Продолжаем... «Даже Лев Толстой, даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наши достижения в виде вышеупомянутого трамвая, даже она заявила бы перед лицом мирового империализма: «Не могу молчать. Вот они, красные плоды всеобщего и обязательного просвещения». И в эти дни юбилея...» Безобразие! Кошмар! Вызвать мне сюда товарища... гражданина бухгалтера Ночкина.

Кабинет Победоносикова тухнет. Опять очередь у кабинета. Врывающиеся Чудаков и Велосипедкин.

Велосипедкин

Товарищ Оптимистенко, это издевательство!

Оптимистенко

Да нет же ж, никакого издевательства нема. Слушали — постановили: отказать. Не входит ваше изобретение в перспективный план на ближайший квартал.

Велосипедкин

Так ведь не на одном твоем ближайшем квартале социализм строится.

Оптимистенко

Да не мешайте вы со своими фантазиями нашей государственной деятельности! *(К вошедшему Бельведонскому.)* Пожалте! Валяйте! Распространяйтесь! *(К Чудакову.)* Ваше предложение не увязано с НКПС и не треба широчайшим рабочим и крестьянам.

Велосипедкин

При чем тут НКПС? Что за головотяпство!

Чудаков

Конечно, нельзя предугадать всей грандиозности последствий, и возможно, возможно со временем применить с пользой мое изобретенье и к транспортным задачам — при максимальной быстроте и почти вне времени...

Велосипедкин

Ну, да, да, можно и с НКПС увязать. Например, садитесь вы в три часа ночи, а в пять утра — уже в Ленинграде.

Оптимистенко

Ну вот, а я что сказал? Отказать! Нежизненно. И зачем нам быть в пять утра в Ленинграде, когда все учреждения еще же ж закрыты? *(Загорается красная лампочка телефона. Слушает, кричит.)* Ночкина — к товарищу Победоносикову!

Отстраняясь от бросившихся к нему Чудакова и Велосипедкина, к дверям Победоносикова трусит рысцой Ночкин. Кабинет Победоносикова.

Победоносиков
(крутя и дуя в вертушку)

Тьфу! Иван Никанорыч? Здоро́во, Иван Никанорыч! Я тебя попрошу два билета. Ну да, международным. Как, уже не заведуешь? Тьфу! С этой нагрузкой просто отрываешься от масс. Нужен билет, так неизвестно, кому телефонить! Алло, алло! *(К машинистке.)* На чем остановились?

Ундертон

«Итак, товарищи...»

Победоносиков

«Итак, товарищи, Александр Семеныч Пушкин, непревзойденный автор как оперы «Евгений Онегин», так и пьесы того же названия...»

Ундертон

Простите, товарищ Победоносиков, но вы сначала пустили трамвай, потом усадили туда Толстого, а теперь влез Пушкин — без всякой трамвайной остановки.

Победоносиков

Какой Толстой? При чем трамвай?! Ах, да, да! С этими постоянными приветствиями... Попрошу без возражений! Я здесь выдержанно и усовершенствованно пишу на одну тему и без всяких уклонов в сторону, а вы... И Толстой, и Пушкин, и даже, если хотите, Байрон — это всё хотя и в разное время, но союбилейщики, и вообще. Я, может, напишу одну общую руководящую статью, а вы могли бы потом, без всяких извращений самокритики, разрезать статью по отдельным вопросам, если вы вообще на своем месте. Но вы вообще больше думаете про

покрасить губки и припудриться, и вам не место в моем учреждении. Давно пора за счет молодых комсомолок орабочить секретариат. Попрошу-с сегодня же...

Входит Бельведонский

Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Бельведонский! Задание выполнено? В ударном порядке?

Бельведонский

Выполнено, конечно, выполнено. Почти не смыкая глаз, так сказать, в социалистическом соревновании с самим с собой, но выполнено всё согласно социальному заказу и авансу на все триста процентов. Изволите, товарищ, взглянуть на вашу будущую мебель?

Победоносиков

Продемонстрируйте!

Бельведонский

Извольте! Вы, разумеется, знаете и видите, как сказал знаменитый историк, что стили бывают разных Луёв. Вот это Луи Каторз Четырнадцатый, прозванный так французами после революции сорок восьмого года за то, что шел непосредственно после тринадцатого. Затем вот это Луи Жакоп, и, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современное, Луи Мове Гу.

Победоносиков

Стили ничего, чисто подобраны. А как цена?

Бельведонский

Все три Луя приблизительно в одну цену.

Победоносиков

Тогда, я думаю, мы остановимся на Луе Четырнадцатом. Но, конечно, в согласии с требованием РКИ об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить под морёный дуб и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах.

Бельведонский

Восхитительно! Свыше пятнадцати Людовиков было, а до этого додуматься не могли, а вы сразу — по-большевицки, по-революционному! Товарищ Победоносиков, разрешите мне продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора-администратора, а также распределителя кредитов. Тюрьма и ссылка по вас плачет, журнал, разумеется. Музей революции по вас плачет, — оригинал туда — оторвут с руками! А копии с небольшой рассрочкой и при удержании из жалования расхватают признательные сослуживцы. Позвольте?

Победоносиков

Ни в каком случае! Для подобных глупостей я, конечно, от кормила власти отрываться не могу, но если необходимо для полноты истории и если на ходу, не прерывая работы, то пожалуйста. Я сяду здесь, за письменным столом, но ты изобрази меня ретроспективно, то есть как будто бы на лошади.

Бельведонский

Лошадь вашу я уже дома нарисовал по памяти, вдохновлялся на бегах и даже, не поверите, в нужных местах сам в зеркало гляделся. Мне теперь только вас к лошади присобачить остается. Разрешите

отодвинуть в сторону корзиночку с бумажками. Какая скромность при таких заслугах! Очистите мне линию вашей боевой ноги. Как сапожок чисто блестит, прямо — хоть лизни. Только у Микель Анжéло встречалась такая чистая линия. Вы знаете Микель Анжéло?

Победоносиков

Анжелов, армянин?

Бельведонский

Итальянец.

Победоносиков

Фашист?

Бельведонский

Что вы!

Победоносиков

Не знаю.

Бельведонский

Не знаете?

Победоносиков

А он меня знает?

Бельведонский

Не знаю... Он тоже художник.

Победоносиков

А! Ну, он мог бы и знать. Знаете, художников много, главначпупс — один.

Бельведонский

Карандаш дрожит. Не передать диалектику характера при общей бытовой скромности. Самоуважение у вас, товарищ Победоносиков, титаническое! Блесните глазами через правое плечо и через самопишущую ручку-с. Позвольте увековечить это мгновение.

Победоносиков

Войдите!

Входит Ночкин.

Победоносиков

Вы?!!

Ночкин

Я...

Победоносиков

Двести тридцать?

Ночкин

Двести сорок.

Победоносиков

Пропили?..

Ночкин

Проиграл.

Победоносиков

Чудовищно! Непостижимо! Кто? Растратчик! Где? У меня! В какое время? В то время, когда я веду мое

учреждение к социализму по гениальным стопам Карла Маркса и согласно предписаниям центра...

Ночкин

Ну что ж, Карл Маркс тоже в карты поигрывал.

Победоносиков

Карл Маркс? В карты? Никогда!!!

Ночкин

Ну вот, никогда... А что писал Франц Меринг? Что он писал на семьдесят второй странице своего капитального труда «Карл Маркс в личной жизни»? Играл! Играл наш великий учитель...

Победоносиков

Я, конечно, читал и знаю Меринга. Во-первых, он преувеличивает, а во-вторых, Карл Маркс действительно играл, но не в азартные, а в коммерческие игры.

Ночкин

А вот одноклассник, знаток и современник, известный Людвиг Фейербах пишет, что и в азартные.

Победоносиков

Ну да, я читал, конечно, товарища Фейербахова. Карл Маркс иногда играл и в азартные, но не на деньги...

Ночкин

Нет... На деньги.

Победоносиков

Да, но на свои, а не на казенные.

Ночкин

Положим, каждый, штудировавший Маркса, знает, что был, правда, однажды, памятный случай и с казенными.

Победоносиков

Конечно, этот исторический случай заставит нас, ввиду исторического прецедента, подойти внимательнее к вашему проступку, но всё же...

Ночкин

Да бросьте вы вола вертеть! Не играл никогда Карл Маркс ни в какие карты. Да что мне вам рассказывать! Разве вы человека поймете? Вам только чтоб образцам да параграфам соответствовало. Эх ты, портфель набитый! Клипса канцелярская!

Победоносиков

Что?! Издеваться? И над своим непосредственным, ответственным начальством и над посредственной... да нет, что я говорю! над безответственной тенью Маркса... Не пускать! Задержать!!!

Ночкин

Товарищ Победоносиков, не утруждайте себя звонками, я сам в МУУР сообщу.

Победоносиков

Прекращу! Не позволю!!!

Бельведонский

Товарищ Победоносиков! Мгновение! Сохраните позу, как таковую. Дайте увековечить это мгновенье.

Ундертон

Ха-ха-ха!

Победоносиков

Сочувствие? Растратчику? Смеяться? Да еще накрашенными губами?.. Вон! *(Один, накручивая вертушку.)* Алло, алло! Фу, фу!.. Кто это! Александр Петрович. Да я ж тебя три дня... Прошел? Поздравляю. Ну еще бы, еще бы! Какие могут быть сомнения!.. Как всегда, целыми днями, целыми ночами... Да, наконец сегодня... Два билета. Мягкие. Первый. Со стенографисткой. При чем тут РКИ? Необходимо додиктовать отчет. Какое имеют значение двести сорок рублей туда и обратно? Да, проведем их как суточные или еще какие-нибудь. В ударном порядке, с курьером... Ну, конечно, твое продвину... Вот, вот! Зеленый Мыс... Мне. Ну, жму руку, с ответственным приветом. *(Бросает трубку. Мотивом тореадора.)* Алло, алло!

Приемная. Чудаков и Велосипедкин наступают.

Оптимистенко

Да куда же ж вы прете, наконец? Имейте ж уважение к трудам и деятельности государственного персонала.

Входит Мезальянсова. Снова рванулись Чудаков и Велосипедкин.

Нет, нет... Вне очереди, согласно телефонограмме... *(Проводит под ручку, выговаривая.)* Всё готово... А як же ж. Я ему рассказал со значением, что супруга его по комсомольцам пошла. Он спервоначалу как рассердится! Не потерплю, говорит, невоздержанные ухаживания без сериозного стажа и слу-

жебного базиса, а потом даже обрадовался. Секретаршу уже ликвидировал по причинам неэтичности губ. Идите прямо, не бойтесь! И под каждым ей листком был уже готов местком...

Мезальянсова уходит.

Чудаков

Ну, вот, теперь эту пропустили! Товарищ, да поймите ж вы — никакая научная, никакая нечистая сила уже не может остановить надвигающееся. Если мы не вынесем опыт в пространства над городом, то может даже быть взрыв.

Оптимистенко

Взрыв? Ну, ето вы оставьте! Не угрожайте государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться невдобно, а когда будет взрыв, тогда и заявим на вас куда следует.

Велосипедкин

Да пойми ты, дурья голова!.. Это тебя надо распрозаявить и куда следует и куда не следует. Люди горят работать на всю рабочую вселенную, а ты, слепая кишка, канцелярскими разговорами мочишься на их энтузиазм. Да?

Оптимистенко

Попрошу-с не упирать на личность! Личность в истории не играет особой роли. Это вам не царское время. Это раньше требовался энтузиазм. А теперь у нас исторический материализм, и никакого энтузиазму с вас не спрашивается.

Мезальянсова входит.

Оптимистенко

Расходитесь, граждане, прием закрыт.

Мезальянсова
(с портфелем)

О баядера, перед твоей красотой! Тара-рам-тара-рам...

III действие

Сцена — продолжение театральных рядов. В первом ряду несколько свободных мест. Сигнал: «Начинаем». Публика смотрит в бинокли на сцену, сцена смотрит в бинокли на публику. Начинаются свистки, топанье, крики: «Время!»

Режиссер

Товарищи, не волнуйтесь! На несколько минут придется задержать третье действие по независящим обстоятельствам.

Минута, снова крики: «Время!»

Режиссер

Одну минуту, товарищи! *(В сторону.)* Ну что, идут? Неудобно так затягивать. Переговорить, наконец, можно и потом; пройдите в фойе, как-нибудь вежливо намекните. А, идут!.. Пожалте, товарищи. Нет, что вы! Очень приятно! Ну, несущественно, одну минуту, даже полчаса, это ж не поезд, всегда можно задержать. Каждый понимает, в такое время живем. Могут быть всякие там государственные, даже планетарные дела. Вы смотрели первый и второй акт? Ну, как, как? Нас всех, конечно, интересует впечатление и вообще взгляд...

Победоносиков

Ничего, ничего! Мы вот говорим с Иваном Ивановичем. Остро схвачено. Подмечено. Но все-таки это как-то не то...

Режиссер

Так ведь это всё можно исправить, мы всегда стремимся. Вы только сделайте конкретные указания, — мы, конечно... оглянуться не успеете...

Победоносиков

Сгущено всё это, в жизни так не бывает... Ну, скажем, этот Победоносиков. Неудобно все-таки... Изображен, судя по всему, ответственный товарищ, и как-то его выставили в таком свете и назвали еще как-то «главначпупс». Не бывает у нас таких, ненатурально, нежизненно, непохоже! Это надо переделать, смягчить, опоэтизировать, округлить...

Иван Иванович

Да, да, это неудобно! У вас есть телефон? Я позвоню Федору Федоровичу, он, конечно, пойдет навстречу... Ах, во время действия неудобно? Ну, я потом. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!
Аппетит наш невелик.
Только слово, слово нам скажите, —
изругаем в тот же миг.

Режиссер

Что вы! Что вы, товарищи! Ведь это в порядке опубликованной самокритики и с разрешения Гублита выведен только в виде исключения литературный отрицательный тип.

Победоносиков

Как вы сказали? «Тип»? Разве ж так можно выражаться про ответственного государственного деятеля? Так можно сказать только про какого-нибудь совсем беспартийного прощелыгу. Тип! Это все-таки не «тип», а, как-никак, поставленный руководящими органами главначпупс, а вы — тип!! И если в его действиях имеются противозаконные нарушения, надо сообщить куда следует на предмет разбирательства и, наконец, проверенные прокуратурой сведения — сведения, опубликованные РКИ, претворить в символические образы. Это я понимаю, но выводить на общее посмешище в театре...

Режиссер

Товарищ, вы совершенно правы, но ведь это по ходу действия.

Победоносиков

Действия? Какие такие действия? Накаких действий у вас быть не может, ваше дело показывать, а действовать, не беспокойтесь, будут без вас соответствующие партийные и советские органы. А потом, надо показывать и светлые стороны нашей действительности. Взять что-нибудь образцовое, например, наше учреждение, в котором я работаю, или меня, например...

Иван Иванович

Да, да, да! Вы пойдите в его учреждение. Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошений, жалоб и отношений — конвейер. Настоящий уголок социализма. Удивительно интересно!

Режиссер

Но, товарищ, позвольте...

Победоносиков

Не позволю!!! Не имею права и даже удивляюсь, как это вообще вам позволили! Это даже дискредитирует нас перед Европой. *(Мезальянсовой.)* Это вы не переводите, пожалуйста...

Мезальянсова

Ах, нет, нет, ол райт! Он только что поел икры на банкете и теперь дремлет.

Победоносиков

А кого вы нам противопоставляете? Изобретателя? А что он изобрел? Тормоз Вестингауза он изобрел? Самопишущую ручку он выдумал? Трамвай без него ходит? Радиолярию он канцеляризировал?

Режиссер

Как?

Победоносиков

Я говорю, канцелярию он рационализировал? Нет! Тогда об чем толк? Мечтателей нам не нужно! Социализм — это учет!

Иван Иванович

Да, да. Вы бывали в бухгалтерии? Я бывал в бухгалтерии — везде цифры и цифры, и маленькие, и большие, самые разные, а под конец все друг с другом сходятся. Учет! Удивительно интересно!

Режиссер

Товарищ, не поймите нас плохо. Мы можем ошибаться, но мы хотели поставить наш театр на службу борьбы и строительства. Посмотрят — и заработают, посмотрят — и взбудоражатся, посмотрят — и разоблачат.

Победоносиков

А я вас попрошу от имени всех рабочих и крестьян меня не будоражить. Подумаешь, будильник! Вы должны мне ласкать ухо, а не будоражить, ваше дело ласкать глаз, а не будоражить.

Мезальянсова

Да, да, ласкать...

Победоносиков

Мы хотим отдохнуть после государственной и общественной деятельности. Назад, к классикам! Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого. Сколько раз я вам говорил. Помните, как пел поэт:

После разных заседаний —
нам не радость, не печаль,
нам в грядущем нет желаний,
нам, тарам, тарам, не жаль...

Мезальянсова

Ну, конечно, искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь, красивых живых людей. Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще буржуазное разложение. Даже если это нужно для агитации, то и танец живота. Или, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со старым бытом. Показать, например, на сцене, что у них в Париже женотдела нет, а зато

фокстрот, или какие юбки нового фасона носит старый одряхлевший мир — сконапель — бомонд. Понятно?

Иван Иванович

Да, да! Сделайте нам красиво! В Большом театре нам постоянно делают красиво. Вы были на «Красном маке»? Ах, я был на «Красном маке». Удивительно интересно! Везде с цветами порхают, поют, танцуют разные эльфы и... сифилиды.

Режиссер

Сильфиды, вы хотели сказать?

Иван Иванович

Да, да, да! Это вы хорошо заметили — сильфиды. Надо открыть широкую кампанию. Да, да, да, летают разные эльфы... и цвельфы... Удивительно интересно!

Режиссер

Простите, но эльфов было уже много, и их дальнейшее размножение не предусмотрено пятилеткой. Да и по ходу пьесы они нам как-то не подходят. Но относительно отдыха я вас, конечно, понимаю, и в пьесу будут введены соответствующие изменения в виде бодрых и грациозных дополнительных вставок. Вот, например, и так называемый товарищ Победоносиков, если дать ему щекотящую тему, — может всех расхохотать. Я сейчас же сделаю пару указаний, и роль просто разалмазится. Товарищ Победоносиков, возьмите в руки какие-нибудь три-четыре предмета, например, ручку, подпись, бумагу и партмаксимум, и сделайте несколько жонглерских упражнений. Бросайте ручку, хватайте бумагу — ставьте подпись, берите партмаксимум, ловите руч-

ку, берите бумагу — ставьте подпись, хватайте парт-максимум. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сов-день — парт-день — бю-ро-кра-та. Сов-день — парт-день — бю-ро-кра-та. Доходит?

Победоносиков
(восторженно)

Хорошо! Бодро! Никакого упадочничества — ничего не роняет. На этом можно размяться.

Мезальянсова

Вуй, сэ трэ педагожик.

Победоносиков

Легкость телодвижений, нравоучительная для каждого начинающего карьеру. Доступно, просто, на это можно даже детей водить. Между нами, мы — молодой класс, рабочий — это большой ребенок. Оно, конечно, суховато, нет этой округленности, сочности...

Режиссер

Ну, если вам это нравится, здесь горизонты фантазии необъятны. Мы можем дать прямо символистическую картину из всех наличных актерских кадров. *(Хлопает в ладоши.)*

Свободный мужской персонал — на сцену! Станьте на одно колено и согнитесь с порабощенным видом. Сбивайте невидимой киркой видимой рукой невидимый уголь. Лица, лица мрачнее... Темные силы вас злобно гнетут. Хорошо! Пошло!..

Вы будете капитал. Станьте сюда, товарищ капитал. Танцуйте над всеми с видом классового господства. Воображаемую даму обнимайте невидимой рукой и пейте воображаемое шампанское. Пошло!

Хорошо! Продолжайте! Свободный женский состав — на сцену!

Вы будете — свобода, у вас обращение подходящее. Вы будете — равенство, значит, всё равно, кому играть. А вы — братство, — другие чувства вы всё равно не вызовете. Приготовились! Пошли! Подымайте воображаемым призывом воображаемые массы. Заражайте, заражайте всех энтузиазмом! Что вы делаете?!

Выше вздымайте ногу, симулируя воображаемый подъем. Капитал, подтанцовывайте налево с видом Второго интернационала. Чего руками размахались! Протягивайте щупальцы империализма... Нет щупальцев? Тогда нечего лезть в актеры. Протягивайте что хотите. Соблазняйте воображаемым богатством танцующих дам. Дамы, отказывайтесь резким движением левой руки. Так, так, так! Воображаемые рабочие массы, восстаньте символистически! Капитал, красиво падайте! Хорошо!

Капитал, издыхайте эффектно!

Дайте красочные судороги!

Превосходно!

Мужской свободный состав, сбрасывайте воображаемые оковы, вздымайтесь к символу солнца. Размахивайте победоносно руками. Свобода, равенство и братство, симулируйте железную поступь рабочих когорт. Ставьте якобы рабочие ноги на якобы свергнутый якобы капитал.

Свобода, равенство и братство, делайте улыбку, как будто радуетесь.

Свободный мужской состав, притворитесь, что вы — «кто был ничем», и вообразите, что вы — «тот станет всем». Взбирайтесь на плечи друг друга, отображая рост социалистического соревнования.

Хорошо!

Постройте башню из якобы могучих тел, олицетворяя в пластическом образе символ коммунизма.

Размахивайте свободной рукой с воображаемым молотом в такт свободной стране, давая почувствовать пафос борьбы.

Оркестр, подбавьте в музыку индустриального грохота.

Так! Хорошо!

Свободный женский состав — на сцену!

Увивайте воображаемыми гирляндами работников вселенной великой армии труда, символизируя цветы счастья, расцветшие при социализме.

Хорошо! Извольте! Готово!

Отдохновенная пантомима на тему —

«Труд и капитал
актеров напитал».

Победоносиков

Браво! Прекрасно! И как вы можете с таким талантом размениваться на злободневные мелочи, на пустяшные фельетоны? Вот это подлинное искусство — понятно и доступно и мне, и Ивану Ивановичу, и массам.

Иван Иванович

Да, да, удивительно интересно! У вас есть телефон? Я позвоню... Кому-нибудь позвоню. Прямо душа через край. Это заражает! Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!
Аппетит наш невелик.
Только хлеба-зрелищ нам дадите, —
всё похвалим в тот же миг.

Победоносиков

Очень хорошо! Всё есть! Вы только введите сюда еще самокритику, этаким символистическим образом, теперь это очень своевременно. Поставьте куда-нибудь в сторонку столик, и пусть себе статьи пишет, пока вы здесь своим делом занимаетесь. Спасибо, до свидания! Я не хочу опошлять и отяжелять впечатления после такой изящной концовочки. С товарищеским приветом!

Иван Иванович

С товарищеским приветом! Кстати, как фамилия этой артисточки, третья сбоку? Очень красивое и нежное... дарование... Надо открыть широкую кампанию, — а можно даже и узкую, ну так... я и она. Я позвоню по телефону. Или пускай она позвонит.

Моментальников

Эчеленца, прикажите!
Стыд природный невелик.
Только адрес, адрес нам дадите, —
стелефоним в тот же миг.

Два капельдинера останавливают лезущего в первый ряд Велосипедкина.

Капельдинер

Гражданин, а гражданин, вас вежливо просют, убирайтесь вы отсюда! Куда вы прете?

Велосипедкин

Мне нужно в первый ряд...

Капельдинер

А бесплатных пирожных вам не нужно? Вас вежливо просют, гражданин, а гражданин? У вас билет в рабочей полосе, а вы в чистую публику прете.

Велосипедкин

Я иду в первый ряд к товарищу Победоносикову по делу.

Капельдинер

Гражданин, а гражданин, в театр для удовольствий ходют, а не по делу. Вам вежливо говорят, катитесь отсюда колбасой!

Велосипедкин

Удовольствие дело послезавтрашнее, а я по делу по сегодняшнему, и, если будет надо, не только первый — мы вам все ряды переворотим с ложами.

Капельдинер

Гражданин, вам вежливо говорят, выметайтесь отсюда! За гардероб не платили, программу не купили, да еще без билета!

Велосипедкин

Да я не смотреть пришел. С моим делом я и по партийному билету сюда пройду... Я к вам, товарищ Победоносиков!

Победоносиков

Чего вы кричите? И кто это такой? Какой-то Победоносиков?!!

Велосипедкин

Шутки в сторону, бросьте играться. Вы и есть он, и я к вам, который и есть главначпупс Победоносиков.

Победоносиков

Надо-с узнать если не имя-отчество, то хотя бы фамилию, прежде чем обращаться к вышесидящему ответственному товарищу.

Велосипедкин

Так как ты ответственный, ты и отвечай, почему у тебя в канцелярии замораживают изобретение Чудакова? В нашем распоряжении минуты. Несчастие будет непоправимо. Отпустите немедленно деньги, вынесем опыт на максимально возвышенное место и...

Победоносиков

Что за чепуха?! Какой Чудаков? Какие возвышенности? И я вообще сам сегодня выезжаю на возвышенности Кавказа.

Велосипедкин

Чудаков — это изобретатель...

Победоносиков

Изобретателей много, а я один, и вообще прошу не беспокоить меня хотя бы в редкие, урегулированные подлежащими инстанциями минуты отдыха. Зайдите в пятницу.

Режиссер усиленно машет рукой Велосипедкину.

Велосипедкин

К тебе зайдут — и не в пятницу, а сегодня, и не я, а...

Победоносиков

Пускай заходит кто угодно, и не ко мне, а к моему заместителю. Если в приказе объявлено о моем от-

пуске, значит, меня нет. Надо понимать конструкцию нашей конституции.

Это безобразие!

Велосипедкин
(к Ивану Ивановичу)

Втолкуйте ему, втелефонируйте ему, вы же обещали!

Иван Иванович

Приставать с делами к лицу, находящемуся в отпуску!!! Удивительно интересно! У вас есть телефон? Я позвоню Николаю Александровичу. Надо беречь здоровье старых ответственных, пока они еще молоды.

Режиссер

Товарищ Велосипедкин, умоляю вас, не устраивайте скандала! Он же ж не из пьесы. Он просто похож, и умоляю вас, чтоб они не догадались. Вы получите полное удовлетворение по ходу действия.

Победоносиков

Прощайте, товарищ! Нечего сказать, называетесь ррреволюционным театром, а сами раздражаете... как это вы сказали?.. будоражите, что ли, ответственных работников. Это не для масс, и рабочие и крестьяне этого не поймут, и хорошо, что не поймут, объяснять им этого не надо. Что вы из нас каких-то действующих лиц делаете? Мы хотим быть бездейственными... как они называются? — зрителями. Не-еет! В следующий раз я пойду в другой театр!

Иван Иванович

Да, да, да! Вы видали «Вишневую квадратуру»? А я был на «Дяде Турбиных». Удивительно интересно!

Режиссер
(Велосипедкину)

Что вы наделали? Вы чуть не сорвали весь спектакль. Пожалте на сцену! Пьеса продолжается!

IV действие

Сцена переплетена входными лестницами. Углы лестниц, площадки и двери квартир. На верхнюю площадку выходит одетый и с чемоданом Победоносиков. Пытается плечом придавить дверь, но Поля распахивает дверку и выбегает на площадку. Кладет руку на чемодан.

Поля

Что ж, я так и останусь?.. Не смешно!

Победоносиков

Я прошу тебя прекратить этот разговор. Какое семейное мещанство! Каждый врач скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя, именно себя, а не тебя, из привычной среды, ну и я еду восстановить важный государству организм, укрепить его в разных гористых местностях.

Поля

Я же знаю, ну, видела, — тебе принесли два билета. Я могла думать... Ну, чем, чем я тебе мешаю? Смешно!

Победоносиков

Оставь ты эти мещанские представления об отдыхе. Мне на лодках кататься некогда. Это мелкие развлечения для разных секретарей. Плыви, моя гондола! У меня не гондола, а государственный корабль. Я тебе не загорать еду. Я всегда обдумываю текущий момент, а потом там... доклад, отчет, резо-

люция — социализм. По моему общественному положению мне законом присвоена стенографистка.

Поля

Когда я твоей стенографии мешала? Смешно! Ну, хорошо, ты перед другими ханжишь, стараешься, но чего ты меня обманываешь? Не смешно. Чего ты меня ширмой держишь?! Пусти ты меня, ради бога, и стенографируй хоть всю ночь! Смешно!

Победоносиков

Тсс... Ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками. «Ради бога». Тсс... Внизу живет Козляковский, он может передать Павлу Петровичу, а тот знаком домами с Семеном Афанасьичем.

Поля

Чего скрывать? Смешно!

Победоносиков

Тебе, тебе нужно скрывать, скрывать твои бабьи мещанские, упадочные настроения, создавшие такой неравный брак. Ты вдумайся хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся! Я — и ты! Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью. Я поднялся вверх по умственной, служебной и по квартирной лестнице. Надо и тебе уметь самообразовываться и диалектически лавировать. А что я вижу в твоем лице? Пережиток прошлого, цепь старого быта!

Поля

Я тебе мешаю? Чем? Смешно! Это ты из меня сделал ощипанную наседку.

Победоносиков

Тсс!!! Довольно этой ревности! Сама шляешься по чужим квартирам. Комсомольские удовольствия, да? Думаешь, я не знаю? Не могла себе даже хахалей найти сообразно моему общественному положению. Шкодливая юбконосица!

Поля

Замолчи! Не смешно!

Победоносиков

Тсс!!! Я тебе сказал, внизу живет Козляковский. Зайдем в квартиру. Это надо наконец кончить!

Хлопает дверью, вталкивая Полю в квартиру. На нижней ступеньке показывается Велосипедкин, за ним Чудаков, груженный невидимой машиной. Невидимую машину поддерживают Двойкин и Тройкин.

Велосипедкин

Нажимай, товарищи! Еще ступенек двадцать. Тащи тихо! Чтоб он не спрятался опять за секретарей и бумажки. Пускай эта бомба времени разорвется у него.

Чудаков

Боюсь, не успеем донести. Просчет в десятую секунды даст разницу в целый час по нашему времени.

Двойкин

Ты чувствуешь, как нагреваются части под рукой? Стекло закипает.

Тройкин

С моей стороны планка накаляется до невозможности. Плита! Честное слово, плита! С трудом держусь, чтоб не разжать ладонь.

Чудаков

Тяжесть машины увеличивается с каждой секундой. Я почти могу поручиться, что в машине материализуется постороннее тело.

Двойкин

Товарищ Чудаков, топай скорей! Поддерживать нет возможности. Огонь несем!!!

Велосипедкин

(подбегает и поддерживает, обжигаясь)

Товарищи, не сдавайтесь. Еще ступенек десять — пятнадцать, он сейчас же здесь, наверху. О, черт, адово пламя! *(Отрывает обожженную руку.)*

Чудаков

Тащить дальше нельзя. Видимо, остаются секунды. Скорее! Хотя б до площадки! Сваливайте здесь!

Из двери выбегает Победоносиков, дверь захлопывает, потом стучит. Дверь приоткрывается, показывается Поля.

Победоносиков

Ты, конечно, не волнуйся... Ты, Полечка, помни, что ты сама можешь понять, что нашу жизнь, мою жизнь может устроить только твое доброе желание.

Поля

Мое? Сама? Не смешно!

Победоносиков

Кстати, я забыл спрятать браунинг. Он мне, должно быть, не пригодится. Спрячь, пожалуйста. Помни, он заряжен, и, чтоб выстрелить, надо только отвесть вот этот предохранитель. Прощай, Полечка!

Захлопывает дверь, прижимает ухо к замочной скважине, прислушивается. На нижней ступеньке показывается Мезальянсова.

Мезальянсова

Носик, ты скоро?

Победоносиков

Т-с-с-с!!!

Грохот, взрыв, выстрел. Победоносиков распахивает дверь и бросается в квартиру. На нижней площадке фейерверочный огонь. На месте поставленного аппарата светящаяся женщина со свитком в светящихся буквах. Горит слово «Мандат». Общее остолбенение. Выскакивает Оптимистенко, на ходу подтягивает брюки, в ночных туфлях на босы ноги, вооружен.

Оптимистенко

Где? Кого?!

Фосфорическая женщина

Привет, товарищи! Я делегатка 2030 года. Я включена на двадцать четыре часа в сегодняшнее время. Срок короткий, задания чрезвычайные. Проверьте полномочия и оповеститесь.

Оптимистенко

(бросается к делегатке, всматривается в мандат, скороговоркой пробормотывая текст)

«Институт истории рождения коммунизма...» Так... «Даны полномочия...» Правильно... «Отобрать лучших...» Ясно... «для переброски в коммунистический век...» Что делается-то! Что делается, господи!.. *(Бросается вверх по ступенькам.)*

На пороге появляется раздраженный Победоносиков.

Оптимистенко

Товарищ Победоносиков, к вам делегат из центру.

Победоносиков снимает кепку, роняет чемодан, растерянно пробегает мандат, потом торопливо приглашает рукой в квартиру. К Оптимистенко шепотом, потом к Фосфорической женщине.

Победоносиков
(к Оптимистенко)

Накрути хвост вертушке. Справься там, знаешь у кого, возможная ли это вещь, сообразно ли это с партэтикой и мыслимо ли безбожнику верить в такие сверхъестественные явления. *(К Фосфорической женщине.)* Я, конечно, уже в курсе этого дела, и мною оказано всемерное содействие. Ваши компетентные органы поступили вполне продуманно, направив вас ко мне. У нас этот вопрос уже прорабатывается в комиссии и сейчас же за получением руководящих директив будет с вами согласован. Пройдите прямо в мой кабинет, не обращая внимания на некоторое мещанство вследствие неувязки равенства культурного уровня супружества. *(К Велосипедкину.)* Пожалуйста! Я ж вам говорил — заходите прямо ко мне!

Победоносиков пропускает Фосфорическую женщину, постепенно охлаждающуюся и приходящую в нормальный вид.

Победоносиков
(к подбежавшему Оптимистенко)

Ну, что, что?

Оптимистенко

Оне смеются и говорят, что это за границей человеческого понимания.

Победоносиков

Ах, за границей! Значит, надо с ВОКСом увязать. Самую мельчайшую вещь надо растолковывать. Са-

ми ни малейшей инициативы не могут проявить. Товарищ Мезальянсова, стенография откладывается. Подымайтеся вверх для немедленной сверхурочной культурной связи.

V действие

Установка второго действия, только беспорядочная. Надпись: «Бюро по отбору и переброске в коммунистический век». Вдоль стены сидят Мезальянсова, Бельведонский, Иван Иванович, Кич, Победоносиков. Оптимистенко секретарствует на приеме. Победоносиков ходит недовольный, придерживая двумя руками два портфеля.

Оптимистенко

В чем дело, гражданин?

Победоносиков

Нет, так это продолжаться не может! Я об этом еще поговорю. Я и в стенную газету про это напишу. Обязательно напишу!!! С бюрократизмом и протекционизмом надо бороться. Я требую пропустить меня вне очереди!

Оптимистенко

Товарищ Победоносиков, да какой же может быть бюрократизм перед проверкой и перед отбором? Не треба вам ее беспокоить. Идите себе вне очереди. Вот очередь пройдет, и валяйте прямо сами по себе и без всякой очереди.

Победоносиков

Мне нужно сейчас!

Оптимистенко

Сейчас? Пожалуйста, сейчас! Только же ж у вас часы с ихними часами не согласованы. У нее же ж,

товарищ, время другое, и как она мне скажет, вы сейчас же ж и пойдете...

Победоносиков

Так ведь мне ж надо в связи с переброской выяснить массу дел: и оклад, и квартиру, и прочее.

Оптимистенко

Тьфу! Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное госучреждение! Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется: фордизмы разные, машины времени, то, сё...

Иван Иванович

Вы когда-нибудь бывали в очереди? Я первый раз бываю в очереди. Удивительно неинтересно!

Бывший кабинет Победоносикова полон. Приподнятость и боевой беспорядок первых октябрьских дней. Фосфорическая женщина говорит.

Фосфорическая женщина

Товарищи, сегодняшняя встреча — наспех. Со многими мы проведем года. Я расскажу вам еще много подробностей нашей радости. Едва разнеслась весть о вашем опыте, ученые установили дежурство. Они много помогли вам, учитывая и корректируя ваши неизбежные просчеты. Мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие тоннель, пока не встретились сегодня. Вы сами не видите всей грандиозности ваших дел. Нам виднее: мы знаем, что вошло в жизнь. Я с удивлением оглядывала квартирки, исчезнувшие у нас и тщательно реставрируемые музеями, и я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о которых, опыт которых

и сейчас высятся у нас образцом коммунистической стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам засаленных юношей, имена которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего краткого облета я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросшей так быстро в счастье наше и в радость всей планеты. С каким восторгом смотрела я сегодня ожившие буквы легенд о вашей борьбе — борьбе против всего вооруженного мира паразитов и поработителей. За вашей работой вам некогда отойти и полюбоваться собой, но я рада сказать вам о вашем величии.

Чудаков

Товарищ, простите, я вас перебью. Но времени остается наших шесть часов, и мне нужны ваши последние указания. Сколько будет отправлено, год назначения, быстрота?

Фосфорическая женщина

Направление — бесконечность, скорость — секунда — год, место — 2030 год, сколько и кто — неизвестно. Известна только станция назначения. Здесь — ценность неясна. Будущему прошлое — ладонь. Примут тех, кто сохранится в ста годах. Приступайте, товарищ! Кто с вами?

Фоскин

Я!

Двойкин

Я!

Тройкин

Я!

Фосфорическая женщина

А кто из математиков — для чертежей и руководства?

Фоскин

Мы!

Двойкин

Мы!

Тройкин

Мы!

Фосфорическая женщина

Как? Вы и рабочие, вы и математики?

Велосипедкин

Очень просто! Мы и рабочие, мы и вузовцы.

Фосфорическая женщина

Для нас просто. Я не знала, прост ли для вас переход от конвейера к управлению, от рашпиля к арифмометру.

Двойкин

Не такие переходы делали, товарищ. Мы броненосцы делали, потом зажигалки, с зажигалками кончили — штыки начали, штыков наделали — на трактора перешли, да еще всякую учебу на вуз наматывали. И у нас многие не верили, только мы это неверие в рабочий класс ликвидировали. Когда вы наше время изучали, у вас небольшой просчетец вышел. Вы, кажется, про прошлый год думаете?

Фосфорическая женщина

Я вижу, с вашим подвижным курьерским мозгом встать бы прямо в наши ряды и в нашу работу.

Велосипедкин

Этого мы и боимся, товарищ. Машину мы пустим и, конечно, пойдем, если ячейка пошлет. Но, пожалуйста, лучше пока не берите нас никуда. У нас как раз наш цех на непрерывку переходит — очень важно и интересно знать, выполним ли мы пятилетку в четыре года.

Фосфорическая женщина

Обещаю одно. Остановимся на станции 1934 год для получения справок. Но если таких, как вы, много, то и справок не надо.

Чудаков

Идем, товарищи!

Стена канцелярии. Пробегают Чудаков, Велосипедкин, Двойкин, Тройкин, Фоскин, на ходу сверяя планы. Победоносиков семенит за Чудаковым. Чудаков отмахивается.

Победоносиков
(возбужденно размахивая)

Подумаешь, какой-то Чудаков пользуется тем, что изобрел какой-то аппаратишко времени и познакомился с этой бабой, ответ-женщиной, раньше. Я еще не уверен вообще, что здесь не просто бытовое разложение и вообще связи фридляндского порядка. Пол и характер! Да! Да! *(К Оптимистенко.)* Подчиненный товарищ Оптимистенко, вы же должны понять, что вопрос касается важнейшей вещи о поездке моей, ответственного работника, во главе целого учреждения в столетнюю служебную командировку.

Оптимистенко

Да не согласовано ваше путешествие!

Победоносиков

То есть как это не согласовано? Я уже с утра себе и литеры и мандаты выписал!

Оптимистенко

Ну, видите, а с НКПС не увязано.

Победоносиков

Но при чем же тут НКПС? Это же головотяпство! Это же ж не поезд. Тут в одну секунду сорок человек или восемь лошадей мчат вперед на целый год.

Оптимистенко

Отказать! Нежизненно! Кто же ж согласится ездить в командировку, когда ему за сто лет суточных треба, а ему секундочные выписывать будут?

Кабинет Победоносикова.

Фосфорическая женщина

Товарищи...

Поля

Прошу слова! Простите за навязчивость, я без всякой надежды, какая может быть надежда! Смешно! Я просто за справкой, что такое социализм. Мне про социализм товарищ Победоносиков много рассказывал, но всё это как-то не смешно.

Фосфорическая женщина

Вам недолго осталось ждать. Вы поедете вместе с мужем, с детьми.

Поля

С детьми? Смешно, у меня нет детей. Муж говорит, что в наше боевое время лучше не связываться с таким несознательным не то элементом, не то алиментом.

Фосфорическая женщина

Хорошо. Вас не связывают дети, но ведь вас связывает многое другое, раз вы живете с мужем.

Поля

Живу? Смешно! Я не живу с мужем. Он живет с другими, равными ему умом, развитостью. Не смешно!

Фосфорическая женщина

Почему же вы называете его мужем?

Поля

Чтобы все видели, что он против распущенности. Смешно!

Фосфорическая женщина

Понимаю. Значит, он просто заботится о вас, чтобы у вас всё было?

Поля

Да... он заботится, чтобы у меня ничего не было. Он говорит, что обрастание меня новым платьем компрометирует его в глазах товарищей. Смешно!

Фосфорическая женщина

Не смешно!

Стена канцелярии. Проходит Поля.

Победоносиков

Поля? Ты как здесь? Доносила? Жаловалась?!

Поля

Жаловалась? Смешно!

Победоносиков

Ты ей, главное, рассказала, как мы шли вместе, плечо к плечу, навстречу солнцу коммунизма? Как мы боролись со старым бытом? Женщины любят сентиментальность. Ей это понравилось? Да?

Поля

Вместе? Смешно!

Победоносиков

Ты смотри, Поля! Ты не должна запятнать мою честь как члена партии с выдающимся стажем. Ты должна помнить про партийную этику и не выносить сора из избы. Кстати, ты пошла бы в избу, то есть в квартирку, и убрала бы, вынесла сор и уложила вещи. Я еду. Я против совместительства и пока поеду один, а тебя выпишу, когда вообще буду выписывать родственников. Иди домой, Поля, а то...

Поля

Что «а то»? Не смешно!

Кабинет Победоносикова.

Фосфорическая женщина

Выбор на ваше учреждение пал случайно, как и изобретения кажутся случайными. Пожалуй, лучшие образцы людей в том учреждении, в котором работают Тройкины и Двойкины. Но у вас на каждой пяди стройка, хорошие экземпляры людей можно вывезти и отсюда.

Ундертон

Скажите, а мне можно с вами?

Фосфорическая женщина

Вы отсюда?

Ундертон

Пока ниоткуда.

Фосфорическая женщина

Как так?

Ундертон

Сократили.

Фосфорическая женщина

Что это значит?

Ундертон

Губы, говорят, красила.

Фосфорическая женщина

Кому?

Ундертон

Себе.

Фосфорическая женщина

Больше ничего не делали?

Ундертон

Перестукивала. Стенографировала.

Фосфорическая женщина

Хорошо?

Ундертон

Хорошо.

Фосфорическая женщина

Отчего ж ниоткуда?

Ундертон

Сократили.

Фосфорическая женщина

Почему?

Ундертон

Губы красила.

Фосфорическая женщина

Кому?

Ундертон

Да себе ж!

Фосфорическая женщина

Так какое ж им дело?

Ундертон

Сократили.

Фосфорическая женщина

Почему?

Ундертон

Губы, говорят, красила!

Фосфорическая женщина

Так зачем же вы красили?

Ундертон

Не покрасить, тогда и совсем не примут.

Фосфорическая женщина

Не понимаю. Если б вы еще кому-нибудь другому, скажем, приходящим за справками на работе красили б, ну, тогда б могли сказать — мешает, посетители обижаются. А так...

Ундертон

Товарищ, вы меня извините за губы. Что мне делать? В подполье я не была, а нос у меня в веснушках, на меня только и внимание обратят, что я губами бросаюсь. Если у вас и без этого на людей смотрят, вы скажите, только покажите вашу жизнь — хоть краешком! Конечно, там у вас все важные... с заслугами, там Победоносиковы разные. Я им на глаза попадаться не буду, но все-таки пустите... Если не подойду, я обратно вернусь... вышлете сейчас же. А в дороге я могу кой-чего поделать, впечатления будете диктовать или отчет в израсходовании — я настукаю.

Ночкин

А я подсчитаю. Я лучше у вас в МУУР заявлю, а то пока здесь суды разберутся...

Стена приемной.

Победоносиков

Запишите, занесите в протокол! В таком случае я должен заявить, что я снимаю с себя всякую ответственность, и если вследствие незнакомства с предшествующей перепиской, а также неудачного подбора личного состава произойдет катастрофа...

Оптимистенко

Ну, ето вы оставьте!.. Не угрожайте крупному государственному учреждению, нам нервничать и волноваться невдобно. А если произойдет катастрофа, мы тогда и доведем до сведения милиции на предмет составления протокола.

Проходит Ночкин, прячась за Ундертон.

Победоносиков

(останавливая Ночкина и меряя Ундертон глазами)

Как? Еще в учреждении?! Еще на свободе?!! Товарищ Оптимистенко! Почему не приняты меры? Но, впрочем, раз вы еще на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы. Надо сообразно с моими командировками выписать подъемные и суточные, исходя из нормального понятия о времени и среднего заработка за сто лет, ну и там командировочные и подотчетные... В случае порчи машины, может, где-нибудь придется простоять, на каком-нибудь глухом полугодии, лет двадцать, тридцать, надо всё это предусмотреть и принять во внимание. Нельзя так неорганизованно катиться...

Ночкин

А ты организованно катись колбасой!!! (*Скрывается.*)

Иван Иванович

Колбасой? Вы бывали на заседаниях? Я бывал на заседаниях. Везде бутерброды с сыром, с ветчиной, с колбасой — удивительно интересно!

Победоносиков

(один, разваливается в кресле)

Ну, хорошо, я уйду! При таком отношении я скажу, что я ухожу в отставку. Пускай потом изучают меня по воспоминаниям современников и портретам. Я ухожу, но вам же, товарищи, хуже!

Выходит Фосфорическая женщина

Оптимистенко

Прием закрыт! Придите завтра, в порядке живой очереди.

Фосфорическая женщина

Какой прием? Какое завтра? Какая очередь?!!

Оптимистенко

(указывая на вывеску «Без доклада не входить»)

Согласно с основными законами.

Фосфорическая женщина

А, вы эту глупость снять забыли?!

Победоносиков

(вскакивая и идя рядом с Фосфорической женщиной)

Здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Простите, что я опоздал, но эти дела... Я все-таки к вам заехал на минутку. Я отказывался. Но никто и слушать не хочет. Езжай, говорят, представительствуй. Ну, раз коллектив просит, — пришлось согласиться. Только имейте в виду, товарищ, я работник центрального значения, пускай другие колхозятся. Вы это учтите заранее и снеситесь. Товарищ Оптимистенко может дать молнией за наш счет. Вы, конечно, сами пони-

маете, что мне придется предоставить должность согласно стажу и общественному положению как крупнейшему работнику в своей области.

Фосфорическая женщина

Товарищ, я никого никуда не определяю, я явилась к вам только для убедительности. Не сомневаюсь, что с вами поступят так, как вы заслуживаете.

Победоносиков

Инкогнито? Понимаю! Но между нами, как облеченными обоюдным доверием, не может быть тайн. И я, как старший товарищ, должен вам заметить, что вас окружают люди не вполне стопроцентные. Велосипедкин курит. Чудаков — пьет, должно быть, пьет сообразно с фантазией. Должен сказать и про жену, не смею утаить от организации, — мещанка и привержена к новым связям и к новым юбкам, совокупно именуемым старым бытом.

Фосфорическая женщина

Ну, какое вам дело? Работают зато...

Победоносиков

Ну что ж, что зато? Я тоже за то, но я зато не пью, не курю, не даю «на чай», не загибаю влево, не опаздываю, не... *(наклоняется к уху)* не предаюсь излишествам, не покладаю рук...

Фосфорическая женщина

Это вы говорите про всё, чего вы «не, не, не»... Ну а есть что-нибудь, что вы «да, да, да»?

Победоносиков

Да, да, да? Ну, да! Директивы провожу, резолюции подшиваю, связь налаживаю, партвзносы плачу, партмаксимум получаю, подписи ставлю, печать

прикладываю... Ну, просто уголок социализма. У вас там, должно быть, циркуляция бумажек налажена, конвейер, а?

Фосфорическая женщина

Не знаю, про что вы говорите, но, конечно, бумага для газет подается в машину исправно.

Входят Понт Кич и Мезальянсов

Понт Кич

Кхе, кхе!

Мезальянсова

Плиз, сэр.

Понт Кич

Асеев, бегемот, дай в долг, лик избит, и стоимость снизилась май пуд часейшен...

Мезальянсова

Мистер Понт Кич хочет сказать, что он может по сходной государственной цене скупить, ввиду полной ненадобности, все часы, и тогда он поверит в коммунизм.

Фосфорическая женщина

Понятно и без перевода. Сначала признайте — выгоды потом! Товарищи! Приходите вовремя, — ровно в двенадцать часов на станцию 2030 год отбывает первый поезд времени.

VI действие

Подвал Чудакова. С двух сторон невидимой машины возятся Чудаков и Фоскин, Велосипедкин и Двойкин. Фосфорическая женщина сверяет с планом невидимую машину. Тройкин хранит двери.

Фосфорическая женщина

Товарищ Фоскин! Щиты, ослабляющие ветер, ставьте ординарные. Пятилетка приучила к темпу и скорости. Переход почти не будет заметен.

Фоскин

Стекло сменю. Полмиллиметра. Небьющееся.

Фосфорическая женщина

Товарищ Двойкин! Проверьте рессоры. Смотрите, чтобы не трясло на ухабах праздников. Непрерывка избаловала плавным ходом.

Двойкин

Пройдем плавно, только б не валялись водочные бутылки на дороге.

Фосфорическая женщина

Товарищ Велосипедкин! Следите за манометром дисциплины. Отклонившихся срежет и снесет.

Велосипедкин

Ничего! Подтянем струною.

Фосфорическая женщина

Товарищ Чудаков, готово?

Чудаков

Отметим линию стояния, и можно пускать пассажиров. Белая лента-рулон размотана между колесами невидимой машины.

Велосипедкин

Тройкин, пускай!

С четырех сторон с плакатами под «Марш времени» вливаются пассажиры.

МАРШ ВРЕМЕНИ

Взвивайся, песня,
рей, моя,
над маршем
красных рот!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Вперед, страна,
скорей, моя,
пускай
старье
сотрет!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Шагай, страна,
быстрей, моя,
коммуна —
у ворот!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
На пятилетке
премией

мы —
сэкономим год!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Наляг, страна,
скорей, моя,
на непрерывный ход!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Сильней, коммуна,
бей, моя,
пусть вымрет
быт-урод!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!
Взвивайся, песня,
рей, моя,
над маршем
красных рот!
Впе-
ред,
вре-
мя!
Вре-
мя,
вперед!

Оптимистенко

(отделяясь от толпы, к Чудакову)

Товарищ, я вас должен конфиденциально спросить — буфет будет? Так и знал! А почему не оповещено приказом? Забыли? Ну, ничего, питья хватит, с едой перебьемся. Заходите в наше купе. Которое местечко-то?

Чудаков

Становитесь рядом. Плечо к плечу. Об усталости не беспокойтесь. Только поворот вот этого колеса — и через секунду...

Победоносиков

(входит в сопровождении Мезальянсовой)

Звонка еще не было? Можно давать. Сразу второй! (К Двойкину.) Товарищ, ты партийный? Да? Не в службу, а в дружбу, — помоги там с вещами. Документы важные, о-о-о!!! Нельзя доверять разным беспартийным носильщикам, носящим только за деньги, а тебе, как выдвиженцу, пожалуйста, — неси! Доверяю!.. Кто здесь завглавнач посадки? Где мое купе? Мое место, конечно, нижнее...

Фосфорическая женщина

Машина времени еще не вполне оборудована. Вам, как пионерам этого вида транспорта, придется стоять со всеми.

Победоносиков

При чем тут пионеры? Пионерский слет закончен, и попрошу никогда больше не надоедать мне с пионерами. Эта кампания проведена! Я просто не поеду! Черт знает что такое! Надо, наконец, научить-

ся беречь старого гвардейца, а то я уйду из гвардии. Наконец, я требую компенсации за неиспользованный отпуск! Одним словом, где вещи?

Двойкин толкает вагонетку с перевязанными кипами бумаг, шляпными картонками, портфелями, охотничьими ружьями и шкафом-сундуком Мезальянсовой. С четырех углов вагонетки четыре сеттера. За вагонеткой Бельведонский с чемоданом, ящиком, кистями, портретом.

Фосфорическая женщина

Товарищ, это что за громадный универмаг?

Оптимистенко

Да нет же ж. Это малюсенькое обрастание.

Фосфорическая женщина

Ну, зачем вам? Хоть часть оставьте!

Оптимистенко

Конечно, товарищ, почтой дошлете.

Победоносиков

Попрошу без замечаний! Развесьте себе стенную газету и замечайте там. Я должен представить циркуляры, литеры, копии, тезисы, перекопии, поправки, выписки, справки, карточки, резолюции, отчеты, протоколы и прочие оправдательные документы при хотя бы вещественных собаках. Я мог спросить дополнительный вагон-бис, но я не спрашиваю сообразно со скромностью в личной жизни. Не теряйте политику дальнего прицела. Вам это тоже очень и очень пригодится. Получив штаты, я переведу канцелярию в общемировой масштаб. Расширив штаты, я переведу масштаб в междупланетный. Надеюсь, вы не хотите обесканцелярить и дезорганизовать планету?

Оптимистевко

(Фосфорической женщине)

Не возражайте, гражданка. Жалко же ж планету.

Фосфорическая женщина

Только возитесь быстрее!

Победоносиков

Я попрошу вас не вмешиваться не в свою компетенцию. Это слишком! Попрошу не забывать — это мои люди, и пока я не снят, я здесь распронаиглавный. Мне это надоело! Я буду жаловаться всем на все действия решительно всех, как только вступлю в бразды. Посторонитесь, товарищи! Ставьте вещи сюда. Где портфель светло-желтого молодого теленка с монограммой? Оптимистенко, сбегайте! Не волнуйтесь, подождут! Я останавливаю поезд по государственной необходимости, а не из-за пустяков.

Оптимистенко бросается, навстречу Поля с портфелем.

Поля

Пожалуйста, не шипи! Я прибирала дома, как ты велел, — сейчас вернусь, доприбираюсь. Вижу — забыл. Думаю — важное! Смешно! Прибежала — пожалуйста! *(Передает портфель.)*

Победоносиков

Принимаю портфель и принимаю к сведению. Надо напоминать раньше! В следующий раз я буду рассматривать это как прорыв и ослабление супружеской дисциплины. Провожатые, выйдите! Прощай, Поля! Когда я устроюсь, я тебе буду присылать треть чего-нибудь в согласии с практикой суда и вплоть до изменения устаревшего законодательства.

Понт Кич

(входя и останавливаясь)

Кхе, кхе!

Мезальянсова

Плиз, сэр!

Понт Кич

Вор нагл драл с лип жасмин дай нам плюньте биллетер...

Мезальянсова

Мистер Кич хочет сказать и говорит, что он без билета, потому что не знал, какой нужен — партийный или железнодорожный, но что он согласен врастать в любой социализм, только чтоб это ему было доходно...

Оптимистенко

Плиз, плиз, сэр. Дорогой договоримся.

Иван Иванович

Привет! Наше вам и вашим и нашим достижениям. Еще одно последнее усилие — и всё будет изжито. Вы видали социализм? Я сейчас увижу социализм — удивительно интересно.

Победоносиков

Итак, товарищи... Почему и на чем мы остановились?

Ундертон

Мы остановились на «Итак, товарищи...»

Победоносиков

Да! Прошу слово! Беру слово! Итак, товарищи, мы переживаем то время, когда в моем аппарате

изобретен аппарат времени. Этот аппарат освобожденного времени изобретен именно в моем аппарате, потому что у меня в аппарате было сколько угодно свободного времени. Настоящий текущий момент характеризуется тем, что он момент стоячий. А так как в стоячем моменте неизвестно, где заключается начало и где наступает конец, то я сначала скажу заключительное слово, а потом вступительное. Аппарат прекрасный, аппарату рад — рад и я и мой аппарат. Мы рады потому, что, раз мы едем раз в год в отпуск и не пустим вперед год, мы можем быть в отпуску каждый год два года. И наоборот, теперь мы получаем жалованье один день в месяц, но раз мы можем пропустить весь месяц в один день, то мы можем получать жалованье каждый день весь месяц. Итак, товарищи...

Голоса

— Долой!
— Довольно!!
— Валяй без молебнов!!!
— Чудаков, выключи ему время!

Чудаков подкручивает Победоносикова. Победоносиков продолжает жестикулировать, но уже совсем не слышен.

Оптимистенко

В свою очередь беру слово от лица всех и скажу вам прямо в лицо, невзирая на лица, что нам всё равно, какое лицо стоит во главе учреждения, потому что мы уважаем только то лицо, которое поставлено и стоит. Но скажу нелицеприятно, что каждому лицу приятно, что это опять ваше приятное лицо. Поэтому от лица всех подношу вам эти часы, так как эти идущие часы будут к лицу именно вам, как лицу, стоящему во главе...

Голоса

— Долой!!!
— Посолите ему язык!!
— Закрути ему кран, Чудаков!

Чудаков выключает Оптимистенко. Оптимистенко тоже жестикулирует, но и его не слышно.

Фосфорическая женщина

Товарищи! По первому сигналу мы мчим вперед, перервав одряхлевшее время. Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны, — радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать гордость человечностью. Удесятерим и продолжим пятилетние шаги. Держитесь массой, крепче, ближе друг к другу. Летящее время сметет и срежет балласт, отягченный хламом, балласт опустошенных неверием.

Победоносиков

Отойди, Поля!

Ночкин

(вбегает, преследуемый)

Мне бы только добежать до социализма, уж там разберут.

Милиционер

(догоняет, свистя)

Держи!!!

(Вскакивают в машину.)

Фосфорическая женщина

Раз, два, три!

Бенгальский взрыв. «Марш времени». Темнота. На сцене Победоносиков, Оптимистенко, Бельведонский, Мезальянсова, Понт Кич, Иван Иванович, скинутые и раскиданные чертовым колесом времени.

Оптимистенко

Слезай, приехали!

Победоносиков

Поля, Полечка! Пощупай меня, осмотри меня со всех сторон. Кажется, меня переехало временем. Полина!.. Увезли?! Задержать, догнать и перегнать! Который час?

(Смотрит на дареные часы.)

Оптимистенко

Отдавайте, отдавайте часы, гражданин! Бытовая взятка нам не к лицу как таковая, коль скоро я один от лица всех месячное жалованье в эти часы вложил. Мы найдем себе другое лицо, чтобы подносить часы и уважать.

Иван Иванович

Лес рубят — щепки летят. Маленькие... большие недостатки механизма. Надо пойти привлечь советскую общественность. Удивительно интересно!

Победоносиков

Художник, лови момент, изобрази живого человека в смертельном оскорблении!

Бельведонский

Не-е-ет! Ракурс у вас какой-то стал неудачный. На модель надо смотреть, как утка на балкон. У меня только снизу вверх получается вполне художественно.

Победоносиков

(Мезальянсовой)

Хорошо, хорошо, пускай попробуют, поплавают без вождя и без ветрил! Удаляюсь в личную жизнь писать воспоминания. Пойдем, я с тобой, твой Носик!

Мезальянсова

Я уже с носиком, и даже с носом, и даже с очень большим. Ни социализма не смогли устроить, ни женщину. Ах вы, импо... зантная фигурочка, нечего сказать! Гуд бай, адье, ауфвидерзейн, прощайте!!! Плиз, май Кичик, май Пончик! *(Уходит с Понтом Кичем.)*

Победоносиков

И она, и вы, и автор — что вы этим хотели сказать, — что я и вроде не нужны для коммунизма?!?

Конец

[1929—1930]

* * *

Сняв, по своему обыкновению, пиджак и повесив его на спинку стула, Маяковский развернул свою рукопись — как Мейерхольд любил говорить: манускрипт, — хлопнул по ней ладонью и, не теряя золотого времени на предисловие, торжествующе прорычал:

— «Баня», драма в шести действиях! — причем метнул взгляд в нашу сторону, в сторону писателей; кажется, он при этом даже задорно подмигнул.

Он читал отлично, удивив всех тонким знанием украинского языка, изображая Оптимистенко, причем сам с трудом удерживался от смеха, с усилием переводя его в однобокую улыбку толстой, подковообразной морщиной, огибающей край его крупного рта с прилипшим окурком толстой папиросы «госбанк».

После чтения, как водится, начались дебаты, которые, с чьей-то легкой руки, свелись, в общем, к тому, что, слава Богу, среди нас наконец появился новый Мольер.

Как говорится, читка прошла «на ура», и по дороге домой Маяковский был в прекрасном настроении...

Однако вскоре на пути «Бани», к общему удивлению, появилось множество препятствий — нечто весьма похожее на хорошо организованную травлю Маяковского по всем правилам искусства, начиная с псевдомарксистских статей одного из самых беспринципных рапповских критиков, кончая замалчиванием «Бани» в газетах и чудовищными требованиями Главреперткома, который почти каждый день устраивал обсуждение «Бани» в различных художественных советах, коллективах, на секциях, пленумах, президиумах, общих собраниях и где заранее подготовленные ораторы от имени советской общественности и рабочего класса подвергали Маяковского обвинениям во всех смертных литературных грехах — чуть ли даже не в халтуре.

Валентин Катаев. «Трава забвенья»

* * *

Такая легкость, с которой написана эта пьеса, была доступна в истории прошлого театра единственному драматургу — Мольеру... Это крупнейшее событие в истории русского театра, это величайшее событие, и нужно прежде всего приветствовать поэта Маяковского, который ухитрился дать нам образец прозы, сделанный с таким же мастерством, как и стихи. Я слушаю его прозу, которая касается наших дней, — каким языком она написана? Если вспомнить русских драматургов, то мы должны вспомнить Пушкина, Гоголя, несмотря на то, что приемы Маяковского резко отличаются от приемов Гоголя и у него другой подход, — он очень современен, он до мозга костей современен, у него нет навязчивой

связи по линии традиционализма... В пьесе Маяковского большое освобождение от традиции, но в то же время он так схватил приемы драматурга, что невольно вспоминается такой мастер, как Мольер. Последний монолог — это монолог Сганареля в «Дон Жуане» Мольера...

Я с ужасом думаю, что мне в качестве режиссера придется коснуться этой вещи. Мы всегда насилуем тех драматургов, пьесы которых мы ставим, мы иногда поправляем что-то, иногда переделываем. В этой вещи ничего переделать нельзя, настолько органично она создана. Она неизмеримо выше «Клопа». Там мы все время чувствовали: здесь надо что-то переделать, здесь надо дополнить, здесь — переменить. В этой вещи ничего вы не поправите. Эта вещь не могла бы быть уложена в четыре-пять актов, это именно шестичастная симфония, в которой нельзя изменить ни одного звена. Потом это замечательное переключение в середине, создание картины зрительного зала — это гораздо крупнее и значительнее того, что Маяковский сделал в «Клопе»... Тик в своей гениальной пьесе «Кот в сапогах» реальный быт превращает в фантастику и наоборот. Театр этого требует, у театра есть свои законы, и он должен говорить на языке своих законов, это он делает.

Маяковский протягивает руку в прошлое, к замечательнейшим драматургам. Слушая эту вещь, мы вспоминаем величайших драматургов. Эта пьеса должна идти так, как она написана.

Всеволод Мейерхольд.
Выступление в художественно-политическом совете ГосТИМа 23 сентября 1929 г.

* * *

Маяковский говорил мне, что, работая над «Клопом» и «Баней», он учился у нашего «Ревизора», «Горе уму», «Мандата». Так и должно происходить сотрудничество театра с поэтом: оба учатся друг у друга. Но в чем-то он пошел дальше и задал нам новые задачи.

В «Клопе» есть удивительные смены одного эпизода другим, в которых мы прощупываем лучшие ритмические модуляции Шекспира.

Всеволод Мейерхольд.
Из книги А. Гладкова «Мейерхольд»

* * *

Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом и его языком.

Никогда еще не видел я Маяковского таким растерянным, подавленным...

— Слушайте, Катаич, что они от меня хотят? — спрашивал он почти жалобно. — Вот вы тоже пишете пьесы. Вам тоже так режут? Это обычное явление? — Ого!

Я вспомнил экземпляр одной из своих пьес, настолько изуродованный красными чернилами, что Станиславский несколько дней не решался мне его показать, опасаясь, что я умру от разрыва сердца.

Маяковский брал меня с собой почти на все читки. По дороге обыкновенно советовался:

— А может быть, читать Оптимистенко без украинского акцента? Как вы думаете?

— Не поможет.

— Все-таки попробую. Чтобы не быть великодержавным шовинистом.

И он пробовал.

Помню, как ему было трудно читать текст своего Оптимистенко «без украинского акцента». Маяковский всю свою энергию тратил на то, чтоб Оптимистенко получился без национальности, «никакой», бесцветный персонаж с бесцветным языком. В таком виде «Баня», конечно, теряла половину своей силы, оригинальности, яркости, юмора.

Но что было делать? Маяковский, как мог, всеми способами спасал свое детище. Все равно не помогло.

Валентин Катаев. «Трава забвенья»

* * *

Союз Мейерхольда и Маяковского был не случайным явлением. Оба они с первых же дней советского переворота искренне отдали свою лиру коммунизму. Оба они были идеалистами, веровавшими в приход царства коммунистической свободы... Но их объединяло и разочарование в большевизме. Оба они увидели, что вместо светлой Коммуны Грядущего на советской земле строятся Всесоюзные Арестантские роты, страшная новая аракчеевщина, всеумертвляющая диктатура, с послушной ей миллионной армией тупых партийных чинуш, советских мещан.

Николай Горчаков.
«История советского театра»

* * *

«Клоп», эта раздирающая клоунада на бесчеловечность человечества, была написана Маяковским в 1928 году, за два года до его самоубийства. «Клоп» был третьей (и предпоследней) театральной пьесой Маяковского и является уже прямой сатирой на советский режим. Первая пьеса — трагедия «Владимир Маяковский» — была написана еще в 1913 году. В 1918 году появилась «Мистерия-буфф», и последней пьесой Маяковского была «Баня», «стиравшая бюрократов коммунизма» (по выражению автора) и законченная годом позже «Клопа».

«Мистерия-буфф», «Клоп» и «Баня» были поставлены на сцене Мейерхольдом. Никто другой не решался на это — и по соображениям формальным («Мистерия-буфф») и по соображениям политическим («Клоп» и «Баня»). Постановки «Клопа» и «Бани» были впоследствии включены в обвинительный акт Мейерхольда, заключенного в тюрьму (1939), где он и умер и театр которого был уничтожен.

Юрий Анненков.
«Дневник моих встреч»

Лозунг для спектакля «Баня»

Сразу не выпарить
бюрократов рой.
Не хватит ни бань
и ни мыла вам.
А еще бюрократам
помогает перо
Критиков —
вроде Ермилова...

* * *

В 1948 году я проводил лето со своей семьей в деревне Вертушино, рядом с литфондовским санаторием имени Серафимовича, известным под названием Малеевки. В Малеевке в то лето отдыхала Ольга Владимировна Маяковская, которой я до той поры никогда не видел. Узнав, что я живу неподалеку, она пожелала со мной познакомиться и пришла к нам с визитом. Это была крупная женщина лет пятидесяти, очень похожая на брата не только лицом, но и манерой говорить. Уже тогда в ней заметны были следы тяжелого заболевания сердца, которое через несколько лет привело ее к смерти, — она страдала одышкой, на лице ее была отечность. И мне и жене она была очень мила, и после первого визита она, гуляя, стала заходить к нам каждый день.

И вдруг ее посещения прекратились.

Она не появлялась у нас больше недели. Мы с женой забеспокоились, полагая, что она заболела. Мы навели справки через знакомых отдыхающих и выяснили, что она безвыходно сидит в своей комнате и не появляется даже в столовой.

Однако скоро мы узнали, что она здорова. Как передала она нам через общих знакомых, дело объяснялось тем, что в Малеевку приехал В.В. Ермилов. Не желая с ним встречаться, она десять дней не выходила из своей комнаты. Потом, не надеясь его переждать, уехала.

Она не скрывала, что считала В. В. Ермилова виновным в смерти своего брата.

Николай Чуковский. «Литературные воспоминания»

Маяковский на эстраде

От составителя

В предисловии к этому тому, перечисляя роды и виды искусств, в которых проявил себя Маяковский (лирик, очеркист, сатирик, драматург, живописец), я добавил к ним еще одну его ипостась: «Король эстрады». Остроты Маяковского, эстрадные реплики Маяковского стали записывать и публиковать еще при его жизни. (Первым это начал делать Алексей Крученых.) Сегодня под заглавием «Устный Маяковский» можно было бы составить уже целый том.

Том Маяковского в «Антологии сатиры и юмора XX века» без этой ипостаси его творческого облика представить себе невозможно.

Но — нельзя «объять необъятное». И я решил ограничиться тем, что включил в это издание одну из самых ранних попыток изобразить Маяковского на эстраде — очерк Льва Кассиля, впервые увидевший свет в «Альманахе с Маяковским» в 1934 году.

Лев Кассиль

НА КАПИТАНСКОМ МОСТИКЕ

Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
Я радостью скручен, как вьюгой,
Что мне с капитаном таким довелось
Шаландаться по морю юнгой.

Кирсанов

Политехнический осажден. Смяты очереди.

Трещат барьеры. Давка стирает со стен афиши. Администратор взмок... Лысой кукушкой он ускользает в захлопнувшееся окошечко. Милиция просит очистить

вестибюль... Зудят стекла. Всхлипывают пружины дверей. Гам. Маяковский сам не может попасть на свой вечер. Он оказывается заложником у осаждающих. С него требуют выкуп: пятьдесят контрамарок и, ну двадцать... тогда пропустят. Но он уже роздал вчера, сегодня, сейчас десятки контрамарок, пропусков. Сейчас нет... Он оскудел. И Маяковский продирается к входу. Он начинает таранить, раздвигать, ворочаться, как затертый мощный ледокол. Потом он вдруг сразу и легко проходит через всю толщу толпы. «Он прошел через нее, как проходит сквозь снег горячий утюг», — подметил где-то Шкловский.

Зал переполнен. Перворядная публика ропщет. Сидят в проходах, на ступеньках, на краю эстрады, на коленях друг у друга...

Больше ни одного пропуска. Твердо и определенно. Маленькая закулисная комнатка загромождена Маяковским. Она задавлена его расхаживанием. Комнатка тесна Маяковскому. Владимир Владимирович сторонит широкие плечи. (В углу рта — окурок. Он закушен, как удила.)

По лестнице подымается шум осады:

— Ма... я... ков... ский...

— Про... пу... сти... те...

Владимир Владимирович почти сконфуженно говорит мне:

— Кассильчик, пожалуйста... Спуститесь к администратору. Мне уже совестно. А там пришли комсомольцы, кружковцы. Я им обещал. Пусть пропустит пять человек. Скажите, последние... Ну, ладно, заодно уж восемь... Словом, десять... И бейте себя в грудь, рвите волосы, выньте сердце, клянитесь, что последние. Он поверит. Девять раз уже верил...

Тем временем строптивый зал уже топает от нетерпения. И вот выходит Маяковский. Его появление на эстраде валит в котловину зала веселую и приветливую груду хлопков. Друзья и соратники сопровождают поэта.

В одной руке Маяковского — портфель. В другой — стакан чая.

Он сотрясает своими шагами пол эстрады. Он двигает стол. Грохочут стулья. Рядком раскладываются книжки. Стихи. Бумажки. Часы. Звенит ложечка в стакане. Маяковский обжился. Он осмотрен и осмотрелся. Он распахивает полы пиджака, засовывая ладони сзади под пояс: поза почти спортивная.

— Сегодня, — начинает он, — я... — рявкает он, — буду... (Сообщается программа вечера.)

— ...После доклада перерыв для моего отдыха и для изъявления восторгов публики.

— А когда же стихи будут? — жеманно спрашивает какая-то девица.

— А вам хочется, чтоб скорее интэрэсное началось? — так же жеманно басит Маяковский.

Первый раскат заглушённого хохота. В зале копится пока еще скрытое восхищение. И вот Маяковский громыхает свой доклад. Собственно, это не доклад. Это — блестящая беседа, убедительный рассказ, бурный монолог, зажигательная речь. Она полна интереснейших сообщений, фактов, неистовых требований, радости, возмущения, смелых утверждений, курьезов, афоризмов, пародий, эпиграмм, острых мыслей, возбуждающих шуток, разительных примеров, пылких выпадов и отточенных формул. На шевелюры и плеши рыцарей мещанского искусства рушатся убийственно-меткие определения и хлесткие шутки, на них обваливается оглушающее негодование поэта. Маяковский разговаривает. Стенографистки то и дело записывают в отчете: «Смех и аплодисменты, общий смех, бурные аплодисменты».

На стол слетаются записки изо всех углов зала. Обиженные шумят. На них шикают. Обиженные оскорбляются. «Шум в зале», — констатирует стенограмма.

— Не резвитесь, товарищи, — говорит Маяковский. Он совершенно не напрягает голоса. Но грохот его баса легко перекрывает шум всего зала. — Не резвитесь... Раз я начал говорить, значит — докончу. Не родился еще такой богатырь, который бы меня переорал. Вы у меня как проклятые будете сидеть... Вы, там в третьем ряду, не размахивайте так грозно золотым зубом.

Сядьте. А вы положите сейчас же свою газету или уходите из зала: здесь слушают меня, а не читают. Что? Неинтересно вам? Вот вам трешка за билет, и — я вас не задерживаю... А вы тоже захлопнитесь. Что вы так растворились настежь? Вы не человек. Вы — шкаф.

Маяковскому жарко. Он снимает пиджак. Он аккуратно складывает его. Он кладет его на стол. Он подтягивает брюки.

— Я здесь работаю. Мне жарко. Имею право улучшить условия работы. Безусловно.

Некая шокированная дама почти истерически кричит:

— Маяковский! Что вы все поддергиваете штаны? Смотреть противно!..

— А если они у меня свалятся, вам будет смотреть приятнее? — вежливо интересуется Маяковский.

Молниеносные ответы разят пытающихся зацепить поэта.

— Что? Ну, вы, товарищ, возражаете, как будто возрожаете... А вы, я вижу, вы ровно ничего не поняли. Собрание постановило считать вас отсутствующим.

— До моего понимания ваши шутки не доходят, — ерепенится непонимающий.

— Вы — жираффа, — восклицает Маяковский, — только жираффа может промочить ноги в понедельник, а насморк почувствовать лишь к субботе.

Противники шикают. Стенографистки ставят закорючки, обозначающие хохот всего зала, аплодисменты.

Но вдруг выскакивает бойкий молодой человек без особых примет.

— Маяковский, — вызывающе кричит молодой человек, — вы что полагаете, что мы все идиоты?

— Ну, что вы? — кротко удивляется Маяковский. — Почему все? Пока я вижу перед собой только одного.

Некто в черепаховых очках и немеркнущем галстуке взбирается на эстраду и принимается горячо, безапелляционно и взахлеб утверждать, что «Маяковский уже труп и ждать от него в поэзии нечего». Зал возмущен. Оратор, не смущаясь, продолжает умерщвлять Маяковского.

— Вот странно, — задумчиво говорит вдруг Маяковский, — труп я, а смердит он.

И оратор кончился... Когда хохот стихает, в одном из углов зала опять начинают что-то бубнить недовольные.

— Если вы будете шуметь, — урезонивает их Маяковский, — вам же хуже будет: я выпущу опять на вас предыдущего оратора..

Толстый маленький человек, проталкиваясь, карабкается на эстраду. Он клеймит Маяковского за гигантоманию.

— Я должен напомнить товарищу Маяковскому, — горячится он, — напомнить старую истину, которая была известна еще Наполеону: от великого до смешного один шаг...

И в ту же секунду, по-слоновьи подняв ногу, Маяковский молча в один огромный шаг перемахивает через расстояние, отделявшее поэта от растерявшегося говоруна.

— От великого до смешного один шаг! — надрывается от хохота зал.

Начинается, как всегда, разговор о классиках, — о критическом изучении их.

Кто-то из правого лагеря язвит:

— Ага! Маяковский взялся за зады.

— А вы что радуетесь? — отвечает Владимир Владимирович. — Да, для нас это — зады. Но ведь вам эти — литературные лица заменяют.

Литератор А., все время пытавшийся сострить, шумевший с места и требовавший слова, неожиданно получает таковое... Но он, оказывается, раздумал, «да я вообще не собирался».

Маяковский торжественно возглашает: по случаю сырой погоды фейерверк отменяется. Потом Владимир Владимирович читает свои стихи. Весь зал, и сторонники и противники, стынут во внимательной, напряженной тишине. Зал сверху донизу дышит восторженной покорностью. С неповторяемым мастерством читает Маяковский. Его прославленный голос звучен, бодр и искренен. Все уголки Политехнического заполнены им. Замерли много слышавшие на своем веку капельдинеры. Дежурный милиционер и пожарный приоткрыли рты.

Маяковский читает. Слово потрясающей силы и несокрушимой крепости, слово упрямое, вздымающее, «весомое, грубое, зримое», слово радостное и яростное, шершавое и острое мощно колышет остановившийся воздух зала:

И жизнь хороша,
И жить хорошо.

Бешено гремит взволнованный зал. Вот уже спал первый жар восторга, но снова хлопает, ревет, топочет аудитория... Еще читает Маяковский. Опять онемел зал. Но тут из второго ряда шумно и грузно подымается некий тучный и очень бородатый дядя. Он топает через зал к выходу. Широкая и пышная борода лежит на громадном его пузе, как на подносе. Он невозмутимо выбирается из зашикавших рядов.

— Это еще что за из ряду вон выходящая личность? — грозно вопрошает Маяковский.

Но тот бесцеремонно и в то же время церемониально — несет свою браду к дверям. И вдруг Маяковский с абсолютно серьезной уверенностью и как бы извиняя говорит:

— Гражданин пошел побриться...

Зал лопается от сумасшедшего хохота. Борода обескураженно и негодующе исчезает за дверью. Теперь аплодируют даже стенографистки. Пожарный сияет ярче своей каски. Капельдинеры учтиво прикрывают ладонью рты, расползающиеся в смех. И я вижу вокруг себя солиднейших людей, улыбающихся, смеющихся, хохочущих буквально до слез...

Затем Маяковский отвечает на записки. С ошеломляющей, беспощадной, с неиссякаемой находчивостью отвечает он на колкие записки противников, на вопросы любопытствующих обывателей и писульки литбарышень:

— «Маяковский! Сколько денег вы получите за сегодняшний вечер?..» — А вам какое дело? Вам-то ведь все равно ни копейки не перепадет... Ну-с, дальше... «Как ваша настоящая фамилия?» — Маяковский с таинственным видом наклоняется к залу: — Сказать? — Пушкин... «Может ли в Мексике, скажем, появиться второй

Маяковский?» — Гм, почему же нет... Вот, поеду еще разок туда, женюсь там может... Вот и может получиться там второй Маяковский... «Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас скоро забудут. Бессмертие не ваш удел»... — А вы зайдите через тысячу лет. Там поговорим. «Ваше последнее стихотворение слишком длинно»... — А вы сократите. На обрезках можете себе имя составить. «Как вы относитесь к Безыменскому?» — Очень хорошо отношусь. Только вот он плохое стихотворение написал... Там у него рифмуется: свисток — серп и молоток. Безыменский! Ну-ка, прочтите, не стесняйтесь.

В зале послушно поднимается Безыменский и читает злополучное стихотворение.

— Вот, пожалуйста, — говорит Маяковский, — разве можно так писать? А если б у вас там рифмовалась пушка, так вы бы написали: серп и молотушка? «Маяковский! Вы сказали, что должны время от времени смывать с себя налипшие традиции и навыки. А раз вы умываетесь, значит, вы грязный»... — А вы не умываетесь и думаете, что вы чистый? «Как вы относитесь к Ахматовой?» — Обожжаю! — и Маяковский поет на мотив Ухаря-купца: — «Здравствуй же ты, неизбывная боль. Умер вчера сероглазый король»... «Маяковский, пора провести чистку всех тех, кто находится за вашей спиной»... — Маяковский быстро поворачивается спиной к залу: — Вот сейчас я вполне согласен с запиской, — улыбается он через плечо... «Маяковский, попросите передних сбоку сесть. Вас не видно»... — Ну, проверните в передних дырочку и смотрите насквозь... Что такое?.. А-а, знакомый почерк... А я все ждал. Вот она, долгожданная: «Ваши стихи непонятны массам». — Значит, вы здесь? Отлично. Идите-ка сюда. Я вам давно собираюсь надрать уши. Вы мне надоели... Еще одна: «Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли». — Надо иметь умных товарищей. «Маяковский, каким местом вы думаете, что вы поэт революции?» — Местом, диаметрально противоположным тому, где зародился этот вопрос... «Маяковский! Вы считаете себя пролетарским поэтом-коллективистом, а всюду пишете:

Я, Я, Я». — А как вы думаете, Николай второй был коллективист? Он всегда писал: «Мы, Николай Второй...»

Писательница вступается за поэта своей группы, обиженного Маяковским.

— Одного поля ягодица, — вполголоса говорит Маяковский.

Но больше всего обиженных за Пушкина.

— Стыдно вам, Маяковский, ругать Пушкина, — возмущается какой-то парень, — вспомните, как к нему Николай первый приставал.

— Николай приставал не к Пушкину, а к его жене, — невозмутимо басит Маяковский.

Тогда в зале подымается худой, очень строгий на вид человек в сюртуке, похожий на учителя старой гимназии. Он поправляет пенснэ и принимается распекать Маяковского.

— Нет-с, сударь, извините, — сердится он, — вы изволили в письменной форме утверждать нечто совершенно недопустимое об Александре Сергеевиче Пушкине. Изъяснитесь. Ну-с?

Владимир Владимирович быстро вытягивается руки по швам — и говорит школьной скороговоркой:

— П'остите, п'остите, я больше не буду...

Но, пользуясь затишьем между двумя взрывами хохота, он опять серьезно, неутомимо и горячо сражается за боевую, за политическую поэзию наших дней.

Кончился вечер. Политехнический вытек. Мы едем домой. Владимир Владимирович устал. Он наполнен впечатлениями и записками. Записки торчат изо всех его карманов.

— Все-таки устаешь, — говорит он, — я сейчас как выдоенный. Брюкам не на чем держаться. Но интересно. Люблю. Оч-чень люблю все-таки разговаривать... А публика который год, а все прет: уважают, знают, черти. Рабфаковец этот сверху... Удивительно верно схватывает! Приятно. Хорошие ребята... А здорово я этого, с бородой?..

Литературно-художественное издание

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Том сорок третий

Ответственный редактор *М. Яновская*
Художественный редактор *А. Мусин*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Т. Комарова*
Корректор *Л. Зубченко*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д.1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская»,ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-16.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: **sale@eksmo.com.ua**

Подписано в печать 22.07.2005.
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «Букмэн»
Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 31,92. + вкл.
Тираж 6000 экз. Зак. № 4502438.

Отпечатано с готовых монтажей
на ФГУИПП «Нижполиграф».
603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

ISBN 5-699-11890-X

9 785699 118908 >

ФУТУРИСТЫ ВЪ КАЗАНИ. ОДНА ГАСТРОЛЬ.

ДВОРЯНСКО

ВЪ ЧЕТВЕР

ФУТУР

О

ВАСИЛІЙ КАМЕНСКІЙ

ДАВИДЪ БУРЛЮКЪ

ВЛАДИМІРЪ МАЯКОВСКІЙ

БУЛУ

ВОСТОЧН

МОСКВА

ДВОРЯНСКО

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ

ФУТУР

О ж

ВАСИЛІЙ КАЛЕНСКІЙ

ДАВИДЪ БУРЛЮКЪ

ВЛАДИМІРЪ МАЯКОВСКІЙ

прочтетъ докл

прочтетъ докл

прочтетъ докл

БУЛУТ

Начало въ 8

ВОСТОЧНАЯ

ПѢНЫ МѢСТАМЪ

ФУТУРИСТЫ ВЪ КАЗАНИ. ОДНА ГАСТРОЛЬ.

ОЕ СОБРАНІЕ.

Ъ 20-го ФЕВРАЛЯ

РИСТЫ

ЗНАМЕНИТЫЕ

МОСКОВСКІЕ

УСТРАИВАЮТЪ ЛЕКЦІЮ

ЖИВОПИСИ И ЛИТЕРАТУРѢ

ТЪ ДОКЛАДЪ 1) Аэропланы и поэзія футуристовъ

ТЪ ДОКЛАДЪ 2) Кубизмъ и футуризмъ

ТЪ ДОКЛАДЪ 3) Достиженіе футуризма

Т ЧИТАТЬ СВОИ СТИХИ.

8 часовъ вечера.

НАЯ ЛИРА

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Владимир Маяковский

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Съезжались к загсу трамваи —
там красная свадьба была...
Жених был во всей прозодежде,
из блузы торчал профбилет!

Комедия «Клоп»

★★★

Прежде чем пойти к невесте,
Побывай в резинотресте!

Плакат

ISBN 5-699-11890-X

Антология Сатиры и Юмора России XX века